КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ВТОРАЯ
ФЕВРАЛЬ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2

ФЕВРАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Эскадронный Трунов.

Из книги „Конармия“.

И. Бабель.

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, :кадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, (еки его были усеяны ранами и язык вырван. Мы обмыли, как умели, ицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы поло:или кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу а торжественном месте, в общественном саду, посредине города, самого собора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка военком дивизии. И в два часа по соборным часам дряхлая наша ушченка дала первый залп. Она салютовала мертвому командиру о все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы подесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное истое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломаными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученьи.

— Бойцы, — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир олка, и стал у края ямы, — бойцы, — сказал он, дрожа и вытягиваясь о швам, — хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше оследнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прорричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, об гордой этой аланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пуачев громко прокричал свою речь, он дрожал все время, когда говоил, сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю кривыми бодранными ногами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи ыграл Интернационал, и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь скадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша рошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком.)ни помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти веты у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним цело-

ванием. Я стоял в задних рядах, я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли в непобедимом галицийском унынии. Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лабсердаках бранились на этой площади и в непонятном ослеплении таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы, превозносили учение Адасии, раввина из Белза, за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гусятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Илии, виленского гаона, гонителя хасидов...

— Илия, — кричали они, извиваясь, и раззевали заросшие рты.

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Илии, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщевую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробритая головка змеи, она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания. Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивал жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал-было за ним, потому что мне не понять было, какой он человек и какова жизнь его здесь, в Сокале, но тут меня остановил казак, державший на-готове некованную лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33 кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе чорт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?..

Из глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, что будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов за-

одил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему юследний судья изо всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Завады. Іх было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их рали. Куча одежды валялась возле поляков, и это была их уловка, ля того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицера, выходи, — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, и кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся, — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — зси официр утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцив, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной своей рукой, — цими пятью пальцями я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицеры ваши гады, — сказал эскадронный, — офицеры ваши побросали здеся одёжу, на кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришепетывая, — впору, — и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, и из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружило Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колена, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей...

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена, — пробормотал тогда Трунов и удивился, — измена, — сказал он, торопливо, вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, и он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делашь, мы по сотни прибирали — тебя не звали... рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня и сопел необыкновенно шумно, и эта суета его была мне в тягость. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал их в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с гордой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда исподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого для того, чтобы отвести его к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзу из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я, содрогаясь. — Троцкий, видно, не для тебя приказы пишет, Павел...

— Вымарай одного, — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать, — закричал я изо всех сил.—Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал продвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням, — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот, донесение Пугачу от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

„Имея погибнуть сего числа, — написал он, — нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в тоё же время отдаю командование Семену Голову, взводному“.

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята, — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике, у станционной будки. Там ждал его уже Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет, — ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Исуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся. — Господа Исуса хоругву мать!..

И стал наводить на аэропланы второй пулемет.

А аэропланы залетали уже над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на желтый блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его

бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку и потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда, и они улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте, в общественном саду, в цветнике посредине города.

Х а б у.

Повесть.

Всеволод Иванов.

Сообщается, между прочим, о геологических пунктирах к югу от города Айкеня, — там, где обозначено [си].

Ноги у Егора были твердые, четыреугольные, и ступал он так, словно хотел оттолкнуть от себя землю. И в марте сидел, будто не олени мчали его грузное, жилистое тело, а эти его ноги, сталкивающие тунгуса-возчика с сиденья.

Свыше тысячи верст промчалась без поломок упряжка „анасы“, свыше тысячи снежных верст промчались за ними следом, верст, наполненных пургами, заледенелыми горами и промерзшими до дна речушками.

Тысячи верст (и еще осталось двести) до городка Айкеня.

— Удивительная земля, — сказал Егорке сосед его по „анасе“, — совершенно невозможная земля — один снег да чумы.

— А вам, что ж, яблоков хочется? Сказано коротко — Великий Ледовитый океан.

— Так до океана, товарищ, еще тысяча верст.

— Тысяча? Может, и больше. Я не спорю. Мое дело: дали мандат и еду. А про океан там ни слова, а если ни слова, — должен ли для нас существовать океан без мандата? Не должен. К тому же, товарищ, не могу я вести политических разговоров по такому холоду, у меня жидкость в каналах замерзает, а вы тут с политикой...

— Я что ж, товарищ, — обиделся даже слегка Лейзеров, — вы же сами начали про океан и про китов.

— Каких китов?

Но замолчал уже товарищ Лейзеров. Был он, надо сказать к слову, — тощ. Из одной ноги Егора Кушнаренко получилось бы три таких Лейзерова, разве что не хватило бы обмундирования на громадные роговые очки, да волосом он был черен необыкновенно, так черен, что голову постоянно со стыда брил, и все-таки выше носа

стлалась у него черная, иссиня черная полоса, как тропическая ночь, будто не череп был, а целый остров Ява накануне новолунья. И о китах он думал из-за малого своего объема.

Дали им двоим мандаты на том пригорочке, где лежит, изогнувшись в тупике, как лыжа, последняя рельса, и откуда начинается, вплоть до городка Айкеня, снежное полуторатысячное поле, в котором снег тверже льда, и копыто оленя дает след не толще древесного листа, где солнце лежит в снежной мгле, как тунгус в спальном мешке, и где больше всего легенд о солнце, а пурга занимает половину человеческой жизни.

Тунгус Каргу перевязывал анасы ременными веревками,—а значит, и пассажиров,—и гнал оленей от чума к чуму. Он пел иногда песню в свой воротник, потому что песня мерзнет на таком холоде, как рыба, песню надо петь про себя.

У очага, когда дым разъедал глаза, и тунгусы спрашивали: скоро ли новые русские повезут в тундру спирт, Лейзеров вспоминал, как при Алексее Михайловиче еще „скрытные людишки“ клали путь от чума к чуму к староверческим скитам, именуемым Айкенем, и как брали дань „узорочьем“ — мехами от соболей да горностаев.

Так от царя Алексея Михайловича и гонят дорогу тунгусы. Летом водой через речушки, где на оленях, где волоком везут: нужных и служилых людей в Айкень, муку и мясо тамошним жителям. Деревянные дома в Айкене так же островерхи, как при „скрытых людишках“, и походят они на топоры, кинутые озорным плотником лезвием вверх.

— Будто и нет существенной разницы, — спрашивал у тунгуса пытливейший путешественник Моисей Лейзеров, — будто и нет ее между царским правительством и Советской властью?

— Одна идет дорога, — отвечал ему в течение двести или триста верст до Айкеня тунгус и возчик Каргу.— Говорят: ух, как далеко от нас идет колесо по железу, а на колесе по железу катятся дома и в этих домах... э... в этих домах будто сидят русские без шуб и чай все время пьют от радости. А колесо катиться может и неделю, и две, и год, куда пожелаешь.

— Есть такое колесо, и называется оно надземная железная дорога, как последнее слово техники, а есть и вообще — железная дорога.

— Э, врут, — бормотал тунгус в малицу.—Как русские врать могут! Кабы я так врал, я бы давно над всеми оленями богом был, и баб у меня было, как вшей.

Возмутился такой антисанитарности товарищ Лейзеров:

— Есть, тебе говорят! Вот дорога есть простая, камнем выложена (в Сибири таких дорог нету). Название у ней несколько странное — шоссе.

— Такая дорога может случиться, — согласился тунгус, — просто надо рубить такую дорогу по камням. Это и в сказках очень легко рассказать. Этому я верю...

И от радости так хлестнул оленей, что в синем сумраке зажелтели огоньки городка, остроперые крыши. Впрочем, желтели так они еще несколько часов вдали, пока, наконец, нарты не ворвались в узкие, занесенные сугробами улицы, пока не остановились они у высокого забора, у тесовых ворот которого болтался на шесте пучок сена, и, указывая на сено, пояснил тунгус:

— Тамаша будет от твоего приезду, тамаша у Сократа Пузырькова.

— Это о чем же он? — спросил Егор.

И всезнающий путешественник Лейзеров пояснил:

— „Тамаша" — значит, обоюдопонятный праздник, а клок сена заменяет вывеску постоялого двора, что, повидимому, не избавляет его от внимания финотдела, работу которого я, впрочем, выясню.

В громадном чугуне сам варил пельмени Сократ Пузырьков, постоялого двора хозяин и города Айкеня играждании. Чугун клокотал паром так, что животы приезжих будто втянул в себя этот пар. А Егор Кушнаренко говорил уже о своих мандатах и как вообще он намерен ревизовать город Айкень и какие тут претензии.

— Претензии тут какие же, — сказал Сократ Пузырьков, — претензий, слышь, наберу тебе больше, чем волос в твоем тулупе. Однако... Однако, если у всей Руси такая жизнь, то наша претензия может быть одна. Уборные национализовали.

— Почему же так? — спросил Лейзеров и вынул записную книжку, где вправо писалось „за", а налево — „против". — В каких целях произведена эта национализация или, вообще подозреваю, учет?

— Видите ли, гражданин, — сказал Пузырьков, наливая пельменей с такой лихвой в глубокие тарелки, что пельмени имели желание плыть не по тарелкам, а по всему столу. — Правительство наше говорит, что Айкень в смысле жилой площади очень плох, строить некогда. Ну и приспособили уборные, за некоторым исключением — холодных, для жилья. И получилось так, что холодные переполнены желающими, а на улице сорок градусов мороза, да и кто их тут считает градусы, когда и цифры в термометре все перемерзли, и ртутью мальчонки разучились играть из-за ее отсутствия. Нельзя с голым телом, разве что блаженному, по таким градусам на сугробы бегать.

— Чудно, — сказал Егор, отправляя от смеха, вместо одного, в рот шесть пельменей.

— Чудно, — повторил Лейзеров, отстраняя от себя пельмени, чтобы не подавиться.

Еще один чугун наполняя пельменями, продолжал Пузырьков:

— Однако и горазда же Русь на выдумки. Я и седни смотрю, — чтоб те язвило, — идет пар быдто из чугуна и...

Но не удалось ему договорить своей речи. Пар хлынул в распахнутую настежь дверь, две пары розовых расшитых валенок, которые выделывает с таким великолепием прославленный город Барнаул, две пары

валенок показались на пороге, и голос такой, что человек, всю жизнь проходивший босиком, сразу бы забыл про валенки,— спросил:

— Тять, кто приехал?

— А мандаты,— ответил Пузырьков.

Но тут дюжину пельменей проглотил Егор Кушнаренко, задохся, схватил ковш квасу, выдул его, не подымая наполненных слезами от обжога глаз,— выдул и тогда только спросил у расшитых валенок:

— Выходит, хозяин, и здесь живут?

— В смысле уборных, гражданин?

Но не умещались уже пельмени в ложку у Егора, как не умещались в его голове расшитые валенки, белое, как пельменное тесто, лицо и словно расшитые брови. Да и нельзя же пельмени брать пригоршней! Нельзя и глядеть так на девку.

А в то же время Лейзеров развернул карту и, тыча в пунктир пальцем, просверлил пространство неожиданным басом:

— Любопытно, какова производительность труда теперь в районе мелких медных рудников к югу от Айкеня, обозначенных здесь как [си]?

— Сыт,— сказал Егор и отложил ложку с откусанным краем.— Не могу больше смотреть.

А девка прошла в горницу.

Долетит резкий голос поморника.

Так в задней горнице и поселились приезжие. Лейзеров сразу же достал откуда-то из мешка бритву для уничтожения волос способом „Жилетт“, что горит, как солнце, а бреет, как пресс-папье. Сам себе выбрил голову, посмотрел в зеркало и заговорил:

— Не находите ли, товарищ, возможным выдвинуть в укоме предложение об установке в Айкене радио?

Егор же надевал сапоги, а надеть ему сапоги все равно, что одному человеку построить дом. Вообразите — портянки длиной чуть ли не три сажени, толстые и твердые, как ковер. Портянки превращали ногу в куль, и вдруг этот куль со свистом, гиканьем и причмокиваньем лез в голенище. Ушки у голенищ были из медных цепочек, но и те часто рвались. Пыль и грохот наполняли комнату и только обильный пот с лица чуть увлажнял пол.

Егор подпрыгивал, носился на одной ноге, тщетно пытаясь всунуть вышеописанный куль в кожаное его логово, а Лейзеров, путешественник и любопытник, говорил, обтирая ваткой „Жилетт“:

— Каковы же, товарищ, ваши соображения о радио?

— Развезло!..— хрипло прокричал где-то в пространствах портянок Егор.

— Я же вам говорил, товарищ, что надо в России теперь носить щиблеты, как наиболее гигиеничную и дешевую обувь.

— Не то, ты в окно, — там развезло.

И точно — будто выломали окно. Не было уже в нем ледяных узоров, можно было разглядеть, как по двору, высоко подобрав юбку, прошла Маньша, дочь Сократа, и хотя было так, будто прошла она не по двору, а по лицу Егора, но и на это не обратил внимания Лейзеров. Лед покрылся выступившей, приятно мятой пахнувшей водой за берегами.

Лед трясся, дрожал. Он понимал, что завтра скопившаяся вода прорвет, искромсает пласты снегов и льдов. Воды поднимут льды на своих хребтах и ринутся к океану. В проталинах, так же быстро, как вòлос на голове Лейзерова, выступит трава. Ива и полярная березка выпрямят стволы и брызнут в небо листьями.

Весна здесь коротка, как первая любовь, и так же быстро, как листья, тундра наполнится гоготом птиц, и клочья перьев и кровь покроют новую зелень. Это самцы будут драться из-за самок за любовь.

— Развезло, — задумчиво согласился Лейзеров, вздохнул и, вместо коробочки, аккуратную бритву „Жилетт" положил в кармашек своего вязаного жилета. Впрочем, он быстро вспомнил, где она должна лежать. Складывая ее в синюю коробочку, он спросил Егора, все еще глядящего в окно: — Как же с радио? Надо сообщить, что желаем здесь установить радио.

— Некому везти пакета, — сказал Егор, разглядывая, как ветвистый олень тыкался широким носом в плечо Маньши, — вдрызг развезло, и надо нам ждать лета. Ишь ты, и олень интересуется.

— Чем?

— Жратвой, — с раздражением ответил Егор, — вишь, у ней краюха в руке.

— Значит, нельзя пакета?

— Нельзя, — подтвердил Егор сурово.

— И газета не будет до лета?

— Не будет.

И Егор так загрохотал сапогами, словно пошла вдруг печь.

Егор вскинул ружье, оправил патронташ, а Лейзеров взял портфель, измызганный и потертый, словно пронеслись по нему все революции и войны.

Один из них пошел на охоту, а другой — в уком секретарствовать.

Все сутки в небе — солнце, как неразменный рубль в сказке. Лучи его — незаходящие и мягкие — заставляют глазом разглядеть, как идет из земли трава. И такая же незаходящая и мягкая тишина растет над тундрой, и гогот стай тонет в ее неоглядном пространстве, как перо в море. И только, как поморник над океаном, с резким криком пронесется мимо твоего лица, обдавая брызгами, весенний ручей, и опять широкая нога Егора в тихой траве.

Так подле озерка, имени которого нет, а если и есть, то оно даровано тунгусами и похоже, словно выдумано во сне, — подле

мелкого озерка встретил Егор охотника из Айкеня, старика, обдряхлевшего и облысевшего до того, что он и говорить-то разучился, а стрелять умел только из своего ружья.

Стая птиц неслась из-за гор, и, глядя им вслед, спросил Егор охотника, прозванного Нямням:

— Через горы дуют прямо к морю?

— А? — наклонил к нему изодранное медведем ухо ветхий Нямням.

— Говорю: нет им объездного пути, который нам цари оставили. Теперь вот полторы тысячи верст крюку даем, объезжаем горы. А по горам птица летит к морю.

— Летит, — прошамкал старик, поправляя курок,—есть ли пистон и не снизится ли стая к озеру: ишь, летит прямо.

— Над горами, говорю, летит прямо.

— А как же ей, милай!.. — спросил старик, не видя разозленного лица Егора: в жизни он видит теперь только зверя.

И счастье же у того, кто на пороге могилы видит зверя!

— А человек в обход?

Но человеком не занимался Нямням, отошел на другую тропу было, но Егор догнал его и прокричал в лицо:

— Как оно зовется-то, если птица летит не сворачивая!

Старик вдруг выпрямился, словно получил обратно вчерашний день, разыскал где-то на своем лице глаза и, натужив брови, сказал:

— От стариков, от дедов, а, може, раньше, нам так и говорят — будет она называться „пролетная дорога“, которая для птиц, а не для человека. А пойти по той дороге для смертности.

Оглядел Егор его нескладное ружьишко, оправил сумку.

— Все, дед, мечта, и у нас мечта называется опиумом, который нельзя употреблять в народе. Очень просто.

Заметил спустившегося на берегу гуся. Ружье в руке полегчало. Старик скрылся за пригорком, отыскивая свою птицу.

Даже и не посмотрел любопытный путешественник Лейзеров на стрелянную дичь, принесенную Егором, — будто картошкой одной питается человек.

— Мечта, — сказал Егор, усаживаясь за стол, — все в мечте пройдет, если жрать не будешь. Хряпать хочу, а, Маньш?.. Тоже, лететь!

— А и сейчас доспею, — сказала ему Маньша.

Лейзеров же достал записную книжку, ту, где было „за“ и „против“ и по графе „за“ — сказал Егору:

— Принципиально, товарищ Егор, после моего доклада о радио, уком принципиально согласился провести кратчайший путь к железной дороге через горы, уничтожив объездную дорогу, как приносящую несоразмерные расходы и эксплоатирующую бессмысленно население. Надо собрать митинг и пояснить населению, что Соввласть...

Егор встал, расстегнул для чего-то ремень и опять сел.

— Пролетная? — спросил он.

— Как, товарищ?

— Старик тут, охотник один, говорил. Дорога, говорит, у них такая называется — пролетная. По которой птицы летят.

Захлопнул Лейзеров книжку и, взяв ложку, подумал — опускать ли ее в миску: очень жирные были щи.

— Докладчиком назначили вас, а насчет пролетной...

Он еще раз посмотрел в щи.

— Какие же мы птицы, когда я щи жирные есть боюсь? Вдруг желудок расстроится! Просто — дорога, простая проселочная дорога в две колеи.

В глаза мечется пушной князек Хабу.

Уже и заседания многочисленных секций уездного Совета окончились, уже шли резолюции позади товарища Лейзерова, догоняя и обгоняя его. Весь немудрый портфелишко был набит резолюциями, тут же лежала и та, ради которой выступал Егор на тунгусском митинге. Собрав в памяти немногие слова, оставшиеся после ссылки, говорил там Егор о сокращении древней дороги на тысячу верст и какая воспоследует от этого тунгусам выгода.

— Так, — проговорил ему там один тунгус, снимая для легкости мыслей ушатую шапку, — так! По птичьему пути лететь хочешь? Так. Тотем нашего рода — оленьи рога, твоего — звезда, похожая на те, что летом прибивает море вместе с теплой водой и чужим для нас лесом, который нельзя ни строгать, ни жечь. Дерево это черно и крепко как железо, из звезд можно было бы точить ожерелья: так они красны. Под всякими тотемами ходят люди, как вот ушел Нямням...

— Куда ушел Нямням?..

— А ушел... Он твердый охотник, как те деревья, о которых я могу тебе спеть даже. Такие деревья, что о них мягким языком надоть говорить. Так! Ушел.

Все же после разговоров о новой дороге пошло по Айкеню, что скрылся в горы охотник Нямням, в молодости носивший имя христианское и прозванный Нямнямом за дряхлость. Имена же такие тунгусы дают, словно во сне, а охотник вел на удивление нам свою жизнь, окончив уже видеть человека, умерев для человека — видал он только зверя, вел он звериную жизнь. И вот получились разговоры, что в горах, там, где должна проходить новая дорога, встретил Нямням невиданной красоты чернобурую лисицу, князька лисиц, самого Хабу — сказка о котором будет дальше.

Вот и скрылся Нямням в горы и с ним следом еще три охотника.

Об этом сказали Лейзерову на одном из заседаний. Он, не дослушав рассказа о Нямням, позвонил в вонючий колокольчик и проскрипел:

— Прошу поближе к делу.

Представителю же промысловой кооперации, дюжему помор Каргасову, послал записку: „Необходимо, не ускользнула чтоб шкур в спекулятивные руки. Ценно для республики. Л".

Думая о сметах и возможности внеочередного кредита для пр ложения дороги, а также и о том — не мешает ему, пожалуй, завес болотные сапоги, поровнялся с тесовыми постоялыми воротами Ле зеров. Уже птица готовилась выводить потомство, и теснился камы приготовляя ей место для гнезд, уже осока пахла вяло, по-летнем и змеей обвивалась вокруг ног; уже сеновал, где Лейзеров пере обедом любил отдохнуть часок-другой, скоро набьют сухой траво и, мягко колыхнувшись, можно будет лишний раз перевернуть с боку на бок.

Лестница скрипела,— похоже, катилась под гору, словно не ног а бревна были у Лейзерова, но и то, заглушая этот потрясающи скрип, свистали и визжали в сеновале жерди навеса. Лейзеров хоте было спускаться обратно, но он открыл ветхую дверку. Откры заглянул и захлопнул.

Сошел вниз, уже не слыша скрипа. Попробовал зачем-то замоче портфеля.

„Какая грубость,— подумал он,— какая грубость, если бы вмест козловых ботинок здешние девушки носили болотные сапоги".

— А носят же, — сказал он, не оборачиваясь, услышав за спино мутное, смущенное сопение Егора.

— Приходится,— со вздохом ответил Кушнаренко, хотя, конечн не знал мысли Лейзерова.

— Это дело личное!

— Безусловно, — опять вздохнул Егор, косо заслоняя плечом лиц Лейзерова, чтобы тот не видал, как проскользнет к высокому крыльц избы Маньша, — говорят, князек лисий в горах появился и пошел, ска зывают...

— Да? — спросил Лейзеров, выныривая из-под его плеча и ст раясь увидать Маньшу,— да? Я отдал соответствующие распоряжени

Егор еще больше надвинул плечо. Оно было громадное, как сиби ский забор, крепко рубленое, будто из бревен, и тщетно пытал найти в нем щелочку любопытничий глазок Лейзерова.

Лейзеров вдруг нарочно уронил портфель вперед, чтоб нырнуть за ним и тем самым руки Егора оставить за свое спиной.

Но дверь сеней уже захлопнулась, и Маньша, наверное, смея над неловким Лейзеровым, приводит теперь в порядок лицо, неимове нейшие свои косы и, возможно, платье.

— Я все к тому, — сказал Лейзеров, отряхая жирную пыль с пор феля, — вел с вами переговоры, так как уком выдвигает вашу канд

іатуру в руководители работ по проведению вышеуказанной дороги іерез Гайленский хребет к ближайшему железнодорожному полотну. Чам необходимо разбить у населения всеми мерами сомнение в неосуцествимости данного проекта. Вы, товарищ, как хорошо знающий иестные условия, сможете...

И Лейзеров, потрясая портфеликом, уже направлялся в горницу. /дивительный он был человек! На Маньшу больше не взглянул, подошел к шестку печи, где жирная стряпуха варила бычьи ноги, 'отовя студень. Ну, что ему надо в горшке? Так нет, мало того заглягуть, — щепочкой вытянул оттуда бабку и с большим аппетитом обглоіал. Поставил затем бабку на попа и, весело ухмыльнувшись, сбил е карандашем, оставив на жирной кости легкий фиолетовый след. Сарандаши он всегда употреблял химические.

Сократ Пузырьков с неудовольствием глядел на такие маниіуляции своего именитого гостя. Ситцевая рубаха у Сократа синими іветочками, плисовые шаровары незнаемой ширины — словно ковер, не штаны.

— Не отдадут вам, граждане, — сказал он с явным злорадством, — унгусье свово лисичьего князька. А такой зверь на заграничных ынках продается во многие тысячи рублей.

— Для чего ж им хранить зверька или, вернее, его шкуру? — спросил Іейзеров, опять заглядывая в горшок.

— Для счастья.

— Экономическая необходимость поборет все суеверия. Надо 'олько организовать тверже промысловую кооперацию.

И тут Лейзеров, в свою очередь, с таким злорадством оглядел лисовые шаровары Сократа, словно громадными буквами напечатал а тех шароварах: старый ты, толстый и к тому же лысый, как полтинник, дурак. Какое тебе дело до лисьих князьков, за которыми гоняются о тундре тунгусы и выжившие из ума горе-охотнички, вроде Нямням. Іочаще бы ты, старый дурак, заглядывал в сеновал, а то не то жерди ыскочут из навеса, но кое-что и поценнее...

Ясное и жаркое лето было в этот год в тундре. В болотах и по раям озер выше плеч человека поднялась осока. Тусклая, сизая дымка этягивала открытый простор равнин.

Берестяный долбень, выпрыгивая на волны, весь облепленный еной, мчал землемеров в тундру. Худые, источенные тысятелетними урями, скалы нависали над рекой. В редких — через пятьдесят ли семьдесят верст — избушках ждали их тунгусы. Они молча, слегка ткинув назад туловище, осматривали печати подорожной и выгоняли теней или спускали лодки.

И рога оленей и лодки — были одного цвета.

Так они ехали еще шесть суток. Все такие же лишайчатые скалы незнаемо прозрачные реки были на их пути.

А на седьмой — незакатное солнце все так же мерцало над тундрой — тунгус-проводник поднялся с ними на гору Татын.

Вдруг тусклая дымка на краю неба дрогнула, словно расплавилась, и в желтом мареве увидали они ринувшиеся в небо острые крыши домов, синий купол церкви и каланчу, занявшую полнеба. Если б присмотрелись они, то внизу на площади, в мираже они узнали бы скользнувшего с поношенным портфеликом человечка в роговых очках и, кто знает, даже пух приставший к его плечу. Пух линялой птицы тундр! Такое было ясное марево.

Но ничего не успели они разглядеть, потому что тунгус, всматривавшийся в равнину, спокойно поворачиваясь, сказал:

— Ошибся мало. Триста верст в сторону уехал. Поехал обратно, батюшки, это не Татын. Не тот гора.

И они три дня разыскивали избушку, от которой повернули на гору Татын.

Ямщики исчезли. Избушка была пуста.

Старик тунгус, оставленный для смерти, сказал:

— Сломал дорогу. Ушел весь род короткую дорогу делать. Весь род в Айкень ушел. Теперь новой дороги в Айкень жди.

— Как же теперь? — спросил инженер.

— Довезу, — ответил им последний ямщик сломанной дороги. — Довезу.

Он долго кипятил чайник и долго пояснял им, что он остался один и ему себя беречь надо. Никто его сменять не будет. Потом, напившись чаю, он, долго смотря на потухающий огонь и умирающего старика, пел — какой он герой, последний ямщик покинутой дороги, и как он повезет русских в губернский город, где ему дадут за его подвиг часы и водки. Сначала он выпьет водку, затем пропьет часы, оленей и свою малицу. Потом русские вновь подарят ему часы и оленей, и он вновь их пропьет. Тогда русские обругают его и на летающей лодке увезут его в тундру, потому что в губернском городе он может спиться. Русские иногда умеют жалеть. Айкень - город сошел с ума, сломал „анасы" и хочет жить один. Ему плевать на Айкень: он самый храбрый хозяин „анасы" во всей тундре и может в один присест съесть оленя.

Землемеры тоже смотрели в огонь. Один из них на божнице нашел кожаную сумку. В ней лежал кусок пергамента и славянской вязью и „холоп Ивашка сын Свищев" писал царю, какую дорогу он сделал от Мангазен до Студеного моря и как по дороге той идут до царя соболь, да горностай, да чудная из морского слона выделанная утварь. А и слон тот лохматый да страшный ходит по морскому дну, а на клыках, что с добрый дуб, носит ледяные горы. А еще есть тут другое зверье, которое и ловить крещеному грешно. То зверье живет в подземных ямах и на дух выходит в канун нового года. Повели, государь, слуге твоему и рабу отчинить еще прислуги и пороху, да и нет терпежу пробыть тут до Нового году!

— Который у вас месяц? — спросил землемер.

— Июль, — ответил другой шопотом.

Но тут ветер нанес на избу густую пелену облака со стороны океана. Закрывая небо, заморосил холодный дождь. Толстые покровы мхов тундры наполнились водой. Ремни возов „анасы" ослизли и потемнели.

Бесконечный дождь будто промочил шкуру оленей. Наклонив ветвистые головы, шлепая широкими, как тарелки, копытами, они шли понуро и медленно.

Из-за скалы выскочил верхом на олене оборванный без шапки старик. Он, низко наклонив голову, осматривал землю и так, не взглянув на встречных, умчался дальше в дождь.

— Это Нямням, — сказал ямщик, — он ищет Хабу.

Они не спросили: кто такой Нямням и кто такой Хабу. Они даже побоялись сказать о дороге — не спросить ли старика о ней? И ямщик, угадав их мысли, стегнул оленей.

— Я, батюшки, доведу.

И он, действительно, довел их.

Так землемеры, посланные в Айкень для исследования: стоит ли проводить пролетную дорогу, вернулись в губернский город, не найдя Айкеня, и репортер местной газеты (он был в то же время корреспондентом Роста) сочинял телеграмму в центр, что из-за розлива рек город Айкень отрезан от культурных центров.

Первоочередные вопросы товарища Лейзерова.

г. Айкень.
30 июня 1923 г.

Уважаемый товарищ
Кушнаренко!

Техника указывает нам возможный путь борьбы с различными невзгодами. Несомненно, огромные лесные и пушные богатства нашего Севера привлекут в непродолжительном времени всю технику республики в нашу страну. По всей вероятности, это произойдет года через три, не меньше. Однако, судя по вашим сообщениям, многие сомнения попали вам на пути. К числу таких мне даже стыдно относить комаров, однако я нахожу необходимым сказать об этом биче природы нашего Севера, об экономических возможностях которого я прилагаю брошюрку изд. ВСНХ.

Как вам известно, товарищ, говоря местным языком, улусная полуторатысячная дорога оказалась „сломанной". Я не виню т.т., проводивших кампанию за проведение краткой дороги через Гайленский хребет. Из этой кампании получилось так, что все тунгусы ушли к вам на работы и старую дорогу отказались держать, от чего мы оказались отрезанными от культурного центра, в который с последней

почтой я просил об установке в Айкене радио. Ответа не последова. да и не может быть, так как упомянутые выше тунгусы разбежали

Я, благодаря нарушению нормальных сношений с центром, бла(даря которым даже телеграфные столбы, недавно проведенные до по вины пути к Айкеню, смыло ливнями и частью повалено, — я, товари не мог затребовать для ваших работ сеток от комаров, и президиу Совета пришлось прибегнуть к героическим мерам, а именно:

1) Конфисковать все тюлевые занавески у мещан.

2) Взять в больнице всю марлю, отчего перевязки пришло употреблять на коленкоре.

3) Объявить в местной прессе конкурс на приготовление лучш мази от комаров. Последнее предложение отпало ввиду перерыва сн шений аптеки с центром, благодаря чему лекарства и так не хвата а тут еще опыты. Последнее предложение не мое, а здравотдела.

Некоторую прозодежду посылаю.

Таким образом широкая плановая работа помощи вам продо жается, — от себя же добавлю:

Да, товарищ Егор, многое с вами пришлось мне пережить да в последнюю нашу командировку. И что же получилось? Мы прилага все усилия к проложению дороги, а смущенная мещанством некотор часть Совета упрекает нас в демагогии и инсинуациях. В чем де. Оказывается, они сомневаются — можно ли провести дорогу и стоит прилагать столько усилий, когда:

1) хлеб для города с юга теми путями, какими он шел нам лето не подвозится. Мы же опасаемся, что на лето нам хлеба не хвати да и санный путь, ввиду ухода тунгусов, уничтожен;

2) рабочих на дороге трясет малярия, или для мягкости здешне ее проявления назовем — лихоманка. Медикаментов для указанн борьбы нет;

3) продвижение вперед значительно замедлилось.

Товарищ Егор, по революционному долгу советую вам напря все усилия, дабы завершить дело республики, так как, я полага в наше достижение центр не верит и благодаря перерыву сношен может подумать:

не восстание ли на крайнем севере СССР!!

Берегитесь такого толчка, товарищ!

Еще добавлю. Мещанство хотя разлагается, но оно в наше глухом углу еще крепко. Сократа Пузырькова, например, поймали с сам гонным аппаратом. Приговорили условно. Дочь его, как ваша жен кажется, женщина сознательная и хорошо знает местные услови Извините, что вмешиваюсь в частную жизнь, но теперь дорог кажды час, и мы должны думать о судьбе города, одного из немногих на край нем севере СССР.

С коммунистическим приветом

М. Лейзеров.

Привал на сто третьей версте.

У старых приискателей и каторжников есть привычка — шагать перед, упираясь на левую ногу. Правая приподнята всегда и готова удару. Зверя ли, пень ли гнилой, торчащий перед шагом. Правая нога ильнее и тверже, и лопотина на правой оттого изнашивается быстрее.

Так вот, все незакатные месяцы правой рукой вперед билось гановище, предводительствуемое Егором Кушнаренко.

Были здесь и приискатели, потерявшие счастье в золоте и явивıиеся в Айкень на немногие работишки, были и каторжники, загуившие не одну душу и давно забывшие свое молодое имя; было есколько красноармейцев из крохотного айкеньского гарнизона, и ıещане были айкеньские, степенные остатки торговцев пушниной, ыбой и мамонтовым клыком. Кто знает, как они попали в это оголелое, бессонное становище, с ревом и неимоверными матерками вруившееся в тайгу и горы.

У Егора в левом латаном кармане гимнастерки бился компас, а плечами гремела землемерная цепь, и тунгус Каргу носил за ним, ак паникадило, медный треножник.

Смолевой янтарный дым от костров!

Неусыпное солнце всегда на полдне!

Всегда плечи жжет мошкара, комар-гнус и неустанный, незакатный ламень, прожигающий тайгу, мхи и лишайчатые, пепельного цвета, калы.—

А позади русских, позади матерков, махорочных окурков, остатков рянного тряпья и полугнилой пищи, — шли тунгусы. Они убирали валенные деревья, выжигали пни и тщательно, как своих идолов, ыстругивали версты, а подле них ставили чумы. Слышались крики а собак и оленей. Чумы походили на рога, а маленькие лохматые обаченки — на клочки тумана. И дорога стала человеческой дорогой. Іодле чумов белели остовы рыб. Хромой старик Хаймень расставлял илки, и кто-то к своему шалашу нес песцовую шкурку.

И вдруг,—

Сырая, полуистлевшая чаща, словно дорога, уткнулась в громадый гнилой пень. Каждая пядь натужисто пропахла плесенью.

— Здеся, паря, бы наду спирту, — хрипло сказал один из рубак, идевший на камне. Громадный топор лежал у него меж ног, а борода ыла шире и, казалось, тверже топора. Так он упорно держал эту ороду, напряженно глядя в фиолетовую чащу.

— Не мешат, — ответил корявый Петрован Щокур, поглядывая а Егора.

Раньше о спирте они упоминали перед сном: как иногда в измоозь, где-нибудь в скалах, приятно потянуться и вздохнуть: вот бы ейчас да на лежанку, да блинков бы...

Лопотина у них пахла дымом и мхами. Они упорно глядели в чащу. Какая-то незаметная тропка не тропка, а легкий следок разглядился вдруг в чаще. А, разглядев, почему-то захолодело от этой тропки сердце у Егора.

— Разве тут ходят? — пошел он ближе к Щокуру.

— Кто, когда, — ответил тот, мотнув волосатой головой:—поди так и ходют.

И, отложив лопаты и топоры, приисковые остановились у тропки а Егор достал карту и присел в стороне. В паужин всякий делает что хочет, и не мог он мешать своим становникам стоять у тропы.

— Разве ждут, — спросил он тихо у Маньши. — Кого бы им ждать

Одну только Маньшу не брали комары. То ли так крепка и смугла была ее кожа, то ли знала какую мазь, выдуманную затейливым Сократом, но ходила она с открытым лицом, глубоко вбирая в рот пухлые, широкие губы. Кажется, в губы только и кусали ее комары. Ночью, под пологом, рядом с Егором — попробуй отыщи ее губы комар!

Чудовороженная жизнь проходила тайгой, и будто поэтому выдумала тайга, чтобы задержать эту жизнь, — выпустила жухлый мертвый лес, который нельзя ни пилить, ни жечь, а отгребать, как золу, лопатами

И в такой жухлой чаще вдруг тропка.

— Спиртоносов ждут, это ихняя тропка, — ответила Маньша:— стрелять надо им на встречу. Вели стрелять.

— Откуда тут спиртоносы? Насколько понимаю — глухота, и кроме медведя, кто в такой чаще способный есть подниматься на две ноги?

Маньша ему на ухо. Слова у ней быстрее, чем пламень незакатного, обжигают шею.

— Я тебе говорю стреляй, покудаль не пришли. Чего воззрился?

— Врут! Маревится им.

— Не маревится, а приска где-то тут. А на приисках тех уцелели старатели.

И точно: вспомнил он пунктирную карту и место, обозначенное в Салаирской долине значком |си:| мелкие медные рудники. Но какие же старатели на медных рудниках, и кто может плавить здесь медь? Только самодурному Строгонову пришло на ум основывать медные рудники в двух тысячах верст от железной дороги! Построили бараки, может, пару машин в разборке привезли на оленах. Бараки теперь истлели, а машины давно по частям расковали тунгусы и источили для наконечников стрел.

— Ерунда, — Егор и карту сложил на восемь частей, хотя раньше она складывалась на четыре: какие тут спиртоносы?

Все же не последним расслышал он далекий и крохотный, словно из кедрового орешка, лай собаченки. Синего жука разглядел он на прелой тропке, что, словно, вымывалась из чащи. И не он один раз-

лядел синего жучка. Вот белый клубок лайки выпрыгнул из чащевой юры. Да, надо было б стрелять Егору, надо б солдатам гнать подходивших и сипло перекликавшихся людей.

Маньша сидела вдали на пне и, щурясь, злорадно глядела в сторону от него. Может быть, назад.

Выскочившая собаченка тоже щурилась. У ней были разноцветные глаза и усики, необычайно завитые в колечко, словно не усики, паучок.

— Ваши мандаты! — крикнул Егор в тропу. — Зачем в такие места юпер? Чего тебе здесь надо, проходи!

Только собаки становища поддержали его крик. Люди, как жена его Маньша, смотрели туда, куда упиралась напряженная жилистая его спина. Несколько мужиков с котомками, с пистонными ружьями, в истрепанных бродних, покрытых, как ржавчиной, пылью гнилушек, вышли на полянку. Они перекрестились. Громадный овод с сухим шипеньем закружился вокруг передового старика.

— Слава те, истинному Христу, — протяжно, словно для эхо, проговорил он, — выбрались мы из тех треклятых мест.

— С рудников? — спросил быстро Егор.—Старатели?

— Какие наши старанья, голубь. На одном мясе да на морошке жили. Цынга-то вот...

И они, словно сговорившись, разом обнажили кровавые, беззубые десны.

— Пальцами теперь жуем. Хлебушка бы, нету ли хоть сухарика, го-лубы!

Позади своей жалости опять разобрал Егор шопот Маньши:

— Врут... все как есть врут. Забирай их, в город забирай! Там разберутся, а здесь про них теперь никто правды не скажет.

— Топоры слышим, — тянул старик, — динамитом скалы взрывали. На сотню верст гу-ул пошел. Слава те, господи, думаем, человек-то проснулся. Про тайгу вспомнил и напролом пошел. Само с собой-то воевать ему надоест, и не найдется ли тут нам, убогим, что...

Отстраняя ладонью шепчущую Маньшу, Егор сказал, отходя с увеличенной жалостью:

— Накормить и приписать к нам!

Что ж, и накормили, и приписали к становищу. Мужиченки к тому же оказались лядащие, рыхлые, как этот встречный лес (к слову, известно ли гражданам СССР, что в Семипалатинской области 400.000 десятин такого гнилого леса?[1]). Работа их темная. Увидал мельком Егор, позже, позже, когда жадно ели мужики у костра хлеб, пузырек из-под лекарства, — пузырек тот, наполненный желтой жидкостью, ходил по рукам становщиков.

---

[1]) Путь к поднятию производительных сил Алтая. Москва 1918 г. Изд. ВСНХ, стр. 29.

— Спирт! — быстро подскочив, крикнул Егор.

— Золото, — ответили ему.

Все время сидения в тайге приисковые мужики, как монетой, пользовались таким пузырьком. Орочены и еще какие-то незнакомые люди бродят по тайге. Питаются они морошкой и диким зверем. Медведя ловят так: накатают в два кулака величиной клубок соломы, натычут туда гвоздей, острием вверх. Клуб, как железный еж. Выскакивает встревоженный медведь на тропу, поднимается во весь свой смертоносный рост. Тут ему кидают железного ежа. С ревом охватывает он его лапами. Гвозди впиваются в ладони — и юркий таежник всаживает ему в сердце нож.

Такие вот меняли на золотые пузырьки мясо и шкуру.

Или еще что? Спирт?

Кому известно?

А про Маньшу — „медвежью невесту" — рассказывали так[1]). Медведь самку свою берет, как человек. Жадные промышленники весной отправляют свою бабу или дочь в тайгу. Надо только знать рост медведя, чтобы баба была ему подстать. Увидав медведя, баба, голая, ложится на-земь и упавшему на нее ослепленному страстью зверю — нож в сердце.

В самый весенний ярь крови — самая ценная шкура.

Медвежий рост у Егора, медвежья стать у Маньши.

Эх, значит всадит она ему нож в сердце, когда потребует его сердце промышленник.

Кто?

Становище спало. Чадили костры из сырой хвои и помета — дым от комаров. Певучие волки выли в горах. Из шести пришедших по тропке двое куда-то исчезли.

Куда?

Шел Егор становищем, и, словно дымом, обвеяно его сердце. Тошно. А дорога, — как в паужин, когда заприметили становщики жухлую тропку, будто пахнущую спиртом, — так и остановилась на сто третьей версте.

С утра (каменный сон лежал на Егоре) поднялись на становище пьяные песни о Байкале, Баргузине и кандалах. В голенище туго обрисовались спрятанные ножи, и обильная слюна омочила свалянные и грязные бороды. Напрасно звонил в колокол Егор, призывая к работе, напрасно он назначал штрафу.

Как-ни-как — нож легче топора, и человеческое тело — не сосна!

— Тащи, — ревел Петрован Щокур, — все тащи! Все пропью!

— Жисть! К лешему такую комариную жись!

— Крой!

---

[1]) Подумают: выдумал об Маньше Иванов. Как же. Выдумал! Но только в книге „Записки дальневосточного охотника", Москва 1870 г., рассказывается, что на Д. В. туземцы также бабами ловят медведей. Я книг в 1870 г. еще не писал.

До хрипоты пролаяли на них глотки собаки, не привыкшие такому вою. И Щокур, с бутылкой в потных руках, шатаясь ходил округ пня, где сидел Егор и, непрестанно сплевывая, бормотал:

— Желаем праздновать, желаем горе-горькое запить, чтобы заесто бродней были у меня на лапах лаковые полусапожки. Верна, арень?

Он ловил кого-то бутылкой в воздухе, глаза его посинели, и мир узился в один пень.

— Старожилы говорят: идет за этим лесом, дале, одна скала и ропасть на сто верст. Никакого следу туда нету. Зачем зря рубить росеку? Ни хотим рубить — и шабаш! Старожилы всю твою жись аизусь знают, почему ты хозяйство хрестьянское бросил и из какой ыгоды в ссылку пошел. Не хотим!.. А?..

Подле валившегося с сонным храпом Щокура стояла вся обоженная злостью Маньша и, тыча в слюнявую бороду, упрекала ьяного:

— Я же баяла тебе, Егор, на какую бабью веру ты меня принял? тебе щепа, что ли, сгорела и другую брось. Я рази за твоим огнем эшла в тайгу?.. Я ж тебе баяла — стреляй их, бей их с тропы!..

— Надо тут, — ответил хмуро Егор. — Общее собрание. Порицане чтоб вынести... или там меры. Проспятся—и общее собрание. Очень се просто. А над спиртоносами — следствие.

„На сто тринадцатую версту товарищу Кушнаренко“, таков был дрес пакета от товарища Лейзерова, полученный Егором на сто ретьей версте.

$2 \times 5 = 10$.

5 верст в день.

Два дня пило уже становище. Десять нетронутых верст приобрела айга.

На сто восемнадцатой версте надо бы перечитать письмо ейзерова, а он перечел его на сто третьей.

Густой и тяжелый вечер принесла с собой таратайка, в которой эимчался вдруг товарищ Лейзеров. Поверх дряного его пальтишка элтался на его плечах брезентовый плащ, больше похожий на палатку. бильная пыль оседала на плащ, и на эту пыль всю дорогу любовался ейзеров. Дьявол ее дери, какая замечательная пыль на этой дороге! сли бы солнце знало свои часы и закатывалось — совсем жизнь, к в центре. Две колеи, меж колей разная там травка болтается, хлые лошаденки (из пожарного обоза) пригубляют эту траву, колоьльчик звенит. Ты дремлешь, коробок потряхивает лениво. Здорово кручено, чорт возьми!

— Итак!.. — весело было - крикнул Лейзеров, со злостью давя мара на щеке.

Но тут взгляд его остановился на верстовом столбе. Голос упал десяток комаров сразу безвозбранно облепили сухую его щеку.

— Итак, товарищ?.. Почему же сто три, когда надо...—он порылся в записной книжке: — ... надо в этот час сто двадцать? Куда же, товарищ, девали вы семнадцать верст? Семнадцать верст куда девали, я спрашиваю?

— Они, — мотнул Егор головой на спиртоносов, — я их под арестом в чум, а народ пьет. Как тут...

Дмыхнул Лейзеров, брезентишко скинул, портфелик подхватил, и засверкали его роговые очки по всему лагерю. Во-первых, посверкали вокруг инвентаря. В порядке ли? Весь инвентарь был в порядке. Во-вторых, по страницам путевого журнала. На сто третьей версте они размышляли долго, затем под очки торопливо нырнули перо и ручка, где запись сто третьей верстой ровненьким почерком вывело перо:

„Нахожу необходимым назначить ревизионную комиссию".

Отложил перо, покрутился по пню, понюхал воздух. И точно, будто пахло спиртом.

— Н-да-а... — протянул он слегка визгливо, — н-да... Назначьте митинг.

— Пьяны все.

— Все?

— Красноармейцы ничего. Но что ж их...

— Н-да... Красноармейцы, конечно. Н-да!.. Отправить с красноармейцами этих... волосатых, без зубов, в Айкень! Посадить их. Пускай сидят, не шляются. Делали ли вы ультимативные требования, и не приводило ли это к ускорению работ? Нет? Пьют? Н-да-а... Дайте мне ваш револьвер, товарищ, я еду к тунгусам. Мой — без патронов.

Отстегивая револьвер, Егор сказал:

— Старожилы находят невозможным провести дорогу, тут позади Салаирских приисков начинается...

— ...Глупость начинается, товарищ. Глупость. Вы по происхождению крестьянин. Н-да... Вот и оттого и верите старожилам. Никаких пропастей существовать не может, если...

Но он не счел нужным окончить фразу.

Крутой обрыв спускается к реке, имеющей запах крови.

Вспрыгнул Лейзеров в таратайку, вот уже портфелишко его под боком, очки блестят у плетеной из ивы стенки.

— Понесла, — кричит он ямщику.

Лошаденка трясется, пыхтит. Лохматая ее шерсть от напряжения несется клочьями. Обратная пыль на брезентишко, что именуется плащом. Визжит ось, не успел ее смазать ямщик — так торопил любопытствующий комиссар, всю дорогу вслух высчитывавший — выгодно бы ямщику самому ладить упряжь или покупать в кооперативе.

Несмотря на полную прыть лошаденки, рядом левой рукой, с коричневыми от табаку пальцами, слегка касаясь облучка, шагал великоногий Егор.

— Я вам говорю, товарищ, не срамитесь по чумам. Ну, как вы поднимете тунгусье на такую скаженную работу, когда и русский с тяжести запил? Вы и языка-то не знаете.

— Он переведет, — ткнул Лейзеров записной книжкой ямщика в спину. — Гражданин, как по-тунгусски — объединение? Экономическое объединение безо всякого идеализма? Садитесь, товарищ, сюда рядом, чего вы шагаете... как буран?

И он засмеялся своей шутке.

— Сюда, на мешок. Рядом, на мешок. Вы им добавите возвышенно там, как-нибудь про религию. Об вреде ее тоже слегка. Их тронуть легко.

Не сяду я с вами, — ответил Егор, сдернул фуражку, пахнул ею на разгоряченное лицо: — не верю я вам. Это Маньша вас хвалит... А по-моему, дранковый вы человек. Не поеду с вами.

Даже обернулся слегка Лейзеров. Уходящие ноги ступают твердо, словно колотушки, которыми сейчас будут разбиты эти аккуратные колеи.

— Товарищ, вы забываете ответственность. Быт целого города республики в опасности.

Колотушки, заглушая стук колес, ухали по колеям: „солидный мужчина“, — подумал Лейзеров.

Пьяные становщики бродили, в обнимку, поляной. Штаны, выпавшие из голенищ, треплясь, подымали желтые копна пыли. Из этих копен виднелись только неподвижные, наполненные мертвым хмелем лица. Они ревели такие же неподвижные песни.

Егор лежал под сосной на куске войлока.

Характерное цоканье оленьего бича донеслось по просеке. Егор обернулся. Какая бронзовая, прямая просека! Кому не жалко, если зарастет она? Сначала робкий березняк, затем осина и, наконец, давя всех, в сопровождении медведя, выпрыгнет со своей щипучей кроной сосна. Обовьет корнями, сгнившими стволами, сольется крепкими, как кремень, ветвями и скажет:

— Будет, побаловались!

Трехпарная упряжка оленей, анасы, показалась на колеях. Неистово, не глядя на русских, гнал ее тунгус. За ней вторая, третья, седьмая. Все возы наполнены гикающими тунгусами. Еще анасы, еще...

А позади всех, блестя очками, трясется в трашпанке Лейзеров и вопит чуть разборчиво:

— Топоров, топоров, товарищи!

И вот — сотня неумелых дикарских топоров врезается в жухлую чащу. Не успел Егор подняться на ноги, отбросить кошму, как зава-

лена тропка спиртоносов срубленным стволом. Ствол этот оттащен Валится другой. Тропа на поларшина засыпана маслянистыми желтыми щепами.

Значит, не совсем сгнил лес, коли смолистые щепы? Значит, не совсем завязают в прели топоры? Не совсем!

Потому что в ряду с тунгусьем, звеня лезвием, как при улыбке зубами, идет на чащу Маньша.

У Лейзерова руки на портфелике, револьвер сбоку, неумело, как кожаная заплата на ситцевой рубахе. От умиления или от гордости пропотели очки.

— Мой разговор с ними, — сказал он Егору, — был чисто экономический. Я говорю: привез вам для зимней охоты мешок, восемь пудов Это на котором я вас сидеть приглашал. Восемь пудов пороху. Пойдете рубить — отдам бесплатно, не пойдете — на золото менять не буду, хоть фунт на фунт. Промысловая кооперация своей чередой а интересы республики дороже. Сознательное племя. Моментально согласились. Даже качать хотели, да я отказался.

О качанье он, положим, соврал.

— Пока я, товарищ, руководство беру на себя. Н-да... На себя. До заключения ревизионной комиссии. А эти субъекты пьют?

— Пьют.

Он посмотрел на неподвижное лицо Егора. Где-то у левой брови билась, стремясь к векам, розовая жилка. Так билась, что казалось — бьется все лицо.

— Вы ничего, товарищ, они перестанут. Вы передайте — они могут итти по домам. Считаем невозможным дальнейшее совместное производство. Очень просто и нечего им пни облевывать. Такая грубость.

Становище чуть шаяло сонными искрами, костры тунгусов перегнали русские костры. Изредка, от гула взрываемой скалы, проснется пьяный челдон, посмотрит на дымный столб, подумает — грезится ему во сне взрыв, солнце, светящееся ночью, у костра громадный неподвижный Егор Кушнаренко. Опять опустит, будто прелую, голову.

Сыпется тленью, червями от каждого взрыва, сыпется на просеку жухлый лес. Целые насыпи персти по краям просеки, но если даже налетит буран — не заест жухлядь колей.

Широкую, как на масленицу, радостную просеку прокусили неумелые руки тунгус.

Охлябью на лошаденке подскакал молодой красноармеец - подрывник. Шлем у него на нос, и грязная захватанная звезда, словно подмигивала с его лица Егору:

— Дяденька, товарищ Лейзеров командировал насчет динамиту. Весь студень израсходовали, а скала над самой рекой. Не взорвать, обходу никакого нету. Горы кругом — могила.

Он как-то по-детски охнул.

— Динамит весь вышел. Не зачем и посылать. Товарищу Лейзерову было известно, я докладывал.

— Се-таки, где, говорит, может, завалялся?

— Весь. Шнура могу дать.

— Нам не вешаться, — и он с обиды даже звезду передвинул на затылок.

— Так и скажи.

— Видно, так и придется сказать. Ничего, мол, нет!

Красноармеец лихо ударил голыми пятками в пузо лошаденки. Пузо глухо екнуло и понеслось. Взрывы прекратились. Лейзеров объявил отдых. Дорога уперлась в скалу. За скалой круто ревела река. Тунгусы легли спать. Они спали вряд, на спине, с открытыми лицами. Чадили костры.

Плохо дремалось ямщику Каргу. Думал он завести себе малицу после зимних охот. Малицу разошьет цветными сукнами. Говорят, где-то там за тундрой, где летом закатывается солнце, люди шьют малицы сплошь из цветных дорогих сукон. Все-то врут. Шубу из цветных сукон. Ведь тогда бы он, Каргу...

От таких мыслей не поспишь.

Каргу решил пройти к скале, которую завтра обещал взорвать человек с глазами позади круглых окон. Оконный глаз, Мосейка. Обещал порох. Куль с порохом у него крупнее куля муки. Сколько зверья помрет из-за такого мешка? Много! Сильно много. Как мух, много зверья. Ого! Какой Каргу умный! Как комара, много зверья.

Да еще сегодня говорили меж собой, будто старый леший Нямням нашел лисьего князька Хабу и будто бы убил.

Врут!

Его убьет из этого пороха... Ха, кто его убьет? Только не Нямням, старый безглазый леший. Давно бы ему надо подохнуть.

Каргу шел босиком. Это на работу ходят в обуви. Гуляют веселые люди всегда босиком.

Так-то так, но почему же не спит оконный глаз Мосейка. Спиной к Каргу, без верхней рубахи, наклонился он к мешку, в котором у него порох. Крадучись (здесь Каргу по охотничьей привычке присел), идет он с кожаным портсигаром, в котором он ищет всегда какие-то бумажки. Портсигар величиной, правда, в три кирпича, и в него папирос вошло бы столько, сколько сосен в тайге. Портсигар плотно набит, почти круглый. Мосейка несет его с трудом. Оглядывается. Подошел. К дыре просверленной для гремучего студня, от которого скала рассыпается, как старуха... В дыру сует портсигар. Забивает и только, как язык торчит из дыры красный шнур. Всегда показывали тунгусам, как закладывают гремучий студень, а тут Мосейка сказал:

— Отойди в сторону!

Отойти, почему не отойти? Своя голова не скала, жалко. Но отойдя-то и сказал хитрый Каргу друзьям. От малицы к малице и пошли его слова:

— Почему в сне ходил Мосейка к дыре, ходил и нес кожаный мешок? Почему прячет куль с порохом? Почему не показал нам сегодня, как кладут гремучий студень?..

Открывшаяся после взрыва река имела сырой запах крови. Острые камни, словно ножи, торчали из пены. И в открывшемся проходе, глядя на реку, громко спросил Мосейку хитрый Каргу:

— Почему ты шел ночь с кожаным мешком к дыре, Мосейка? Кому ты еду нес в мешке?

— Я хотел ловить рыбу и нес приманку на удочку, — ответил Мосейка. — У меня есть сильно длинные лески, которые возьмут через всю скалу.

Разве с русским поговоришь? Русский — если не пожалеет языка — языком взорвет скалу.

Лейзеров, близоруко щурясь, стоял там, где крутой обрыв спускался к реке, имеющей запах крови. Через реку ревел лес, скаты Гайленских гор дымились вдали, и небо было пустое, серое и низкое.

Закон тела — любовь, закон тайги — топор.

Толпа сжалась. Сухой перегар водки и давно немытого тела, как пологом, застлал Егора. Ему захотелось подняться на цыпочки.

— Вре-ет!.. — закричали из задних рядов.

— Канешна врет, какой там расчет? Погулять нельзя?

— Сместили его, вот и мутит. Рубить не пойдут, дескать, без него...

Чей-то тонкий дрожащий локоть упирался ему в бок. Махнув рукой, он сорвал гнилой, облепленный гнидами, клок рубахи. Сиплый матерок гуще гнид облепил его, пока он растерянно держал тряпку. За толпой у костров валялись солдатские манерки. Тощая собака, поджав хвост и оглядываясь, тащила одну манерку в кустарник.

— Согласно приказания товарища Лейзерова, мне поручено сообщить вам о расчете. Такие прогулы мы не потерпим. Скажу кратко: идите в город, там и разъяснят...

— Сто верст? Сам шагай, сволочь!

— У бабы уселся в штанах. Пищишь! Иди сам!

— Товарищи, становщики...

Гул пронесся над толпой. Чей-то камень попал в собаку, волочившую манерку, и на визг все обернулись. Собака, ощерясь, присела на задние лапы, а передние лежали на чьей-то брошенной лопате.

— Бери струмент, — завопил Щокур, — пшла, курва, с лопаты. Абгадишь еще со страху. Струмент, паре, бери! Пашли к реке на работу!

Он подхватил лопату, по дороге со всей мочи огрел ею собаку. Та, исступленно визжа, закружилась. Становщики захохотали, и кто-то ткнул ей, подкравшись, головню в бок. Запахло шерстью. Хохот увеличивался.

Мотая похмельными тяжелыми головами, они затянули песню и пошли к дороге. Последний, замешкавшийся степенный и рослый мужик, в синем азяме, поднял-было кирку, чтобы добить собаку, но раздумал и, держа кирку на отвес, сказал Егору:

— Тебе бы лучше за бабой следить, если нашей работы не уберег. Тунгусье выпустил! За такие лататы тебя, как этого Полкана, могут... Еще, по-приискательски, котелок расколят, да на голову. Потом и думай...

И он легкой походкой пустился в догоню.

Так ли? Будто не так, думал Егор. А все же остался он один на поляне подле разметанных костров. Нет даже угля в кострах. Закурить не от чего. Опасаясь пожара, тщательно залили становщики костры. Ему угля не оставили. Словно он труп. И никто не подумал, — а не пойдет ли он с ними вглубь? Робить.

Визжала израненная собака, но и она скоро убежала за становщиками. Она хромала и кровь ее в пыли тлепи скатывалась черными шариками.

И сам не помня своих мыслей, облепленный жужжащими комарами, в расстегнутой рубзхе — шагал Егор по следам становщиков.

Товарищ Егор Кушнаренко, ссыльный крестьянин из Златоустинского уезда, позже комиссар 14 Вятского полка на Деникинском фронте, трижды раненый, герой, ухобака, не дурак выпить, — как ты попал в Айкеньскую тундру?

Мандат. Чрезвычайно просто. Знает местный быт. Поезжай. А тут кстати — пролетная дорога. Птичий путь через Гайленский хребет, мимо Салаирской долины, мимо реки Чала, через нее, вернее, по горе Тагасы, по тайге, через поток Обо... Но кто знает, что там дальше? Птица?

Но вот на повороте перед скалой, которую Лейзеров взорвал тунгусским порохом, стоит плетеная таратайка. Лошадь, отмахиваясь хвостом и даже слегка лягаясь, косо следит влажным глазом за носящимися оводами.

Под тележкой портфелик, жиденькие ноги на брезентике.

И сразу Егор вспомнил весенний сеновал, свое плечо, заслонявшее роговое лико Лейзерова. Что ж, лошадь будет теперь заслонять своим плечом его, Егора Кушнаренко?

— А, стерва!

Но Лейзеров уже поправляет на потном носике очки, уже крутит круглые свои слова — кедровые орешки. Гнилые орешки третьегодняшние.

— Н-да... Поскольку женщина имеет право распоряжаться собой и поскольку ищет она любви той, которую она себе намечает для сво-

его счастья. мы должны не мешать ей. Индивидуальный рост разумного существа обусловливается содружеством особей, к тому расположенных... Если она наметила меня?

Маньша стоит, прислонившись плечом к коробку трашпанки. Смуглая кожа ее плеча поцарапана, и ворот кофты без пуговиц. А ногти у Лейзерова давно не стрижены и словно заржавели.

Посмотрел вниз Егор так, будто ногти того внизу валялись под телегой (хотя они не дурным жестом торчали из кармашек гимнастерки) и для себя больше спросил:

— Кокнуть его?

Лейзеров — сообразительный, словно всю жизнь сам у себя наиответственнейшим секретарем был. Он-то знает, какое яичко хочет кокнуть Егор. Лейзеров — брахицефал, круглоголовый, но он выпрямляет грудку и говорит:

— Сделайте ваше одолжение, гражданин. Не предупреждаю даже, что перед республикой ответите. За все. У медведя кулак вдвое больше вашего, на него я бы не обиделся, а от вас глупо и слышать. К тому же, не мешает подумать о ревизионной комиссии, личные же дела...

Он покорябал ноготками перед своим носом:

— Лично и устраивайте. Но вековые цепи рабства пора сбросить.

Какие тут личные дела? Так, мзга, туман, — там, где небо сливается с землей. Вот и вся наша жизнь!

И не оттого, конечно, так подумал Егор, что Маньша улыбается во весь свой сильный рот. Рот, который завивал бороду пуще огня.

И не оттого — пошла, колыхнулся кузов трашпанки ей вслед. Кофту оправляет на мосту, сооруженном из четырех пар сплотненных бревен.

Поднял кулак Егор, махнул. Тоненькая, словно сквозь ее оводов видно, грудь топорщится перед ним.

Кулаком он — о кузов трашпанки. Метнулся во внутрь, схватил веревочные вожжи и какой-то слегой — по спине, так что пот брызнул, будто баба вальком по белью ударила. Из конской спины пот.

Всеми копытами забилась лошаденка об колеса. Завелись, как вожжи, оглобли.

Ноги его свернули прочь облучок. Высоко над головой Лейзерова пронеслась эта просиженная доска.

И пыль. Вопль вслед:

— Документы!.. Товарищ Егор, портфель выкинь! Увезете!

Несется слега над лошадиной спиной, вожжи кольцом, колеи навертываются на колеса. Оглядел свой револьвер Лейзеров—тот, походивший на кожаную заплатку по ситцу. Кнопку было-отстегнул.

— Что касается стрельбы, то нелепо стрелять в такого идиота. Портфель жалко. Ясно, если вдумчиво и внимательно отнестись к его нуждам. Ясно... нда...

А у становища, на сто третьей версте, ждали Егора хитрые тунгусы. Тут был Каргу, для храбрости попросивший у одного из красноармейцев шлем. Он его держал в руках и тыкал все время в звезду пальцем.

— Твой тотем — такой. Мой — оленьи рога, — зачем нам друг друга врать? Ты счастливый был, спирт пил — зачем тебя меня обманывать? Если Мосейка к мешку с порохом, который нам обещал, наклоняется и берет? Кожаный мешок делается полный, и в дыру, которую надо разорвать, как мышь пулей — в дыру еле-еле лезет, — не от этого ли мешка взрывается дыра, и скала расползается, как сметана? А?

Подожди, русский натягивает вожжи. Каргу хитрее тебя сто раз. Каргу легоньку берет вожжи из рук русского.

— Я там больше не служу. Моей работы там нет. Я ничего не знаю, граждане.

Да, вот языки у русских! С такими языками только святым быть. Сам по каким-то делам, может за спиртом, едет в город на трашпанке Мосейки. Поговори с такими!

Хотелось бы посмотреть тунгусам: есть ли кто хитрее Каргу. Они хохочут даже раньше, чем он откроет свой мудрый рот.

— Пускай, не знаешь. Тогда ты мне скажи — есть ли еще в Айкене такие кули с порохом, или этот последний? Если есть, нам что ж беспокоиться.

— Не знаю я ничего.

Ну, нашла стрела на стрелу, костяные наконечники. Однако посмотрим, как выкрутится Каргу.

— Если не будет пороха — хорошо. Мы думаем из луков стрелять, мы же привыкшие. Спрашиваем, много ли заготовить мы должны пороху. У...

Они все улыбаются. Ну да, они поэтому только и спрашивают. Удалось!

Ай да Каргу. Вот лиса.

Русский перевисает с тележки, смотрит в глаза и говорит медленно, даже со страхом:

— А коли порох-то последний?..

Каргу, одерни тех трех дураков, схватившихся за нож! Рожи их одерни! Ведь не подыхаешь еще, ведь деды твои когда-то хорошо попадали из луков, а теперь — лук в западне, а в руке твой мозг — ружье. Губы одерни, не скаль зубы! Не горло же рвать зубами!

Будто и хотел русский Егорка сказать. Или торопился, и некогда было ему думать. Быстро подобрал вожжи.

— Другим порохом взрывает. Динамитом. И в Айкене пороху амбар. Советская власть сильна.

Поглядели на закрутившиеся колеса тунгусы. Довольные переглянулись, и Каргу сказал:

— Надо бы мне посмотреть в тундре того, кто хочет убить князька Хабу. Хоть бы и старого дурака Нямняма.

— Да, найдешь. Есть ли еще в тундре кто хитрее тебя, — ответили с восторгом тунгусы.

Из северных областей тундры шли к лесам кочевники со своими стадами. Себе — за топливом на зиму, стадам — нетронутые пастбища. Несколько таких незнакомых чумов увидал Егор.

Под сырыми длинными тучами встретил Егор возвращающихся из Айкеня красноармейцев. Егор тоскливо, вяло оглядел их и, словно удивившись, что с ними нет спиртоносов, спросил:

— Куда вы их доспели?

— Сперва в милиции. Пожалел их кто-то и выпустил. Теперь у Сократа живут.

— У Сократа? — переспросил он. — Ну и пускай у Сократа.

Долго стояли красноармейцы, словно ожидая, не вернется ли зачем Егор. Копчик сделал много кругов над осокой и три раза падал в траву.

Тогда один со всей ему доступной мудростью сказал:

— Баба, от нее. А без бабы нельзя. Без бабы — столб.

Ясно видно кругом желтоватые лайды и бурые гребни далеких холмов.

Он был одиноким этот день. Так ясно, что за версту, казалось, разглядишь крыло птицы, лениво свисавшее с ивового куста. Птица думает — не пора ли подымать свое крыло на юг? Ей лень, и она смотрит на север, где от моря по тундре начинает завывать пурга, и ледяные горы упрямо тычутся звенящими синими лбами в желтые береговые скалы.

Но если в лайдах была осенняя озерная ясность, то в горницах Сократа Пузырькова словно все залито вязкой тиной. Желто-серый махорочный дым, серо-красные десна спиртоносов, матерками, словно киркой золото, долбящие душу, и потреснувшиеся стаканы вокруг четверти. А позади стола, расставив опухшие (будто шире туловища они теперь) ноги с пустой деревянной чашкой, — Егорка, прозванный теперь спиртоносами почему-то Речкой. От беспрерывного пьянства его лохмотья тоже кажутся распухшими и слизкими.

— Налей! — ворчит он над чашкой.

— Чем плотишь? — спрашивает старый спиртонос.

Он не зол, он не скуп. Вспоминая хорошую встречу у тропки из жухлого леса, он иногда дает водки даром. Но город через две недели будет в пургах, город сдохнет, из Айкеня надо бежать, и нечем больше разбавлять спирт.

— Налей!

— Сиди... сиди .. Чем плотишь? Вшами. Ружье отдашь?

— Не дам ружье.

Эти три слова он говорит вяло. Он сам и верит: разве ружье не пропито. Зачем ему ружье с одним патроном. Да и последнего патрона пистон покорябан. И чем заряжен патрон? Дробью? Бекасиком? Нет, картечью. Оленей бить? Егорке бить оленей?

Егор молчит. Бутыль обступили люди. Они все прибывают. Пол в горницах затоптан и захаркан, словно с ухода Маньши не мели его. И толстый Сократ, у которого всегда были такие сапашистые ситцевые рубахи и синие глаза, — тоже словно захаркан. Пьют от дороги, пьют от тоски. В омут идет дорога, и к тому же заставили верить всех, что в рай. На дорогу убухана вся городская жратва.

— Налей, — говорит один, кидает монету спиртоносу и уходит, выругавшись как на торге.

— Налей, — говорит другой, останавливается у стола и кричит Егору.

— Ты мне правду скажи!

— Какую правду? Сами ее выдумали, сами и верьте!

Плевать Егору на все дороги. Пропьет оставшееся ружье и поступит на службу. Делопроизводителем хотя бы, бумажки подшивать.

Сам он не ест который день. Много верст прошла дорога — с той поры, когда он пообедал последний раз.

— Пей, — наливает ему какой-то курносый с синим прыщем на широкой губе,—пей и поцелуемся.

Егор целует и еще пьет.

— Дуй! Я тебя за ухобакство люблю. Захотел девку—упер. Захотел плюнуть—и прямо в шары.

— Ты мою девку не лай, — несется на него Сократ. В кулаке у него разливальная ложка.

— Была девка, а теперь баба от Мосейки, — визжит прыщавый, подставляя под бутыль стакан. — Ты за Мосейкина сына выпей, она так режет — в очках, грит, непременно рожу.

Егор выхватывает стакан у прыщавого и глотает. Стакан вдребезги. О пол.

— Бе-ей, — визжат у пристенка в истошном весельи незнакомые голоса: — хозяев в первую голову дуй!

Егорка подымает громадный опухший кулак над прыщавой губой угощателя.

— Мой сын, говорю! Не может от Мосейки быть сынов. Мой!..

Прыщавый приседает, нырнул меж ног и хлопнул костлявым кулачком по заду.

— Там по волосам разберемся.

— Мой, — орет Егор: — убью!

Вдруг вспомнил. Один патрон. А в темноте, может, в зряшнего человека всадишь этот картеш.

— И ну ва-ас...

Распахнул тесовые ворота и понесся по улице.

Уже солнце исчезает с тундры. Уже осень и лиловый мрак над осоками и ягелями.

...Несется Егор, размахивая ружьем, по острокрышим улицам. Выцветшие сизые окна. Люди от голода пьют морошковый густой чай, пекут лепешки из грибов. Там, за сизыми окнами, тоже тоска о дороге.

— А...

...Вот первая верста. Он вкопал ее своей лопатой. У лопаты, помнится, крашеный черный черенок. Кто же красит черенки? От почтения, разве? К Егору, конечно.

Дальше — мелькают лайды, изогнутые полярные березки. Волк сделал несколько легких прыжков в кустарники. Версты мелькают, как пальцы. Началась просека. На сухой наклоненной сосне сидит белая сова. Легкая морозность заволокла даль и снова за десять шагов кажется моржем. Да осенью иногда глаз обманывается еще хуже. Просека скачет и вьется. Версты все короче и короче. Несколько овражков. Гуси лениво поднялись при его приближении. Еще лайды. Еще бурые холмы. Морозность унес ветер и стало ясно, как утром. Вот сто третья верста! За ней поворот в жухлый лесок, похоже, что дорога кинулась, надломив свою душеньку.

Взорванная скала и тут.

Тут Егор сорвал с плеч ружье и вставил патрон.

— А, су-ука!..

Нет, пистон не покорябан. Пистон зажжет порох, как она тогда распахнула дверь. Валенки. А еще немного — в самое сердце — ее круглое лицо. Как она тогда зажгла сердце.

...За последней хатенкой, у кладбища, нашел возвращавшийся в тайгу ямщик Каргу счастливого становщика Егора. Он был ободран, в крови и спал головой к тайге. Ружье лежало в паре саженей; рядом. Лежит, счастливчик, и воет.

В тайгу хотел итти, решил хитрый Каргу. Погулял и будет. Надо работать, нельзя же быть все время счастливым. Каргу взвалил Егорку на воз, накрыл гусом и понюхал рот.

— Опять пьян, — прошептал он с восторгом, — и где он только находит?

Так и спал почти всю дорогу под гусом Егорка. На повороте сто третьей версты подтянул к себе винтовку. Нет, ẽдинственный патрон давно лежал в ложе. И пистон все-таки был покорябан. Видно, пригрезилось, что цел.

Мост над бревнами.

Разведчики опоздали с возвращением на три дня. Охотились они или заблудились?

Лейзерова в эти дни схватила лихорадка. Его отрепанная записная книжечка подпрыгивала в его иссохших пальцах. Но глаза все таким же любопытством наблюдали, как Маньша варила осиновый настой, заменяющий в наших местах хину. Лоб, казалось ему, свертывается, как береста от жары. Он обижался, что не мог на слух определить: сколько топоров звенит в тайге. Маленькие серебряные молоточки, заглушая топоры, звенели в ушах.

— Пропорцию осины впиши в книжку, — даже привставая, сказал он, когда она наливала настой: — надо сообщить по инстанции, как народное средство. Нда... Разведчики не стреляют?

А вечером в широкий поток Обо начала прибывать вода. Она постепенно пеной заглaдывала торчащие бурые камни, лепилась по сваям моста, все выше. Единственную лодку становища пришлось привязать к кустам, втянуть ее к яру.

— Пройдет, с дождей вчерашних, — сказал Лейзеров, выглядывая в прорез палатки. — Разведчиков не слышно?

— Говорят те, нету.

К вечеру возвратились разведчики. Предводительствовал ими Петрован Щокур. Одно ухо у него было поломано в чаще; длинную и жидкую какую-то, как веревка, шею он держал вкось.

— Ливень в горах был матерущий. Така волна на нас прет быдто гора! Все к ядреной бабушки смоет! Из речушки одной бугор размыло в промежьи, и с нашим Обо соединилась.

Однако и воды! Пока мост не снесло, надо итти обратно.

Выставив острый носик, по которому скакали роговые очки, Лейзеров лежал под двумя тулупами и гусом. Очки его при словах Щокура подскочили еще выше.

— Ни в коем случае! жду из Айкеня нарочного, Каргу едет. Должен быть на месте следования, то-есть у нас, завтра утром. Раньше завтрашнего никаких разрешений не будет.

— Мост снесет, а там, товарищ, жди, когда река замерзнет. С голоду подохнем, поколь холода.

— Превосходно, очень превосходно, товарищ. Каковы результаты разведки? Проходы есть? Дневник путешествия, согласно распоряжения моего, вели? Каковы территориально и объемом те скопления воды в горах, которые рискуют ринуться на нас?

Дневник по неграмотности своей разведчики вести не могли. Кайленский проход существует, разве что зимой будут снежные обвалы, там криволесье и пропасти.

Тулупы поползли с тощих его коленок.

— Меры, меры примут! Я ж говорил—пройдем. Через проход, а там по скату вниз. Маньша, сколько нам предписано еще верст пройти?

— Пятьдесят, — ответила Маньша.

— Надо спешить, осень. Надо провизию вести в Айкень. По всем данным — голод. Каковы объемы вод? Много воды вверху, говорю?

— Да, воды много.

— Надо бы отвести в сторону, где нет поселенного жилья.

Чудак этот Лейзеров! Провел какой-то хилый мост через Обо, дал ему имя революционного вождя, чуть ли не тов. Троцкого. Становище разбил возле потока и утверждает — не беспокойте моего жилья. Отведите горные реки.

Чорта ли горным рекам до твоего жилья? Разнесут твой скрипучий мост по щепочке, по клинушку, саданут по тайге, с треском ломая столетние деревья, — разыскивай там после твою брезентовую палатку.

Воды, густопенные и тугие, прибывали. О сваи бились несущиеся с верховьев подгнившие стволы. На одном из деревьев, тесно прижавшись к коре, проплыла рысь.

Услышав про зверя, Лейзеров попросил помочь ему выбраться к реке. Ноги его подламывались, как гнилая кора. Тогда тунгусы положили на жерди малицы, а на малицы — Лейзерова. Острый сучок давил ему в бок, но он промолчал, так как вспомнил „Полтавский бой“ и даже стишок оттуда:

В качалке бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился...

И потому может, взглянув на бушующую реку, — сказал:

— Величественное зрелище.

Хотел повернуться на спину, но носилки чуть не рассыпались, и он приказал тащить обратно. Он теперь попробует еще компрессы.

Щокуру очень-то не верили. Полагали, вода от дождя понесет, побьется и перестанет. Ночью с тундры налетел северный ветер с косым дождем, задул костры, промочил, как сито, шалаши, засвистел, загукал по мосту, сорвал с цепей лодку и разбил ее о сваи. И тогда становище кинулось к палатке Мосейки. Шубы его были тоже промочены, палатку сорвало с прикольев.

— Граждане, — сказал он: — не волнуйтесь. Верному человеку, при первой вашей попытке к возвращению через мост, приказано упомянутое сооружение вместе с содержимым взорвать на воздух. Нда. Очень просто, граждане, возвратитесь, зажигая костры для обсушки.

А верный-то его человек, на самом деле, в это время разыскивал по кустам унесенные ветром штаны Мосейки.

— Главное, ждите терпеливо...

Теперь мы перейдем к продолжению истории о хитром ямщике Каргу.

Видите ли, Каргу давно подозревал — неладное там делается с порохом. Почему один Мосейка с Маньшей делают взрывы и где они держат гремучий студень? Поклясться всеми идолами можно — опять русские желают надуть тунгусов!

Вот об этом, бочком как-то порасспросил он в дороге Егора.

— Порохом взрывает, — сказал спокойно Егор. — Давно в Айкене нет динамита, и порох, что у Мосейки, — последний.

Захлопал, заударял по самым больным местам себе Каргу. Хо, какой хитрой и грязной веревкой опоясан мир! Как пойдешь по этой веревке, так и в яму!

— Почему ты, Егор, раньше не говорил такие слова?

Егор подтянул колени к бороде, опухшие красные веки его неподвижны. Молчаливый и скрытный, как колчан.

— Поди — так врешь. Надо же и тебе подсмеяться над хитрым Каргу.

И пристал: врешь и врешь. Сунул ему Егор патронташ. Пустые патроны и только ружье заряжено — последним.

Выходит — правда. Выходит тунгусам другая дорога.

— Как же? Работали и не спали, Егор? Сон был короче рюмки. Лучше приисковых рубили тайгу и ворочали камни, порох, думали, получим. Белка за вашу войну наплодилась больше комара. Как же!

Молчит Егор. Борода у него грязная, спутанная, словно торф жует. Колени стукаются в ухабах. Жует бороду, как сжевал он тунгусскую жизнь. Счастливый, пил, — теперь еще что-нибудь выдумает. Тунгусы все передохнут, а об нем песни будут петь.

Паршивый, вонючий барсук! Так бы тебя надо ругать.

Ночь спустилась. Играли сполохи. Стучит трашпанка, так стучит, будто Каргу со злости. Несет из тайги запахами мхов. Лошадь прядет ушами.

— Да и то гоню, — говорит, оглядываясь, хитрый Каргу: — куда тебе еще быстрее?

Егорка молчит. Поставил ружье меж колен и молчит. Каргу согласится спеть о своей хитрости и ловкости. Два веселых человека едут, о чем им скучать! Молчит паршивый барсук. Его из милости, пьяницу, подобрали, а он с хозяином и разговаривать не хочет. Трусит, должно быть, как бы Каргу не разозлился и не прогнал. Долго ли Каргу рассердиться! Насупит густые свои брови, губу отставит и...

Но тут оглянулся. Человек не человек, кедр не кедр в трашпанке.

— Да гоню же, гоню!..

Так и молчал он до последнего рассвета. А на последнем...

И сильно же шумит тайга, словно злится, что поток Обо пересекает ее темный густой халат. Как к потоку ближе, так словно с ума

сошла тайга. Клокочет, захлебывается, ревет. Будто горы обвалились на тайгу.

Послушал. Вожжи натянул.

Так.

— А ведь шумит — вода, Егорка. А через воду мост.

Вот здесь-то и крикнул, действительно, Егор:

— Гони!.. гони, курва!

Словно откидывая от себя не грязь, а свое мясо, обезумело понеслась лошаденка. Дорога приближаясь к потоку — словно уже срублена. Словно нарочно под колеса попадают камни. Выскочили на берег, а на том яру — через ревущий и дрожащий мост — кричат:

— Скорей!.. Скорей!..

Подхватил ружье Егор и, прыгая через пять бревен, через вырванные настилы, в которое все тело обдавало студеными брызгами побежал по мосту. Сутунки, обтесанные рукой человека, визжат об сутунки, обтесанные рекой. Гнутые вылезают сваи.

А Каргу...

Лошаденку — под уздцы, пакет за пазухой — жратву промочит, пускай. Только вступил на первую плаху моста, вдруг легонькая неживая рука отстранила его. Короткая, вылинившая малица, стоптанные бродни, словно на жерди отстранила его. А в руках коротенькая шкурка лисички с беленькими кисточками на ушах. Синяя шкурка. Синяя с серебром.

Кто скажет — это не пушной князек Хабу?

Кто его убил? Кто — великий охотник?

Кто скажет, что это не Нямням?

Старик легонечко, словно лисичка несла его, скользил по мосту. Скрылся на яру в толпе Нямням.

А оттуда все еще кричат:

— Скорее!.. Скорее!..

Кричите; хоть оглохните от крику! Кому вас жалко, дураков! Зачем Каргу пойдет теперь к вам? Ждите.

Несколько человек кинулось на мост. Наверное, помочь Каргу. Мост, с левого конца, затрещал. Полезли деревянные клинья. В разрыв хлынули покрытые пеной, вырванные потоком деревья.

Каргу привязал лошадь к молодой сосне. Засыпал ей овса. Сел на пень и запел.

Пел он о своей хитрости. О порохе. О пушном князьке Хабу. О старом дураке Нямням, который получит теперь десять тысяч за чернобурого лисьего князька. Пускай бунтуют на том берегу, пускай кричат. Каргу долго будет петь, чтобы песня об его отчаянии прославилась на всю тундру.

Ясно!

олько детальное обследование сумело бы выяснить технические условия работы.

Прыгая с последнего бревна, перекинул Егор ружье с плеча на ку. Чье-то рукопожатье помешало положить ему палец на курок. иноухий Петрован уже хрипел над ним:

— Тебя, что ли, послали?..

А Маньша — за толпой, будто нарочито выпятив живот. Лицо ее жухло, какая-то другая кора покрывала щеки. Если приглядеться — аждую весну разного цвета бывает кора на дереве. А рот все так же меялся сто третьей верстой.

Его били кулаками в плечи, радостно хохотали в бороду и, как исток по воде, передвигали в толпе.

Не много-то смеющихся ртов все-таки было тут. И для одного Маньшина живота соврал во весь крик, через всю толпу, Егор:

— Отец твой помер с голоду. Перед смертью мне — повидай, рит, ее.

— Царство небесное, — ответила она.

Стоило ли кричать, ради ее закрытого рта. Видно, не от вести смерти отца скинет она ребенка. На него, на ребенка, как на скалу, тоит, опираясь, она.

Всякие бывают сердца...

— Каково в городе-то? — кричали ему становщики.

Как бы ответил он по-другому.

— Ждут, — ответил он.

И все понимали, чего ждут в городе.

— Привез, что ли?..

— Чего молчит та, лапа.

Но тут-то и спрыгнул на яр примечательный охотник Нямням. Тут-то и треснул, и расползся мост.

А Каргу на той стороне, сел подле трашпанки петь о своей хитрости.

Твердо, как в дверь, вошла в его глаза Маньша. Скинула приставшую к ее рукаву ляпку ивовой грязи.

— Ты б к Мосею прошел...

Всегда-то по-особенному крутится этот смешной Лейзеров. Теперь влез под тулупы. От цынги, надо думать, от лихорадки опух и посинел. Все же портфелик рядом, на раздвижном стулике и очки протерты тщательно оленьей замшей.

— Временные технические комбинации задерживают несколько продвижение вперед. В технике лесных дорог многое не предвидено. олодают там?

— В Айкене?

— Странные вы вопросы иногда задаете, товарищ Егор. Кажетс вы достаточно знакомы с моими практическими навыками. Нда Мандат у вас есть?

— Какой?

— А что в партию и на работу обратно назначили. Без манда я вас не приму. Не говоря уже о реабилитации, все мои уступки

И завел свою причуднейшую разговоринку товарищ Лейзерс Со стороны посмотреть — паршивенький аршинный человечишко л жит под шубами. Желтые обсохшие от лихорадки рученки, оте под глазами. Так нет ведь! Рассказал подробно, как можно гнать др весный уголь, какая может быть осуществлена здесь белая энерги или белый уголь, какая польза от выгаданных тысяч верст.

— У столетий вырвали тысячи верст!

Через неделю будет он иметь тысячу верст. Не плохо хочет ар шинный человечишко!

Задохся, закрутился, закашлялся:

— Какой грубый табак вы тянете, товарищ Егор. Все махорка

— Все.

И опять о новостях в укоме.

— Не перемещали никого?

Что Егору до дороги? Дойдет ли она или нет? Если явился сюда то не для насмешечек же Лейзерова. Врать, так врать.

— Мандаты мои и документы у Каргу. Я отдохну и пойду через мост.

Хлебнул Лейзеров какого-то отвару, посмотрел отвар с отвраще нием на свет, отставил подальше, но тут же сразу придвинул.

— Я вам верю, товарищ. Формальности после.

Действительно же верит. Действительно заблестели жирны южным солнцем глаза.

— Мне поручено, — сказал Егор, глядя в пол, — привезти к ва на работы добавочную партию... в сто человек рабочих. Ускорить про изводство, значит, через них. Они позади идут. Следом, за Каргу Я отдохну здесь и вернусь за ними.

Тут Лейзеров даже привскочил на кровати. Выскочила из-по шубы грязная его рубашонка, с полуоторванным воротом, с жалк торчащими сухими ключицами.

— Я ж вам настойчиво, товарищ Егор, повторяю: мост разорва совершенно. И вообще за такое безобразие надо к стенке. Еще не давно просил я в Айкене помощи. Сказали — нет и не будет. Что же видим мы теперь? Накануне завершения дела, накануне того, что мы бодрой ногой, возможно, с пением революционных песен... Вообще поднимемся на Гайленский перевал. Мы, работающие на указанной дороге, от имени всех товарищей протестуем против захвата проде ланной нами работы.

Он натянул на себя шубу, очки прыгали где-то у него на лбу.

— Как вы полагаете? — спросил он с кашлем у Егора.

Егор отошел на шаг и сказал:

— Я ж, ничего...

Поморщился болезненно Лейзеров.

— Терпеть не могу бессмысленного оружия. Период гражданских войн уже окончился и не к чему носить без надобности, — когда эпоха экономического строительства... Сняли бы вы свой пулемет.

И Егор послушно спустил ремень берданки.

В крыло передовой птицы дует теплый ветер с юга. Ноги ее плотно прижаты к телу. Она не оглядывается на обгоняющие вереницы.

А внизу, на Гайленском хребте, дует ветер с севера, с тундр!

Сиплым свистом провожает птиц пролетная дорога, сиплым свистом в криволесьи. Здесь, на перевале, становщикам кажется, словно они опять попали в тундру, словно не прорублялись сквозь мачтовые леса. Серые, в плечо человека ростом, на многие десятины тянутся неперевалом густые заросли криволесья. Издали кажется поросль, а наклонишься к коре и поймешь — от суровой полярной зимы, без снеговой защиты (все снега уносят бураны в тайгу, ниже) в леденящем ветре, — эти деревья на десятки лет зачахли, скрючились и серым пластом жмутся к заболоченной земле. И будто труднее их рубить, чем мачтовые леса, чем жухлость Салаирской долины.

В руки передового Егора дул колючий серый ветер с тундр. Он, словно гвоздями, прибивал пальцы к топорищу, тяжелил — леденил сапоги, ноги не держались на узловатых корнях.

Птица летела на юг и не удивлялась, что в этом году, как бакены на реке, на ее пролетной дороге виднеются черные чумы и голубой дым из них тоже несется на юг.

Звук топоров словно замерзал.

К звону колокольчиков в ушах Лейзерова прибавился еще какой-то чип. Никому не жалуется криволесье. Оно упорно на многие десятины ползет Гайленским перевалом. Миллион, наверное, искривленных, сутулых деревцев. Кора у них в болезненных наростах, а корни — словно в ревматизме.

С кем бы плакать Лейзерову? Смешно подумать.

— Ты им содействуй, — говорит он Маньше, с печалью глядя на свою бритву „Жилетт“.

Но не успела Маньша выйти, — Лейзеров окрикнул ее:

— Помогите мне подняться!

И какой же он смешной, этот Лейзеров! Неужели не понимает, что у него нет сил подняться и сесть, не думая уже о ходьбе. Так нет, — говорит, — хочу итти! Тунгусы несут носилки. Жерди теперь не распадаются, носилки вырублены прочно и Лейзеров каждый раз словно видит их впервые.

— Откуда здесь носилки? — спрашивает он удивленно.

И ему стыдно спросить, не Егор ли ему срубил носилки. Он спрашивает о другом:

— Я вас, граждане, не отрываю от работы?

— Нисиво, — отвечают тунгусы. — Плохо, вот табаку нету. Трава сырой, мох сырой, дождик.

— Да, дождик, — соглашается Лейзеров, подтыкая под бока брезент.

Носилки качаются. Впереди сверкает топором Егор. Одна его спина шире носилок. Голова Лейзерова укутана кругом шарфом, только остались одни очки. Слезящиеся глазки упрямо глядят на корявые оттаскиваемые тунгусами деревца.

— Не находите ли вы, — свешивается он головой с носилок: — что колеи будто становятся у́же?

— Не нахожу, — отвечает Егор оборачиваясь. Только топор сверкает ярче его глаз.

— Что̀ Каргу приехал?

— С чего вы взяли? Да и вообще, плюньте... об нем.

Егор повернулся. Томительнейшая тоска была на его лице. Очки у Лейзерова сразу пропотели, и медленно он сказал тунгусам:

— Прошу вас, пожалуйста, подымите мои носилки.

Так и не отошли очки у Лейзерова. Так и остался у него в памяти Егор с опущенным топором, серым, как криволесье, лицом и растопыренными по-детски пальцами.

— Готовится оленье мясо, товарищ! Возможно, поспело, вы бы объявили паужин. Насколько мне известно, рабочие не ели со вчерашнего утра.

А в паужин принесли миску Лейзерову. Достал он оттуда своей складной вилкой кусочек поменьше, поднес ко рту — и отложил.

— Тошнит!.. и вообще за последнее время наблюдаю у себя отсутствие аппетита.

Сморщил веки, добавляя:

— Также энергии, необходимой...

В тот же день на берегу разлившегося потока Обо — ямщик Каргу закончил свою песню. Вяленой рыбы у него не было еще достаточно; шалаш дожди промочить не могли; сено для лошади было. К тому ж, сидел он на высокой скале, как орел сидел, видел бурлящий поток, горы, голос его почти совсем-совсем заглушал поток. Долго бы мог петь Каргу, но помешали глупые тунгусы. Со всех чумов, стоящих по краю дороги, от самого Айкеня, собрались они к скале и сказали:

— Сегодня улетел с Таймыра последний гусь. Через три дня падает на реки лед. Нам надо порох, мы ждем льда на Обо, мы хотим получить порох с Мосейки, разве не пора охотиться?

Да-а!.. Вот тут и хотел бы Каргу, чтоб десять дней еще не было льда на Обо. Десять дней пел бы он песню об Мосейке, его порохе, о гремучем студне... о многих хитрых вещах.

Но и десяти слов не выслушали тунгусы.

— Так нет пороха? — спросили они.

— Нет, — ответил Каргу, при виде таких лиц сразу спутавший песню.

— Так. Едем с нами.

— Я не люблю быть свидетелем, — ответил Каргу: — я бедный и у меня нет оленей, которые питают богатого человека, ездящего по русским судам.

Молчат тунгусы. Смотрят.

— Мне делать нечего, я прогуляюсь, — говорит Каргу. — Еду.

Как сказал последний гусь с Таймыра — так и выпал через три дня на Обо лед.

Первым через лед переправился большой герой и хитрец Каргу.

5 × 70 = 350.

Первого сентября в Айкене престол и ярмарка. У престола, в золоченной ризе, поп. У престола лавки, в ситцевой рубахе, вымытой так, что блестит ярче парчи — купец. Тунгусы, самоеды и орочены привозят пешку для пыжиковых шапок, нипляй для малиц, постель для замши, красную лисицу, россомаху, песца и нерту. Олени хрипят подле чумов. Купец щупает меха, борода его краснее лисицы, а голос нежнее пыжика.

Поп молится. Поп еще молится, а купец...

А заместо купца за прилавком товарищи Каргасовы — представители промысловой кооперации. Они в полушубках, на манер зырян, подпоясаны широкими цветными опоясками. Задатков не дают, спиртом не поят. Чудной народ!

Каргас — назвали их тунгусы, а как назвали, так про купца начали рассказывать сказки и „это было тогда, когда ездил по тундре купец...“.

Резные наличники над окнами по всему Айкеню. Есть еще в некоторых домах и по сие время слюдяные окна. Ставни расписаны петухами. Петухи же наполовину засыпаны сугробами, торчит лишь красный гребень.

В зале, построенной тогда, „когда ездили еще по тундре купцы“, один из таких, Каргас рассказывал пленуму Совета:

— Я могу сделать только одно замечание: необходимо поспешить с доставкой товаров на ярмарку. Имеющиеся запасы вывезены на площадь, их едва хватит на три дня. Склады, благодаря отсутствию путей сообщения с центром, равны уровню тундры. Необходимо уровень повысить, соответственно.

Люди в самоедских дохах, с опущенными капюшонами, крут[illegible] поморские густые усы (такие, будто на меха готовит). Посылают н[illegible] складные записочки на махорочной бумаге. Не поймешь, — слова [illegible] там или остатки махорки. Председатель машет обмороженной рукой (он командирован недавно и до сего времени не может понять вчера осень, а сегодня полез в карман за платком и отморозил пальцы...).

— Товарищи, вносится предложение: направить по новому проложенному пути через Гайленский хребет обозы за товарами. Других предложений нет?

Каргас бормочет секретарю Совета тайну, сокрушавшую его душу в тайге какой-то охотник, кажется Нямням, убил необыкновенной ценности чернобурую лисицу, ту, порода которой называется у тунгус князьком Хабу. Шкурки нет на ярмарке. Идет разговор, а шкурку не везут.

— Талисман, — поспешно бормочет секретарь, царапая протокол: — берется кусочек шерсти на счастье. Суеверие. Волосок от такой шкурки ценят дороже любого идола. Неумеренно желаете, так же как и одеваетесь... Суеверие проходит не сразу.

И он с презрением глядит на купеческую опояску Каргаса.

— Президиум Совета, с согласия профессиональных организаций поморов, в ознаменование неимоверных трудностей, пережитых при прокладке пути через хребет, постановил, товарищи, выдать отряду предводительствуемому товарищем Лейзеровым, — красное знамя... — продолжает председатель.

Совет шумит, перебирает вслух оленьи запряжки, лучших беговых быков. Широкие малицы, мягко шурша, сбираются в кучи. Пахнет мехом.

Так бы и крикнул: легковые сани — к высокому, занесенному до перил синим сугробом! Снег звенит. Узда на олене без удил, на шее его широкая и мягкая, расшитая цветным сукном, лямка. А под нею мускулы — твердые, как полоз. От лямки под брюхом оленя меж ног, ремень, тянущий нарту. Через блочки мамонтовой кости скользят эти ремни, соединяющие оленей. Скользит по ним свистящая прыть четверки. На всю четверку одна вожжа у крайнего левого оленя.

Ах, чорт подери! Алое полотнище в санях Исполкома. Эх, чорт подери, — пустыня! На десятки, да что — на сотни верст — в лощинах прячась от ветра — острые чумы. Снег от копыт звенит, попадая в ветвистые рога оленя, бегущего следом за передовым. В длинных оленьих рубахах, с капюшонами, мехом наружу, — несутся пустынные люди. Шесты тычут в спины оленей. Полозья скрипят. На тысячи верст — пустыня вековечных снегов, упавших властно на свое хозяйство, занявших тундру в три дня, так, как сказал последний улетевший гусь с горы Таймыр. Ни птицы, ни следа зверя в пустыне, и

ер даже стих, поклоняясь такой силе. Полоз визжит. Кашлянет едка на бегу олень. Голубой дымкой задернута даль. Кой-когда роешь заледеневшие ресницы, заберешь духа и, как в драке, мельк- обрыв берега над незнаемым озером или низкая волна пологих, груди тридцатилетней, холмов.

Да, чорт подери! Пустыня, моя пустыня! Жена моя, тундра — бег ержи свой ровный, — так, как через каждые полчаса — задерживает нь. Отдохни. Наклони косматую голову и широкой, веселой ноздрей туй в снеге ямку.

— Далеко ли нам мчаться? Нет ли огня?

Шест погонщика — каюра тычется в спину оленя. Резкая тень снегу от ветвей.

— Хайто, хайто (далеко, далеко)!

Или подует ветер! Одним порывом, другим! Кабы да не снежные ейки по гребням застругов и сугробов на краях лощин, — о чем бы смог подумать? Буран одевает нас в тьму. Наклонись ниже, присмотрись, как несется ветер, как он режет людей и оленей снегом. еснее сдвигайтесь нарты. Велика пустыня, хотя ты и Пролетную дорогу, человек!

Подбирай подолы, теснись!

Да, такая чертовская жизнь! Такой горячий снег и такое полночое, — полдневное, — небо.

Гони. Гони!

Будем гнать, пока не задохлось сердце.

Будем!

Вбил оштол — палку тормоза нарты — вбил передовой каюр Илием. Промчала исполкомская нарта Гайленский перевал, криволесье, анесенное снегом, гольцы и Невзгодную гору, что лежит у самого пуска в долине, где, как две черные нитки, как две иглы, блестят од сполохами рельсы.

— Сделали, — сказал каюр Илибем: — сделали легко, как птицы, орогу.

В долине редкий березняк. Словно из снега точеные стволы, озрачные, как сосульки. Заяц лупит березняком, напугался до смерти. ль, ведь, сколько несется оленей, пар от них гуще тумана и к тому же лтый. Занозил заяц ухо о сучок. А налево от березнячка, да и лево от дороги, толпа тунгусов, чумы кольцом, нарты — длинной ой. Хотя пал снег, но земля не застыла. Могилу копать легко, как ом. От земли даже прелый запах.

На возу, прикрытый жалким брезентишком, лежал коротконогий уп. Подле выла высокая баба, одетая в бараний тулуп и расшитые наульские валенки.

Секретарю Исполкома (он уже догадался, чей этот труп) как-то ловко было поднимать черешок знамени.

— Лейзерова хороните? — спросил он, наклоняя знамя.

— Его, — ответил какой-то становщик.

Тунгусы поодаль шептались о порохе. Каргу рассказывал д… чего-то вслух, как они примчались всеми чумами к Мосейке за по… хом, а пороха давно нет и сам Мосейка час тому назад умер. Хит… Каргу был мужик, единственная надежда — ждать теперь, когда по… едет на колесах целая огненная деревня телег. И какой-то стар… тунгус сказал убежденно:

— Найдется ли такой дурак, чтоб ехать, не ломая себе ш… по узеньким этим полозьям?

— Надо думать, найдется, — подтвердил Каргу.

Секретарь, фамилия его была Рассохин (был коряв и сле… хром), увидал Егора.

— А мы про вас думали, спился? И вы здесь? Простым рабоч… поступили?

Егор стоял в стороне с ружьем, в котором по-прежнему тес… прижавшись к стволу лежал последний патрон.

— Я?.. — спросил он: — Я… так… по ближней дороге до станци… дошел. Так, в одиночку и, вообще, чего вам от меня надо? Я поез… жду. Простое дело, уезжать. Заносы, второй день нет поездов. Знал б… из Айкеня не спешил. Приехал бы, когда дорогу обкатили.

Представитель промысловой кооперации Каргас не терял надежд… приобрести шкурку лисьего князька. Выспрашивая, обошел он в… чумы. В одном видел старого охотника, прозванного Нямнямо… Охотник ел ряску — поджаренные на огне куски теста. В чу… было чадно и пахло горелым салом. Охотник притворялся непон… мающим или на самом деле не понимал человека? Был такой, ка… говорили о нем.

Каргас огорченный шел по небольшой тропке к могиле, куд… закапывали Лейзерова. Каргас не любил мертвецов и ждал в сторон… когда окончатся салютные выстрелы. Он видел, как выстрели… Егор, и почему-то подумал с неудовольствием: „И этот туда ж…" Толпа быстро разошлась. Каргас, пропуская ее, сошел даже в сне… Было глубоко и ком снега попал в валенок. Когда он вытря… валенок, поднялся на ноги, подле могилы, прикрытой красным поло… нищем, сидела на снегу только одна очень рослая и очень красив… баба в желтом тулупе. „Должно быть, жена", — подумал Каргас, напр… вляясь неизвестно почему к могиле. Из могилы торчало большое обтесанное сосновое бревно, с грубо нарисованной на нем звездо… А внизу кола, рядом с красным знаменем, за ушко была прибит… мелким железным гвоздиком, синевато-бурая пушистая шкурка.

— Да… — растерянно проговорил Каргас, расставляя ноги и да… щупая шкурку. — Ишь, вы… племя!..

Плачущая баба не подняла головы. Да и как бы спросил е… Каргас — почему здесь шкурка князька Хабу, почему пожертвова… тунгусы и почему не продали ее ему? И как заставили Нямняма отда…

курку, и что ему заплатили? Тогда надо было бы спросить — почему иер этот черноглазый еврей из Минска, почему плачет баба и по-:му такой холодный и чистый снег?

Ничего, промолчал Каргас, постоял, снял шапку и направился ͻратно к железнодорожной насыпи, подле которой, тесно прижавшись, ıдели тунгусы и упрямый старик продолжал уверять:

— Надули русские, не пойдет. Только в песнях поется, будто ›дит. Мало ли я песен слышал на своих годах?

— Пойдет, — упрямо сказал Каргу: — если Мосейка сказал: пойдет, ıачит пойдет и еще будет свистеть.

— Пойдет, — отвечали тунгусы, сдвигаясь еще ближе.

Вскоре густой гудок донесся из тайги. Синий, с искрами пар ɔднялся над покрытыми снегом коронами.

С непонятным трепетом услышал Каргас стук колес. Что он, первый раз видит поезд?

От чумов в лес поскакали олени. Чумазый машинист высунулся паровоза и махнул рукой. Поезд прокатил дальше.

— Та-ак... — сказал старый тунгус. — Мы сколько работали, а он ıмо прошел. Даже не остановился выпить чаю.

— Коли Мосейка говорил, — сказал Каргу, снова усаживаясь ı снег: — значит вернется обратно, обратно прогонит, но подле оста›вится. Надо подождать.

— Тогда подождем, — ответили тунгусы, усаживаясь подле ıргу.

Неподалеку от тунгусов, дрябло опустив пустое ружье в снег, дел Егорка. Он вяло глядел в тусклую березовую рощицу и, видимо, чего не ждал.

Каргас оглянулся, подумал — „Какая темь“ и поспешно спросил:

— Граждане, нет ли у кого спичек, трубку зажечь?

Но все молчали.

Рассказы.

Пантелеймон Романов.

Комната.

Портниха ползала по полу около выкроек с булавками в зубах, когда пришла приехавшая из провинции ее родственница, пожилая женщина в перчатках, прорванных на пальцах.

— Ну, что, не умерла еще? — спросила пришедшая, не раздеваясь и стоя на пороге.

— Да нет, — ответила портниха, подняв голову и вынув булавки изо рта. — Теперь только оглохла еще совсем.

— Что тут будешь делать, куда деваться? Вещей пропасть, да собак двух еще Андрея Степаныча угораздило привезти. Голову скрутили эти собаки.

Пришедшая, посмотрев на свои ноги, не раздеваясь, села на крайний от двери стул.

— Вчера вечером совсем отходила, — сказала портниха, — муж даже позвонил твоему Андрею Степанычу, что можно вещи привозить, последние минуты были, а теперь опять что-то неопределенно.

Вышел муж хозяйки, мужчина без пиджака в жилетке с незастегнутой сзади пряжкой, и, поздоровавшись, сказал:

— Вчера еще раз ходил. Обещали комнату тебе передать и больше никому. Как, говорят, старуха умрет, так пусть въезжают.

Пришедшая слушала с напряженным вниманием, потом машинально стала смотреть, как хозяйка резала ножницами материю по отрезанной мелом черте.

— А доктор что говорит?

— Доктор говорит, что при последнем издыхании. Хотя тот первый, что ты сначала прислала, сказал, будто бы с этой болезнью иногда долго живут, если припадки не будут повторяться.

— Ну, тот дурак и больше ничего,—сказала раздраженно женщина.

— Может, пройдешь, посмотришь сама?

Женщина сняла калоши в передней, потом подумала и переставила их в комнату под кресло.

— Она уж очень тебя любит, — сказала хозяйка, — все о тебе спрашивала.

Женщина ничего не ответила и в той же задумчивости пошла в дальнюю комнату.

В углу на кровати лежала ссохшаяся старушка с восковым, острившимся лицом и смотрела перед собой.

— Пришла справиться о вашем здоровье, тетушка, — сказала женщина громко, наклонившись к самому уху и тем тоном, каким говорят с больными и стариками.

— А?

— О здоровье пришла, говорю, узнать.

— Спасиба, матушка. Думала, забудете на старости лет, а вот бог милостив... Сын родной забыл, а ты вот, племянница, — не забываешь.

Старушка, проговорив это, остановилась, глядя перед собой в пространство и тяжело дыша, точно она поднялась по крутой лестнице.

— Как себя чувствуете?

— Все так же... Оглохла только. За докторов спасибо... Что сначала приходил, тот хуже... дал капель каких-то, а я от них сразу ослабела. А этот лучше... дай бог здоровья.

— Второй лучше? — переспросила женщина.

— Да...

— А припадков не повторялось больше?

— Нет, бог милостив... как дал капель, так сразу легче стало.

— О, боже мой, — сказала женщина, бессильно бросив на колени руки и посмотрев на образ.

В дверь заглянул мужчина в барашковой шапке и распахнутой шубе. Он вопросительно развел руками и, приподнявшись на цыпочки, издали посмотрел через спинку кровати. Потом шопотом спросил:

— Что?

Сидевшая у кровати женщина пожала плечами. Мужчина схватился руками за макушку, потом плюнул. Женщина подошла к нему.

— Ты что?

Мужчина сказал что-то шопотом. Женщина не расслышала.

— Да говори громче, она оглохла, все равно не слышит.

— Вещи привез...

— Ты с ума сошел! Какие же тут вещи, когда она лежит, как ни в чем не бывало?

— Я же вчера звонил. Мне сказали, что кончается.

— Она каждый день кончается.

— Ну, а что же делать? Там тоже не соглашаются больше держать. Нам, говорят, самим некуда ничего поставить. И ночевать, говорят, неудобно без прописки.

— О, боже мой, господи... Куда деваться? Пойди спроси Алексея Иваныча, — может быть, в коридоре можно пока поставить, ведь не будет же она до самых праздников жить!

Хозяев позвали в коридор, и все стали обсуждать положение дела

— Я вас понимаю, — говорил хозяин, приставив палец себе к жилетке, — но хорошо, ежели она в три дня сумеет убраться, а как она эту историю разведет на неделю? Тогда что? По вашим вещам на четвереньках лазить?

— Тем более, что первый доктор сказал, что она может несколько недель прожить, — прибавила хозяйка.

— Да нет, ручаюсь вам, что больше трех дней не задержится,— сказал человек в шубе.

— Первый доктор дурак и больше ничего, — сказала женщина.

— Ты вот говоришь, а такие случаи уж бывали,—заметила хозяйка.—Вот через дом от нас старушка... Совсем уж дыханья не было. Ну, люди набожные, хорошие—хотели проводить, как следует. Да и комната, конечно, нужна была. Гроб заказали, продуктов загодя на поминальный обед закупили. А она все дышит. Ну, не пропадать же продуктам, позвали знакомых и съели обед этот за упокой души. А она и посейчас дышит.

— Какого чорта людей держите?! — сказал, войдя в переднюю извозчик в полушубке и с кнутом.

— Сейчас, подожди, еще не выяснилось.

— Нанимают за трешницу, а провозжаешься с ними целый день... Да кобелей этих еще навязали. Драку посередь двора затеяли.

— Пойду сам посмотрю, — сказал мужчина в шубе. И пошел к старушке.

— Главное дело, — припадки, кажется, прекратились, — сказала, идя за ним следом, жена,— что, как до праздника протянет? Что тогда делать!

— Как здоровье, тетушка? Не слышит еще ни чорта... Как здоровье, спрашиваю? — сказал человек в шубе.

Старушка слабо повела головой и сказала чуть слышно:

— То хуже, то лучше... второй доктор помогнул, дай бог ему здоровья.

— Припадков еще не было? — спросил мужчина, нагнувшись к старушке.

— Нет, батюшка, слава богу...

Мужчина выпрямил спину и, оглянувшись, посмотрел на стоявших сзади него жену и хозяев.

— Молодой человек если уж помирает, так сразу помирает, — сказала раздраженно хозяйка, — а старухи — наказание какое-то, они все жилы из тебя вытянут, пока раскачаются. Она что-то кажется даже дышать лучше стала. Бабушка, дыхание легче?—спросила она громко.

— Спасибо... легче.

— Ну, вот, видите...

Мужчина в шубе не слушал, что-то соображая. Потом оглянув зачем-то комнату, сказал:

— Вот что: мне самое главное диван бы только втиснуть, да комод. А они тут свободно уставятся. Только старуху в угол туда задвинем, и весь разговор.

— Вот это другое дело.

— Тетушка, мы вам диванчик привезли и комодик, — сказал мужчина в шубе, нагнувшись над постелью.

Старушка подняла на него слабеющие глаза и прошептала:

— Сын бросил на старости... лет... а тут чужие... лучше своих... и докторов, и комоды...

— Тащи! — крикнул мужчина в шубе, мигнув жене, чтобы она бралась за кровать. И в минуту задвинули кровать в дальный угол.

— Давай вещи! — крикнул он в дверь ломовому.

Когда вещи внесли и поставили, мужчина подошел к старушке и сказал:

— Ну, выздоравливайте, тетушка, к празднику, может, бог даст...

Терпеливый народ.

По борьбе с грязью была объявлена неделя чистоты, и около советских бань стояла длинная очередь с узелками и вениками под мышками.

Ожидающие, нахохлившись под дождем и топчась по грязи, чтобы отогреть ноги, стояли, ожидая, когда откроется дверь и впустят следующую партию.

— Теперь мыть еще всех затеяли, — вот каторга-то, — сказал кто-то.

— Ведь это что за подлость: гонят народ силком, да и только. Говорят, у кого расписки из бани не будет, тому обеда выдавать не будут.

— А мыло дают? — спросил какой-то обросший волосами человек, проходивший мимо и задержавшийся на минуту, чтобы в случае отрицательного ответа итти дальше.

— Дают, — сказал кто-то неохотно, — по восьмушке на человека.

Обросший человек поспешно стал в очередь.

— Замылись на отделку, — сказал грязный мужичок в рваном полушубке, поминутно почесывавшийся и все прислонявшийся спиной к высокому нервному господину. Тот раздраженно оглядывался на него и сторонился, каждый раз тщательно осматривая рукава пальто.

— Скоро ли пускать-то начнете? Что вы их там дюже долго моете. Старуха, ты куда приперла?

— В очередь, батюшка...

— С мужиками в баню итить?..

— А нешто это в баню?.. Тьфу! Вот нечистый-то подшутил, — сказала старушка, быстро оглянувшись на вывеску.

— Эх, мозги курьи!..

— Неизвестно еще у кого — курьи. Они вот такие-то станут, потрутся, а у тебя белья, глядь, нету.

— Из-за этого больше всего и боишься в баню-то ходить: воруют очень, и опять же — вошь.

— Вошь замучила, — сказал, поводя плечами, мужичок в полушубке.

— Да что вы все прислоняетесь! — крикнул на него нервный господин.

Мужичок посмотрел на него, отодвинулся, ничего не сказав, высморкался в грязь и утер полой полушубка нос.

— Это правда, что замучила, — повторил он.

— А где мыло-то будут выдавать? — спросил обросший человек.

— Сейчас при входе.

— Весь город обегал, куска мыла достать не мог. Теперь придется мыться.

— Тоже, брат, за мылом пойдешь, — глядишь — штаны тут оставишь. Баня теперь самое бедовое дело.

— Прошлый раз один так-то помылся: вышел одеваться, как есть тут: все! Даже порток нижних не оставили. Уж выпросил юбку у сторожихи. Так бабой и пошел.

— Вымыли... Нету ни у кого, вот и воруют, — сказал мужичок в полушубке, — ведь вот рубаха — четвертый месяц ношу.

Нервный господин, оглянувшись, еще дальше отодвинулся от мужичка.

— Плотней становитесь! Что вы там ворота оставляете! и так на середку улицы выпятились! — крикнули сзади.

Мужичок опять пододвинулся к господину.

— Впускают! — торопливо крикнул кто-то.

Дверь открылась, и все, нажимая друг на друга, тесной толпой стали напирать на дверь.

— Мыло получай...

— А можно мыло получить, а в баню не ходить? — спросил обросший человек.

— Нет.

— Придется итить... ах, головушка горькая.

— Опутали здорово. Не хочешь итить, да идешь, — говорили в толпе.

— Да проходите вы скорей там! Сперлись, как бараны, а ходу нет. Да еще разговоры завели.

— Стоп! Довольно, — сказал служащий, — следующая партия, ожидай.

— Так и знали... О, господи батюшка. А уйтить нельзя.

— Да уж отделался один раз, да и к стороне.

— И мыло, жалко, не получишь.

— Не очень-то к стороне. Они говорят, кажные две недели будут теперь гонять.

— И народ все терпит... Господи батюшка!

— Да, народ терпеливый. Наскочили бы на других, они бы показали.

— Следующая партия!

Все, давя друг друга, бросились в открывшуюся дверь.

В раздевальне копошилась масса раздевающихся людей.

— Вещи берегите! — крикнул банщик.

Все, притихнув, оглядывались друг на друга, а некоторые что-то украдкой завертывали, повернувшись спиной к соседям.

— Чорт ее знает, — сказал обросший человек, проходя в мыльню,— мыла дали столько, что только голову хватит помыть, а домой и нести нечего.

— А ты, батюшка, только вид сделай, что моешься, — сказал грязный мужичок, — я сам так-то.

— Тут, бывало, ванны, штуки всякие, — говорил волосатый парень, намыливая голову, — подойдешь, за ручку дернешь хорошенько, а на тебя вода, вроде как дождь.

— Это-то и сейчас есть, вон, около стены.

— Что ты дергаешь-то из всех сил! — кричал банщик на какого-то здоровенного малого, который стоял под душем и обеими руками тянул за ручку.

— Не льется что-то ничего...

— Не льется, — значит испорчено, а ты уж совсем своротить хочешь? Вот чортов народ-то.

— Стойте! Стойте! Что вы, ай не видите!? — кричал в другой стороне, утираясь руками и отфыркиваясь, полный господин, которого сосед, обдаваясь, окатил сзади холодной водой. — Только намылился, — пожалуйте — все и смыл, а мыла больше нету.

Грязный мужичок сидел на своей лавке, около налитой в шайку воды и что-то внимательно приглядывался к полу, потом сказал: вшей теперь, небось, сколько намыли, — страсть!

— Чего сидишь, — не моешься! — крикнул на него проходивший банщик, — только место зря занимаешь.

Мужичок испуганно оглянулся и стал своими черными руками плескать горячую воду из таза на сухие спутанные волосы.

— Хоть для виду поплескаться, — сказал он, посмотрев сбоку из-под рук на обросшего человека, сидевшего рядом с ним. — А мыло домой старухе снесу, рубахи постирать.

— Только из-за мыла и ходишь, — отвечал обросший человек, делавший вид, что намыливает голову, когда мимо него проходил банщик.

— Уж очень чистотой донимать стали, прямо житья нету. Прошлую неделю заставили дворы чистить.

— Народ терпеливый, вот и заставляют.

— За вами, чертями, не смотреть, так вы все навозом обрастете,— сказал, покосившись из-под рук, намыливавших голову, человек с солдатскими усами, сидевший по другую сторону от грязного мужичка.

Грязный мужичок опасливо посмотрел на него, как бы стараясь определить, какое он положение может занимать, и ничего не сказа

— От вшей, говорят, будто тиф разводится, — сказал кто-то.

— Слава тебе, господи, всю жизнь с ними ходили — ничего, а теперь вдруг на — поди — развелся.

— Это хоч правда.

— От вши — тиф, а от клопа холеру объявят, — сказал насмешливый голос.

Какой-то человек сидел, весь обмазанный глиной, и втирал ее в волосы. На него долго и с интересом смотрели. Потом грязный мужичок нерешительно спросил:

От болезни, что ли, от какой?

Из-под свисших мокрых волос посмотрели злые глаза.

— От какой болезни, что ты брешешь!..

— Глиной хорошо застарелую грязь берет, — сказал тощий человек с синяком на ноге. — Я прошлый раз тоже мылся.

— Мойтесь скорей, дома поговорите! — крикнул банщик, — следующую партию пускать надо.

Все усердно принялись полоскаться.

— Да, совсем запаршивел народ.

— Плохо смотрят, — сказал человек с солдатскими усами. — С таким народом строго надо: агитацию хорошую расклеить, а потом смотреть, как кто месяц в бане не был, так хлеба не давать да в холодную Это особо.

— Что ж это, значит, кажную неделю белье менять, да стирать Ловки другими распоряжаться, — крикнули сзади.

— Они об этом не думают. Благо народ терпеливый. Вошь с лапками нарисуют, расклеют по стенам, а каково рабочему человеку...

— Ах, чтоб тебя черти взяли!.. — вскрикнул обросший человек, — только горячей водой на него плеснул, а оно все и расползлось, как масло коровье. Вот тебе и раздобыл мыльца. Только мылся задаром

— Кончайте скорей! — крикнул банщик, — люди ждут, а вы тулясы точите. Что ж ты, в бане был, а ноги, как у лешего — грязные, — сказал он, остановившись перед грязным мужичком.

— Что-то не отмываются, батюшка, в другой раз глинки захвач

И, когда банщик отошел, грязный мужичок прибавил, обращаяс к соседу:

— Мало того, что силком тут полчаса продержали, а еще смотрят, какие у тебя ноги. И народ все терпит...

Слабое сердце.

В одном из столичных учреждений по лестницам ходили ломовики в тяжелых сапогах, сносили вниз столы, шкафы, пыльные связк бумаг и клали их на воза, чтобы везти в другое помещение.

Между ломовиками совалась старушка в большом платке и из-под ки заглядывала вверх по лестнице, где сновали взад и вперед люди, шептала про себя:

— Господи, батюшка... как в лесу.

— Пусти, старуха,—ногу отдавлю. Что тебе надо тут?

— Пособие, батюшка, пришла получать.

— Вниз иди. 20-й номер.

Старушка пошла вниз. И через некоторое время снизу послышалось:

— Что мотаешься под ногами? Вот шкапом-то ахнем тебе на лову — и дух твой вон.

— Пособие, батюшка...

— Вверх иди, — сказал проходивший с разносной книгой человек валенках.

— Я уж была там, кормилец.

— На каком этаже? — строго спросил проходивший.

— На четвертом, батюшка.

— Выше иди.

Старушка пошла наверх.

— Это какой этаж, кормилец?

— Третий... Ты опять уж сюда явилась?

— Я только что на низ сходила, милый.

— Ну, сходила, и слава богу.

— А теперь вот опять сюда прислали.

— Очень нужна ты тут.

Старушка вошла на четвертый этаж и остановилась отдышаться. продавленном диванчике, под которым была видна выскочившая ужина и рогожка, сидел какой-то болезненный человек.

— Дожидаешься, батюшка?

— Отдыхаю, — сказал человек.

— Я вот с утра уж пришла. Избегалась наотделку.

— Что надо-то?

— Пособие получить, да никак не найду, где.

— Сейчас устроим... Послушайте, — сказал мужчина, обращаясь пробегавшему человеку с портфелем, — где бы тут старушке пособие лучить?

— Чорт его знает. Где - нибудь тут надо искать, — сказал тот, тановившись и с недоумением оглянувшись по сторонам. Потом ять побежал.

— А в 20 номере не были? — спросил он, остановившись.

— Ходила уж туда, цифры все шли, шли под-ряд, а потом на номере оборвались, и уперлась я в какой-то закоулок, не знала, к выйтить. На старом-то месте я уж приладилась получать, а теперь новое переехали, никак не потрафишь.

— Я тоже, — сказал человек, сидевший на диване. Только на друй конец города зря прошел.

— Что за чорт!.. Какие это ослы мой стол слизнули? — закрича выскочив в коридор, мужчина в шубе и без шапки. — Извольте радс ваться, положил туда шапку, теперь шапка уехала. Хоть платочко повязывайся.

— Что ж это тут всегда такие хлопоты?

— Всегда. Переезжают.

— А часто, знать, переезжают-то?

— Часто. То одно учреждение от другого откалывается, а то дв в одно сливаются. Да и изнашиваются очень. Вот хоть наше учрежде ние взять: дали помещение хорошее, а через месяц обои изорвались вместо стекол фанера везде, да еще каким-то манером водопроводны трубы лопнули, затопило всех, по комнатам уж на досках плавали А то иной раз помещение какое-нибудь понравится. Так и идет.

— Ну, теперь отдохнула, пойду дальше, — сказала старушка.

— А вы обратитесь в справочное бюро,—сказал пробегавший об ратно человек с портфелем.—Вам все и укажут, а то ходите, как слепые

— А где оно, родимый?

— Чорт его знает,— кажется, 15 комната внизу.

Старушка поблагодарила и пошла вниз.

— Вниз-то хоть итить легче, — сказала она с ласковой улыбкой, обращаясь к двум ломовикам в фартуках, тащивших конторку.

— Вот бы и ходила все вниз, а то зачем-то наверх лезешь.

— Да что ты все трешься тут? Проходу от тебя нет, — крикнул другой.

— Справочное бюро, милый, ищу.

— Да ведь ты другое что-то искала...

— А теперь это велели искать, родимый.

— Что ж ты подряд, что ли, взяла? Ну, проходи, проходи.

— Скажите, пожалуйста, — послышался уже внизу голос старушки, — где тут справочное бюро?

— 20-я комната, кажется, была, посмотрите там.

Старушка подошла к 20 номеру и прочла: информационное бюро. Постояла, потом отошла, сказавши:

— Знать, уж чтой-то новое въехало.

Она опять полезла наверх, потом уселась на окне.

— Вот как сердце слабое, — хуже всего, — сказала она, увидев своего собеседника, спускавшегося вниз.

— Не дай бог. Сердце пуще всего. А мне, оказывается, опять через весь город итить. Их куда-то к заставе бросило.

— Переехали?

— Только вчера. Две недельки побыли тут — и дальше. Ну, да тут хоть гор нет, доберусь. Пойду, а то еще, глядишь, там не застанешь, за две недели много воды утекло.

Два мужика спускали вниз тяжелую конторку и застряли на повороте лестницы.

— Вишь, чорт их... потрохов сколько набрали, да еще поверуться негде.

— Ну-ка, заноси свой бок, сейчас ходко пойдет. Так, пошло.

Что-то хрястнуло.

— Чтой-то там?..

Передний, озабоченно оглянувшись, поставил свой конец на пол.

— Какую-то штучку тут отсадили.

Мужики ушли. За ними прошли какие-то барышни, тащившие од мышками охапки бумаг в синих папках.

— Куда господь несет? — крикнул им поднимавшийся на встречу о лестнице человек.

— Сливаемся!..

Лестница опустела. Прошел вниз мужчина в пальто без шапки, эвязанный платочком, как повязываются на похоронах, чтобы не прогудить голову, и, наткнувшись на старуху, спросил:

— Вам что надо тут?

— Справочное бюро, родимый.

— А в нем что?

— А кто его знает, батюшка.

— Как кто его знает! Что вам нужно-то?

— Пособие, батюшка...

— Так это в финансовый отдел надо... Хватилась, — он уж теперь, ебось, к Театральной площади подъезжает.

Старушка озадаченно посмотрела вниз по лестнице.

— Так это, значит, его, батюшку, у меня на глазах носили. Куда ж еперь-то мне бежать?

— Сретенский бульвар, 6, — сказал человек и, поправив на голове латочек, пошел вниз.

Старушка посмотрела ему вслед. Потом села на ступеньку лестицы и сказала про себя:

— Отдохну немножко, потом пойду, покамест сердце не ослабело...

Поросенок.

Прачка сидела на дворе под развешанным бельем, чесала растявшегося белого поросенка и разговаривала с соседкой.

— Вот только своей собственности и осталось, — сказала она.

Соседка вздохнула.

— У всех так-то...

— Но, в добрый час сказать, уж такой поросенок вышел, что не думали, и не гадали. Совсем заморух был, худенький, маленький, теперь, вишь, какое сокровище.

— Ест-то хорошо?

— На еду ленив. Мы уж, почесть, насильно кормим. Понемножку, а почаще. Вишь, шалун, что делает.

— Любит, когда за ушами чешут, — сказала соседка.

– А спит совсем, как человек. У нас для него половичок в углу постелен, так он возьмет, ляжет, а голову к стенке прислонит. Прямо, хоть подушку подкладывай.

— Без себя по двору не пускайте, а то живо свистнут.

— Сохрани бог! Я уж его ни на шаг от себя не отпускаю. Чисто в гувернантки на старости лет нанялась. Часа по два с ним гуляю Ах, ты, мошенник, посмотрите, что делает, раскинулся как. Ну, прямо, как человек.

— Вы бы детишек заставили покараулить,— что ж, все сами да сами?

— Э, пропасти на них нету, нешто их дома удержишь? — прибегут, полопают и опять тягу.

— Да, по нынешним временам, дети — крест господень.

— Уж и не говорите, такая обуза! Маленький хворал намедни, думали с мужем — господь приберет. Нет, выздоровел. Ведь все-таки пять человек, как хотите.

— Да, наказание... А знает вас?

— Васька-то? По голосу узнаёт! Как только услышит, что я говорю на дворе, если куда уходила, так сейчас о себе голос подает. А намедни, я на базар ходила, он соскучился без меня; как услыхал, что я иду, передние ноги на подоконник положил и смотрит в окно. Ну, прямо, как человек. Только вот нынче что-то мало как будто ел. Уж трясешься над ним, не знамо как.

— Еще бы, господи. Лето продержите, а зимой зарезать, ведь в нем пудов пять потянет. По вашему двору тут штук пять можно бы развести. А муж-то ваш не занимается этим?

— Охотник! — сказала прачка,— как с фабрики придет, все с ним возится, чешет его, а намедни сам купал.

— Как же, матушка, в нем одного сала пуда на два к зиме будет.

Калитка отворилась, и мимо сидевших пробежали в дом два мальчишки босиком, с грязными, загорелыми ногами. Поросенок, испуганно хрюкнув, вскочил и сел на толстый зад.

— Чего вы, ошалелые, носитесь! — крикнула прачка. — Куда шлындраете! Ну, что испугался? Не тронет никто.

— Да, с детьми беда, — сказала соседка, — сколько с ними тревог да хлопот, не дай бог.

— А ну их, я уж махнула рукой, только бы на глазах не вертелись.

— Нет, я про то, что шляются неизвестно где, неизвестно с кем, и прямо не ребята, а какие-то разбойники.

— Известно, без призору. Ведь прежде бывало, покуда он вырастет, то с него десять шкур спустишь, а теперь его пальцем не тронь. А без битья нешто можно? Мы росли тише воды, ниже травы,

и то в неделю раза два драли, не то что за дело, а просто для порядка. А эти ослы теперь палки и не пробовали.

Из домика выбежали ребятишки с удочками и кусками хлеба в руках, от которого откусывали по дороге, и побежали к калитке.

— Что вы каждую минуту лопаете! — крикнула прачка. — Вот наказание, столько летом едят, что сил никаких нет!

— Пробегаются, вот и едят, — сказала соседка.

— Ну, прямо, поверите, ничего не наготовишься. Испекла третьего дня белый хлеб, целый каравай, — нынче уж чисто, горбушечки подбирают. Когда эта прорва только насытится! И за что наказал господь: у людей один малый, много — два. А тут орава в пять человек. И ничего с ними не случается: ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Ведь это десять лет пройдет, прежде чем от него польза какая-нибудь будет, от старшего. А там младших — четыре рта. Да еще какой вырастет. А то будет разбойником, да мошенником.

— Только бы для дома хорош был, — сказала соседка, — с ным-то нынче хуже наплачешься.

— Это хоть верно... — Она помолчала, потом усмехнулась. — Ведь вот обед мужу подавать надо, сейчас придет с фабрики, а сижу с этим мошенником, привязалась к нему, ровно он ребенок мой...

— Я бы сама так нянчилась, как же за таким не ходить: по времени в нем и пуда не должно быть, а уж в нем сейчас, небось, одного сала фунтов тридцать будет.

Во двор вошел муж прачки, мастер с фабрики, в парусинном картузе и с руками, запачканными в нефти.

— Обед неготов, небось? — крикнул он.

— Сейчас подогрею, — сказала жена, — не ори!

— И какими только делами вы, дьявола, заняты! Спину гнешь с утра, придешь домой, не жрамши, а тут ничего не готово! — кричал он, идя к жене. Но, увидев, что она чешет поросенка, замолчал и неостывшим еще раздражением остановился. Потом присел на корточки.

— Ну, ты пойди подогрей, я приду, — сказал он.

— Что ты лапами-то своими грязными хватаешь, только вымыли ведь!..

— Не беда, еще вымоем, — сказал муж и, захватив в паху поросенка толстую складку, сказал:

— Нагулял мошенник, нагулял... накушался.

Через минуту жена вышла и крикнула:

— Ну, иди, лопай, — десять раз, что ли, мне подогревать! То один придет, то другой. А этих окаянных с голоду поморю, весь день лопают, а как обед, так нет никого, пропади они пропадом. Господи, когда же это избавит царица небесная! Смерти, что ли, на них нету?

Бессознательное стадо.

Около городской станции толпился народ в ожидании, когда откроют кассу. Некоторые пришли еще до рассвета и, сидя на каком-нибудь приступочке, сгорбившись и спрятав руки в рукава, оглядывали мутными глазами бежавших по тротуару прохожих.

— Осоловели...— говорил кто-нибудь из проходивших мимо.— Давно сидите?

— Со вчерашнего дня,—неохотно отвечал кто-нибудь из ожидающих.

— Говорили, купоны какие-то выдавать будут, чтобы меньше ждать,— вот, и думали захватить, с вечера прибежали в очередь за купонами за этими.

— Так.

— А главное дело—съезд этот замучил.

— Какой съезд?

— А вон напротив, в театре. Милиционер на нас взъелся, что много дюже народу собралось, и списки запретил составлять,— сказал сидевший на ступеньке человек с бельмом на правом глазу.

— Стараются. Через край перехватывают,— проговорил стоявший у стены пожилой человек в очках, обмотанных на переносице черной ниткой. И подмигнул на находившегося невдалеке милиционера.

Тот оглянулся на говорившего, но ничего не сказал.

В это время к нему подъехал конный милиционер в шапке с шишаком и сказал:

— Гляди, чтобы не очень толпились. Вот еще чорт их догадал тут билеты выдавать. Пусть становятся так, чтоб видно было, что это очередь, а то только беспорядок один. И чтобы списков не составляли, а то машут этими листами, не разберешь, что. А там ругаются.

Говоривший это уехал. А милиционер подошел к ожидавшим и сказал:

— Граждане, будьте добры стать в очередь, а то с меня требуют. И, пожалуйста, как-нибудь без списков обойдитесь.

— Еще новая мода...—сказал человек в очках.

— Кто списки составляет?— спросила, подбежав, запыхавшись, дама в шляпке с пером и с портфелем в руках.

— Никто не составляет. Запретили.

— Кто это запретил? Что за безобразие! Вздор какой!

Она торопливо и решительно открыла портфель и вынула лист бумаги.

— Он честью просил,—сказал кто-то из толпы.

— Если у вас о какой-нибудь глупости честью попросят, так вы уж и размякли,—сказала раздраженно дама.

И она с шумом разорвала лист.

Милиционер, дрогнув, оглянулся на шуршание бумаги и подошел сейчас же к даме.

— Гражданка, уберите бумагу. Будьте добры.

— Это еще почему?

— Не приказано.

— Возмутительно! И все стоят, молчат! Стадо какое-то, бессознательное, им что ни прикажи, все сделают.

— А ты, матушка, не кипятись, — сказал какой-то старичок в отрепанном тулупчике с вылезшим енотовым воротником, — с него требуют, он исполняет. А ежели исполнять не будет...

— ...Пошел к чортовой матери, — подсказал стоявший рядом со старичком рабочий, свертывавший папироску.

— Вот то-то и дело-то. А раз человек по-хорошему попросил, отчего не сделать, — продолжал старичок, мельком взглянув на рабочего.

— Правильно! — сказало несколько голосов из толпы.

— Ежели кажный будет только с своим умом соображаться, чорт ее что и выйдет.

— Вот то-то и оно-то. Мы каких-нибудь полдня тут постоим и поехали дальше, без записи обернемся как-нибудь, а у него жена и дети. Об этом тоже надо подумать.

— Верно, — сказала женщина в платке. — Надо и о другом, а не только о себе думать.

— А как же. А то чуть тебе коснулись, боже мой!

— Она думает, что шляпку нацепила, так ей все дороги открыты.

— Вот такие-то самые—не дай бог. Все только об себе, — говорили в толпе.

— Тут дело не в шляпке, а в том, что надо рассуждать, что разумно и что неразумно, а не подчиняться всякому... — сказала раздраженно дама и, не договорив, отвернулась.

— Она опять свое.

— А ты, матушка, лучше не рассуждай, а об другом подумай, —сказал старичок в тулупчике.

Стоявший у стены господин в котелке переглянулся с дамой презрительно усмехнувшись и покачав головой, достал из кармана газету и развернул ее.

Милиционер испуганно оглянулся.

— Гражданин, уберите бумагу.

— Да что вы привязываетесь! Газету достаю.

— Чорт вас разберет, что вы там достаете,—проворчал милиционер, остановившись, — а из-за вас попадет.

— Уж минуты не может без своей газеты обойтись,—сказала женщина в платке, раздраженно поведя плечами и недоброжелательно посмотрев на господина, читавшего газету, — человек честью просит уважить, так нет, на зло вот буду читать и бумагой шуршать.

— Такие—уважут, от них жди.

— Вот и читать, мол, не хочется, а буду в руках держать, потому что законом запрещено, — продолжала женщина.

— Эй, эй, куда там становишься!—крикнул рабочий на женщину с ребенком.

— Куда надо, туда и становлюсь.

— Не куда надо, а на чужое место лезешь.

— А у тебя замечено, что ли, это место! Коли это твое место, ты тут и стой. А то иной в город забьется жене гостинцев покупать, а у него— все тут его место.

— Правда, он тут стоял. Чего разбрехалась! — заговорило несколько голосов.

— Нет, без записи хуже нет,—сказал кто-то.

Некоторое время все молчали, потом вдруг заговорили:

— В самом деле, какого чорта они выдумывают, а ты мучайся И так ночь не спамши.

— На него обижаться нечего,—сказал старичок в тулупчике,—человек простой, необразованный, может, и лишнего перехватил, что ж изделаешь-то? Ведь он не нахальничает, а честью просит.

Все опять замолчали.

— Прежде, когда продукты в магазинах выдавали, номера мелом на спинах писали, — сказал рабочий, заплевывая в руках докуренную папироску.

— Правильно, — согласился старичок в тулупчике и обратился к милиционеру.—Эй, почтенный, а что ежели мы тут мелом орудовать будем?

— Чего?

— Ежели, говорю, мелом писать будем, это — ничего?

— Где писать?.. Все равно запрещено, — торопливо прибавил он

— На своих спинах прежде разрешали, когда продукты выдавали

— На спинах—сколько угодно, а только листов, чтоб не было

— Разрешил. Я говорил, что хороший человек. А что ежели требует так это тебя на его место поставь, ты тоже так будешь.

— Верно, верно. Не шуршите вы там бумагами. Приспичило..

— Вот бессознательное стадо, — сказал господин тихо, обращаясь к даме в шляпке.

Та махнула рукой и отвернулась.

— Стойте, стойте! — крикнул рабочий, — зачем одежу марать Мы и без мелу в лучшем виде управимся.—Он вынул из карман огрызок химического карандаша и, послюнявив его, ни слова не говоря подошел к стоявшему у самой двери сонному человеку, первом в очереди.

— Давай руку...

— Зачем тебе руку?—спросил тот озадаченно.

— Давай, говорю. Плюй на ладонь и растирай. Так... Ну, во тебе номер. Первым стоишь?

— Первым, милый.

— Ну, первым и пойдешь.

— Спасибо, родной.

— Второй номер, подходи.

— Вот молодец-то! — сказала женщина, — и человека тревожить не надо и самим хорошо.

— Чорт знает что! — сказал господин с газетой.

— Ничего, батюшка, после сотрешь,—сказал старичок в тулупчике.

Все подставляли свои руки, плюнув предварительно в ладонь и отходили, как в церкви отходят после благословения и прикладывания ко кресту. Только какой-то высокий старик с длинной седой бородой и староверским видом, вдруг воспротивился:

— Не хочу антихристову печать ставить.

— Да какая тебе антихристова! Сам же и напишешь свой номер.

— Не хочу...

— Ну, вот возьмите его... Десятый номер кто?

— Я, батюшка, — сказала старушка, продираясь через толпу.

— Получай и ты. Что ж ты полную ладонь-то наплевал!—крикнул рабочий, остановившись в затруднении перед солдатом в рваной шинели. — Вылей!

— Что ж ему, слюни вольные, — сказал кто-то.

— Чорт ее знает, написали и неизвестно что,—говорил человек в чуйке, поднеся близко к глазам и разглядывая свою ладонь, — не то четыре, не то—семь. Грамотеи...

Когда очередь дошла до дамы с господином, оба покраснели и заявили, что будут стоять без всякой записи и чтобы от них отстали.

— Ай обиделись? — спросил кто-то из толпы.

— Да. Беда с этими господами. Что ни шаг, то обида.

Когда господин с дамой хотели занять место в очереди, стоявший впереди человек в чуйке выставил локоть и, тихонько оттеснив им даму, сказал:

— Нет, уж вы без номерочка-то в конец станьте, а то опять путаница пойдет.

И так как касса уже открылась, дама, возмущенно переглянувшись с господином, пожала плечами и подошла к рабочему, писавшему номера и протянула руку.

— Надумали? — спросил тот. — Вот вам карандашик, сами можете поплевать и сами проставить: из уважения.

Все стояли, держа бережно правую руку, чтобы не стереть номер. Когда кто-нибудь, увидев знакомого в очереди, подходил поздороваться, тот подавал левую руку.

— Ай поранили чем? — спрашивал подошедший.

— Нет, номер боюсь размазать.

— Ну, что, устроились? — спросил дружелюбно милиционер, подойдя к очереди.

— Устроились, — сказали все дружно.

— Еще лучше, чем с листом, батюшка,—сказала старушка в платке.

— Лист-то, глядишь, забельшат куда-нибудь, ты и остался, а тут сам себе хозяин, ходишь с номером и знать никого не знаешь.

— А главное дело — человека не обидели, — сказал старичок в тулупчике.

Гостеприимный народ.

Поезд с солдатами, ехавшими из Туркестана, остановился на маленьком полустанке и в продолжение суток не двигался с места.

— Вот мерзнешь, как собака, — сказал худощавый солдат в рваной шинели, съежившись и спрятав руки в рукава. — Одежи нет, дров тоже нет, — прибавил он, оглядываясь по сторонам.

— Дядя, дровец так-то не будет?

— Нету, — отвечал проходивший мимо железнодорожный сторож с бляхой. Он остановился и посмотрел на солдат. — Шпалы, какие были, все солдаты пожгли, доски — тоже.

Сторож оказался хороший, словоохотливый человек, с ним закурили трубочки и разговорились.

— На нашу долю только одни заборы, знать, остались, — сказал другой солдат в куртке с короткими рукавами, сшитой не по его росту.

— Вроде этого...

— Это чей забор-то там?

— Жителя одного здешнего.

— Ничего не поделаешь, придется его ломать, больше ничего не осталось.

— Народу уж очень много едет, — сказал сторож, — тут всего было, а теперь — чисто... Ну, вы полегоньку ломайте, а я отойду, а то неловко. Затем и приставлен, чтобы смотреть. Самого-то нет, в город уехал. Раньше ночи не приедет.

Солдаты пошли. Через минуту послышался хруст раскачиваемого на подгнивших столбах забора. А еще минут через пять все сидели по другую сторону вагонов, на полотне дороги, прилитой, как всегда около вокзалов, черной нефтью, и грелись у костра.

— Обладили? — спросил сторож, подходя.

— Обладили. Крашеный-то хорошо горит.

— Крашеный — на что лучше, — согласился сторож.

— Щиты вот тоже хорошо горят.

— Щитов больше нет, да и ничего больше нету...

— Ох, головушка горькая, — сказал кто-то вздохнув.

Все замолчали.

— Вот проснется завтра хозяин, хвать — забора нету.

— Видней будет, окна от свету загораживает, — сказал солдат скороткими рукавами.

— Что если б захватил на месте, вот крыть-то начал бы, да еще волок бы куда следует.

— Нет, — сказал сторож, — теперь привыкли, обошлись и ничего.

— Хорошие стали?

— Ничего, обошлись. Особливо, если не нахальничают. Вот ведь скажем, к тому приставлен, чтобы за добром за казенным смотреть, вы обошлись по-хорошему, я ни слова.

— А вот мы из Туркестана едем, так там другим концом повернулось. Спервоначалу вот какие были хорошие, ну, просто... Словом сказать, у них там есть такой закон, что ежели гость к тебе пришел, хоть тот же солдат, скажем, обязан его напоить, накормить, — и все бесплатно.

— Бесплатно? — сказал сторож и отодвинулся на корточках от дыма, чтобы слушать, не развлекаясь.

— Бесплатно.

— Гостеприимный, значит, народ?

— Страсть!

— Это еще что... Там есть такой закон, что ежели гость похвалит, скажем, шубу хозяйскую, — халат по-ихнему, — пондравится ему, то хозяин должон отдать ее.

— Гостю-то?!

— Да.

Остальные солдаты сидели вокруг костра и молчали, копая изредка в огне палочкой, как люди знающие уже все это. А кругом чернела осенняя ночь и тускло светились огоньки затерявшегося встепи полустанка.

— Да, вот это так народ. И много от них так-то попользовались?

— Много... — неохотно отвечал худощавый.—Это еще начальство мешало, сколько назад отобрали.

— Зачем же отбирать-то, коли закон такой?

— Вот спроси...

— Бывало наешься, напьешься и начнешь хвалить: хорош, и то, и другое.

— И не совестились?

— Спервоначалу, конешно, понемножку брали, все как будто неловко.

— С непривычки.

— Да, не обошлись еще. А потом, когда видим, что все смекнули, тут уж некогда разбирать: нахваливаешь, что под руку попало.

— А они что же?— спросил жадно сторож.

— А что ж они изделают, когда у них закон такой? Известное дело, чуть не волком воют.

— А слушаются все-таки закона-то?

— Слушаются. Народ хороший, помнящий. И вот, братец ты мой, так их обчистили, что надо лучше, да некуда. И сначала, бывало, как

нас увидят, так к себе зазовет и уж угощает тебя до-отвалу, а пото
сидит и ждет, что похвалишь.

— Ждет?! Вот это народ.

— А потом, как стали охапками от них волочь, так уж прятатьс начали.

— Против закона, значит, уж пошли?

— Чудак-человек, вдрызг обобрали.

— Спрячешься, когда своими руками свое же добро отдавать, - сказал солдат с короткими рукавами.

— На человека по одному одеялу не оставили, — продолжал худ щавый. — И все по закону, а не то, чтобы нахальничать как.

— Раз люди хорошие, гостеприимные, надо с ними по-благоро ней стараться, — заметил сторож.

— То-то и дело-то. Ну, да оно и по-благородному не плохо в шло. Только потом уж — крышка: иной раз хвалишь, хвалишь каку нибудь уж овцу паршивую, а он—ровно оглох. Тогда уж воровать стал

— Живо в православную веру перекрестили.

— А то как же. Ну, да и они тоже скоро смекнули, как с наш братом обходиться: потом палку какую-нибудь возьмешь, так он нор вит тебя к комиссару стащить.

— Скажи, пожалуйста, до чего переменился народ! Сразу к п рядку приучились.

Вдруг около домика, откуда приволокли забор, послышал в темноте скрип телеги. Потом замолк, точно человек ехал и, сби шись, остановился, отыскивая дорогу. Потом послышалось восклицани

— Господи Иисусе! куда ж это меня занесло? Дома на печ заблудился. Эй, народ! Какая это станция? — крикнул он солдатам.

— Скажи, что Арсеньево, — шепнул сторож солдату, — а мне на отойтить. Это сам хозяин. Знакомый мне...

— Арсеньево! — крикнул солдат с короткими рукавами.

— Что за чорт!.. — донеслось от дома. И через минуту вда в свете костра показался человек в поддевке и с кнутом.

— Разум, что ли, отшибло, — спутался в потемках, своего до не найду.

— А сюда не залил грешным делом? — спросил худощавый с дат, щелкнув себя пальцем по шее, и, сморщившись от дыма, посм трел на подошедшего.

Тот ничего не ответил на это и только водил глазами по сторона

— Все, как есть, на месте, — сказал он, но вдруг, увидев под гами свой забор, почесал висок и, ничего не сказав, пошел обрат Только когда отошел шагов на десять, слышно было, как он со з бой плюнул.

— Ушел, что ли? — спросил, выходя из-за вагона, сторож.

— Ушел... Нашел дом-то. А то он его по забору искал, да сбился, сказал солдат с короткими рукавами.

— И ничего не сказал? — спросил сторож.

— Ничего. Только плюнул. И то уж отошодчи.

— Скажи на милость, до чего переменился народ. Ведь ежели бы прежде на него наскочил, он бы тебя сейчас в волостное сволок, все бы потроха у тебя обобрал. А сейчас, — как будто так и надо.

— Отвыкли уж. В новую веру перекрестили, — сказал солдат с короткими рукавами.

— Одни отучаются, а другие приучаются.

— На кого, значит, как... — сказал сторож.

Инструкция.

Около выхода на платформу, где проверяли на дачный поезд билеты, стояла толпа пассажиров с коробками и корзинками, спершись у прохода. В середине стояла женщина с корзинкой и птичкой в клетке.

— Да проходите, что вы там заткнулись-то? — крикнула она.

— Билеты смотрят...

— Тут смотрят, в поезде смотрят, господи батюшка.

— Народ уж очень замысловатый стал, одним разом его и не проймешь. А теперь еще инструкция такая вышла, чтобы багаж смотрели лучше, а то иной нацепит, пол-вагона им загородит и везет бесплатно. Казне убыток.

— Мой багаж сколько ни смотри, — сказала женщина, показав на птичку.

— Ну, ну, после поговоришь, проходи!—крикнул контролер, подняв голову и посмотрев через очки на очередь. — Билеты предъявляй. Эй, стой! С птицей, — куда пошла? Билет.

— Да ведь я показывала...

— На птицу билет.

— Как на птицу? На птицу нету.

— Ну, и проезду тебе нету.

— Господи батюшка, да как же это?

— Отправляйся в багажное отделение, там с тебя взыщут за птицу, квиток на нее дадут, вот тогда и приходи, — сказал контролер.

Он впихнул женщине в руку ее билет и, махнув напутственно рукой в дальний конец платформы, стал опять пропускать народ, боком поверх очков просматривая билеты.

— А как на поезд опоздаешь?

— Поспеешь...

И когда женщина с птичкой, подхватив под руку подол, побежала, он посмотрел ей вслед и сказал:

— Все спешат куда-то, а спроси куда, она и сама не знает.

— Эй, с птицей!.. куда полезла? В очередь становись.

— Да я на этот поезд. Мне только птичку свешать.

— Все равно. Порядок должна соблюдать. А то ишь, черти, вс норовят в обход зайтить.

— Катаются себе с птичками от нечего делать, а тут по дел стоишь часа три.

Женщина ничего не ответила и стала с клеткой в очередь.

— Щегол, что ли? — спросил, заинтересовавшись, какой-то морщи нистый старичок в больших калошах.

И так как женщина ничего не ответила, он прибавил:

— Я уж вижу, что щегол.

— Ты что тут стала? — сказал усатый носильщик в фартук с бляхой, — ведь она у тебя еще не вешана, а ты за квитанцией стано вишься! Вон куда иди!

Женщина испуганно бросилась к весам, с которых два дюжи парня сваливали свешанные кули с солью.

Человек в двухбортном пиджаке хотел взвалить мешки с овсом но женщина с птичкой подбежала к нему.

— Голубчик дядинька, уступи мне свою очередь. Мне на это поезд. Я в одну минуту, мне только птичку свешать. В не и весу-то всего — ничего.

— Ладно, уступи ей, багаж не велик.

Женщина торопливо протискалась к весам. Около весов стоял весовщик и, вынув из-за уха огрызок карандаша, что-то соображал и записывал на изрубленном прилавке.

— Тебе чего?

— Свешать надо...

— Кого свешать?

— Да вот этого вот...

— ...Ты бы еще блоху принесла. Вот черти-то безголовые.

— На господский манер пошли, чтой-то без птичек уж и ездить не могут, — говорили в толпе, в то время как весовщик, взяв клетку, ставил ее на окованную железом платформу.

— Эй, весы, смотри, не обломи! — крикнул какой-то малый, в рваных башмаках, лежавший на мешках с овсом. — Да что ж ты с клеткой-то вешаешь! Ты живой вес показывай.

— Для казны старается...

Весовщик ничего не отвечал и выбирал самые маленькие гирьки. Подержал их на ладони, посмотрел вопросительно и бросил обратно.

— Да поскорей, господи батюшка, а то я из-за вас на поезд опоздаю!

— А ты выбирала бы, что везти. А то тащите, что попало, вот и няньчайся с вами, ломай голову... Ну, не тянет, дьявол! — воскликнул он, — на самую последнюю зарубку поставил.

— Ты бы уж вешал вместе с ней, она бы как раз к вашим весам подошла, баба — сытая...

— На первую зарубку годится, — подсказал малый с мешков.

— Долго вы меня тут будете мучить? Пропадите вы с своим весом.

— Они долго держат, зато без ошибки получишь, — сказали толпы.

— Скоро ты там с весами, Кондратьев? Чего застрял?

— Да вот бьюсь тут над этим домовым.

Дверь деревянной загородки отворилась, — подошел другой чело-к в форменной фуражке и остановился в затруднении перед щеглом, эявшим на весах.

Щегол, нахохлившись, понуро сидел в клетке и смотрел одним азом, закрыв другой белой пленкой.

— Больной, что ли, он у тебя? — спросил человек в форменной 'ражке.

— Демон его знает, хоть бы вовсе подох!..

Ожидавшие своей очереди, видя, что около весов собрался чем-то народ, тоже подошли и, окружив весы, молча смотрели щегла.

— Вот дьявол-то, ничем его не возьмешь! — сказал весовщик, юнув.

— А на последнюю зарубку ставил?

— Кой чорт — на последнюю! Он и без зарубки ничего не тянет. ту в нем весу.

— Вес должен быть. Без весу ничего не бывает.

— Долго вы меня тут будете морить?

— Сейчас, подожди. Не тявкай под руку.

— ...А то ошибется пуда на полтора, свои придется платить,— цсказал опять малый с мешков.

— Может, спросить заведующего, — без весу пропустить?

— Не полагается без весу. Инструкция. Да спросить можно... ан Митрич, — крикнул человек в форменной фуражке, — нельзя ли 'з без весу принять?

Из окошечка кассы высунулось удивленное лицо и сказало:

— Что ты, очумел, что ли? Читал инструкцию?

— Ну, вот видишь.

— Эй ты, баба, что ты там сватаешься? Целый гурт скота, что ли, 'ебя? — кричали задние. —Что у нее там?

— Птица.

— Много?

— Одна только...

— Так какого же она чорта там присохла!

— Вот окаянная-то, того и гляди поезд уйдет...

— Пишут тоже инструкции, — говорил весовщик,—на глаз нельзя, а весах — ничего не тянет. Успеете, куда прете? Только вот и дела, ваши мешки вешать... Вот навязался-то демон, ногтем его прида-ь, а вишь, сколько народу держит, погляди, пожалуйста, уж на це стоят.

— Ну, вот что... вот тебе квитанция, как за пуд багажа, и уходи ті отсюда от греха, а то ты у нас тут все перебуровишь, — сказал челове в форме, отдав женщине квитанцию и махнув на нее рукой.

На платформе загудел паровоз.

— Матушки! — крикнули стоявшие в очереди и, давя друг друга бросились на платформу.

— Ушел, ушел!

— Ах, сволочь окаянная, всех посадила!

— И откуда ее черти принесли?..

— Лихая ее знает. Овечкой прикинулась, пролезла.

— А с чем она была-то?

— С птицей... И птичка-то пустяковая...

— Пустяковая, — сказал малый с мешков,—таких пустяковых с десяток принесть, вот тебе все движение на неделю — к чорту...

Цемент[1]).

Роман.

Федор Гладков.

IV.

Рабочий клуб „Коминтерн“

1.

Ячейка РКП.

Рабочий клуб „Коминтерн“ занимал бывший директорский дом крепкой немецкой стройки из дикого камня трех цветов — желтого, голубого и зеленого. Двумя этажами он вырастал глыбой из ребра горы, заросшей ворохами держи-дерева и туи, и был строг и пуритански прост в архитектуре, как кирха, но богат и расточителен в ажурных верандах и балконах, в надворных постройках (такой же крепкой и опрятной стройки), в цветниках и площадках для игр. А внутри — множество комнат, запутанных, сумеречных коридоров и лестниц с дубовыми обелисками в фонарях мозаичной работы, в статуях из бронзы и мрамора. И каждая комната — в штофных обоях с художественными панно, с картинами лучших мастеров, с исполинскими зеркалами и грузной дубовой мебелью разных стилей.

Перед фасадом, по спуску горы, — фруктовый и цветочный сад, измызганный, изъеденный козами, с одичалыми дорожками, а вокруг — чугунная ограда на каменном цоколе. Справа, за гранью горы — гигантские голубые трубы завода, слева — тоже трубы, а высоко, во впадинах — каменоломни и разрушенные бремсберги.

Когда-то здесь жил таинственный старик, которого рабочие видели только издали и никогда не слышали его всесильного голоса. И было удивительно, как он, этот старчески важный директор, мог жить без страха перед пустотой сразу в 30-ти комнатах дворца, без кошмаров, без ужасов перед нищетой, грязью, вонью, животным существованием рабочих конур и общих казарм.

---

[1]) Продолжение. См. № 1.

И вот — война — революция — великая катастрофа... Спасаясь и: под обломков, он, директор, бежал, беспомощный и жалкий. Бежал с ним вместе и инженеры, и техники, и химики. Остался только оди старейший строитель завода, инженер Клейст, похоронивший себ в своем рабочем кабинете, в главном здании управления, за шосс внизу, против дворца, его последнего создания.

...В весенний день, когда горели облака, море и горы, а возду колол глаза солнечными иглами, рабочие завода собрались в слесарно цехе. Среди толчеи, рева и табачного дыма, слесарь Громада вне предложение:

— Замечательный дворец, где жил кровопийца-директор, обратит в рабочий клуб и дать ему имя „Коминтерн"...

Низ отвели под клуб и ячейки РКП и РКСМ, а верх — по библиотеку, игры и отряд особого назначения.

И там, где раньше была строгая тишина, где рабочие не могл проходить с работ по бетонным дорожкам мимо дворца (строжайш воспрещалось дирекцией), по вечерам, когда зеркальные стекла пылал пожарным пламенем заходящего солнца, — клубные музыканты быкам ревели в медные трубы и взрывно грохотали барабанами. Из домо бежавших инженеров свезли все книги в библиотеку директора и рас ставили в шкафы. Книги были красивы, блестели позолотой на пере плетах, но были таинственно чужды: все были на немецком языке

Громаду выбрали завклубом, и когда он на собрании рабочи делал доклад о клубной работе, о библиотеке сказал так:

— Товарищи, как у нас есть великолепная библиотека, и которые книги конфискованы и нацилизованы у буржуазии и капиталистов, но все они — немецкого производства. И мы все порядком пролетарской дисциплины повинны читать, и, принимая во внимание, как мы рабочие есть международная масса, все едино мы повинны одолеть всякий язык. Библиотека открыта для всех грамотных и неграмотных... призываю, товарищи, за овладение культурой и не саботировать...

Рабочий клуб „Коминтерн". Не директорский дом, а комячейка.

Рабочие продолжали жить в своих конурах и казармах. Дома инженеров стонали пустотами и пугали жутью своих анфилад.

Рабочие делали зажигалки в слесарном цехе, а вечерами искали коз по горам. Бабы ходили в станицы и села — мешочничали.

Ревели быками трубачи в верхнем этаже, и взрывно грохотал барабан.

А в заседаниях ячейки РКП каждый понедельник (партийный день) ставили на повестку такие вопросы: 1) о воровстве масла и шрапнели в столовой нарпита, 2) о кормежке столовым обедом свиней, 3) о религии членов ячейки, 4) о грабеже завода на предмет мешочничества...

В рабочем клубе „Коминтерн" Глеб открыл экстренное заседание

Комната—просторная, с высокими панелями из корельской березы, и из корельской березы была и тяжелая кустарная мебель. И стены и мебель, зажженные вечерним солнцем, искрились золотом.

Принесли грубые скамьи из зрительного зала.

Глеб сидел за столом и видел всех сразу, и все были похожи друг на друга. Лица как будто разные, а что-то в них одно, сливающее их в общее лицо. Вот оно, это одно — цветет и дымится, больно пылит в глаза, и хочется назвать, отделаться словом, а слова такого нет на языке. Потом понял: это — голод.

Глеба увидели многие впервые, но здоровались с ним лениво и равнодушно, как будто не расставались. В последний раз они видели его в тот закатный вечер, когда схватили его офицеры у ворот завода из рядов выстроенных рабочих и били вместе с другими.

А иные крепко трясли его руку, натужливо морщили кожу в улыбке и не знали, что сказать — крякали и кричали междометиями:

— Ну?.. Что, брат?.. Как же это, а?..

И шли на места, не оглядываясь. А когда усаживались, опять стреляли на него глазами в неудержимой улыбке.

А вот пришел Громада (сам — маленький, а фамилия — большая), засмеялся и захлипал чахоточной грудью:

— Совсем другой коленкор, товарищ Чумалов, ей-право... Жарь?.. Как мы, коммунисты, дезорганизовались на козе и зажигалке, но ты не дозволяй дискустировать... крой на ребро и — никаких гвоздей!..

Повернулся к рабочим и захлебнулся восторгом.

— Вот вам, черти-лодыри!.. Прошел через смерть чисто и так и дале... И заявляю: не беру слово к порядку, но режу предварительно, как он, товарищ Чумалов, всю мою утробу на клубок намотал... как есть вступил я через него в ряды Рекапе...

Слушали Громаду и смеялись, не Громаде говорить такие слова. И не даром сам Чумалов исподлобья улыбался ему, как шкету. А рабочие барахтались в клубах табачного дыма и в бутори смешливого кашля.

— Крой, Громада!.. Верти горы волчком, жги с прихлестом, товарищ... Наша берет!..

Сидел Лошак в дальнем углу. Черный и горбатый, громоздился он куском антрацита меж пыльных, в цементных хлопьях, рабочих. Сидел и молчал, был меньше всех, но заметный и давящий, с угрюмым безгласным вопросом в белках. Лошак глядел мимо всех, но ждалось вот он брякнет по всем башкам таким же черным словом, как он сам, как его лицо, протравленное гарью и металлической пылью, и все онемеют и будут исковерканы его тяжестью.

Бабы непоседливо взбивали тряпичную буторь одевки, скалили зубы, тараторили воробьями. И бабьим поводырем отдельно от баб, но у баб на виду, стояла у стены Даша. Красная повязка горела спокойным пламенем в ожидании дела. Иногда подходила к бабам, и они

грудились в кучу, стукались головами и шептали все сразу, и вс сразу давились от хохота.

Ждали — вот-вот войдет Лухава для доклада о борьбе с разрухо и топливным кризисом. А отворилась дверь — вошел не Лухава, а лох матый Савчук, босой, с кровяными глазами.

Отекший, с застрявшей силой в мускулах, он шоркнул спино по стене и чувалом сел на пол, у двери, выщелкнул мосластые коленки в ссадинах и кровоподтеках. Глубоко, под костями над бровниц, в угарной тьме укрощенных глаз, отравной мутью налива лась тоска.

Даша подошла к окну и распахнула обе рамы — тяжелые рамы как двери.

— Проклятые люди, эта ячейка: дело они выкуривают трубкой Для бездельного мозга — табаку работа...

И как только распахнулась рама, комната загромыхала, как бочка на верхней веранде быками рычали медные трубы, и взрывно грохота барабан.

...Разбросанные по своим домашним норам, забывшие завод — грохот, гарь, пыль и запах машин, — покрытые другой пылью — пылью горных ветров, — люди завода, цехового артельного труда, с мешками на спинах, шайками вползали на горы. По загорным и степным дорогам и тропам шли в хутора и станицы, как в эпоху натурального обмена гонимые голодом и первобытной алчбой. Люди заводского труда который будил их по утрам не криком петухов, а металлическим ревом гудка, узнали за эти годы сладость свинных и козьих закут, изюмную остроту скотьих испражнений и радость теплых куриных гнезд. И люди машин и цеховых утроб научились кричать вместе с свиньями и курами из-за свиней, из-за кур, из-за коз, из-за нарпитской шрапнели, которую слопал по недогляду чужой поросенок. Потухло электричество на заводе и в казармах, задохнулись от пыли гудки — тишина и беструдье заклохтало, захрюкало деревенской идиллией. И угрюмо замкнулся в домашнях клетях рачительный муж и скопидомная баба.

И вот здесь, в клубе „Коминтерн“, в ячейке, коммунисты продирают глаза, и от невымытых рук и одевки пахнет куриным пометом и нашатырным запахом свиных и козьих гнезд. Артелью, вплотную друг другу, сидят, и рев трубачей и недомашние слова громоздят из прошлого иную, забытую жизнь. И Глеб вот тоже из прошлого (будто был здесь только вчера), и от него жирно запахло маслом, раскаленным железом и серной гарью остывающих шлаков. И опять—

... Завод... Производство... Бремсберги... Цехи...

Не успела отойти от окна Даша, вошел в конфузливой лысине, стекающей кудрями на плечи, Сергей. Подошел к Глебу и склонился к его плечу в деловом шопоте.

Глеб встал, кувырнул шлем с головы и бросил его ловким вывертом на подоконник.

— Товарищи, вот вместо Лухавы — товарищ Ивагин: товарищ Лухава — у скаженных грузчиков: забунтовались, к чортовой матери, из-за пайков... Открываем собрание... Да молчите вы, идолы!.. Ну, и еще скажу вам: так слыхал я краем уха, и о том же отбивает радио... заграница, знаменитая Антанта, подъезжает к нам на торговлю и шлет корабли... Засучивай рукава и плюй в кулаки, братва...

Закрутил на шутку и сам засмеялся.

Громада замахал руками, и глаза заблестели угаром.

— Товарищи, как мы есть рабочие великолепного завода, но нагрузились свиньями и козами и так и дале... Вылазь из берлоги, товарищи!.. Предлагаю по такому разу все излишки ликвизировать на предмет нашего детского дома... и как мы есть рабочий класс...

Барабан. Буча в дыму и пыли.

— ...этых самых свиней... много хватов до чужого добра... Кто пер с хуторов и станиц!.. задается не в счет сверхурочно... всех не покроешь... Громадина жинка сама в хуторах истрепала подол...

— Ликвизировать!.. к чорту!.. Постановляй, Чумалов ячейкой...

— Эй же, братва!.. жрать ведь нечего, шатия... Через почему чертей булгачите в драку?.. Братва!..

Глеб чиркнул звонком и скомандовал „смирно".

— А ну, замолчь, товарищи! Пока еще на свиней и на коз нет ущемленья. Коли охота, разводите с ними антимонию. Придет час, мы их пролетарским манером живо кувырнем, как буржуазию...

И опять поворотом на шутку и смех посадил на места и утихомирил для порядка.

— Предлагаю, товарищи, избрать председателя.

И не успел сказать последнего слова, бабы из своего угла (а впереди Домаха и Лизавета) разом пырснули вверх в ворохе одевок, застреляли руками, загорланили вперебой, в разнобой одно имя, и это имя кричало многоименно:

— Дашу!.. Даша Чумалова!.. Даша!..

И мужики орали, но не могли сначала перекричать своим горланом баб.

— Громада!.. Чумалов!.. Савчук!..

И слово „Савчук" раскололось от хохота.

Громада выпрыгнул к столу и опять замахал руками. Махал на баб и по-бабьи кричал мужикам:

— Товарищи!.. на счет баб я ничего не страдаю... Ну, только бабы как есть равноправные существа и так и дале... ну, молодые, чтоб в поводырки... Пущай отсидятся немного... Тут надо бороду в председатели.

— А у Чумалова ж нема бороды, голова... И у тебя-то волос мужиковских чорт ма...

А бабы, как бешеные, крыли горластыми криками:

— Даша Чумалова!.. Даша!.. На затычку ей пробкой Громада... Савчукова борода — помело для мокриц, а кулаки горазды на Мотьку...

— Савчук!.. Чумалов!.. Лошак!..

Глеб опять раз за разом чиркнул звонком.

— Голосую, товарищи. Даша Чумалова — первая в записи. Хоть она и жинка моя, но за бабью команду не возражаю. Кто — за...

И не успел назвать имени Даши, бабы опять загорланили:

— Дашу... Через почему не даете ходу бабам, злыдни?..

Глеб первый поднял руку, с ним вместе бабы и Сергей. Рабочие один за другим, с неохотой, сопя и кашляя, подняли руки — не свои, чужие руки.

Савчук из угла рявкнул, не поднимая руки:

— Крой их, баб, отсюда, по домам, мокрохвосток... Жиж!.. Терпеть не могу!..

А бабы опять взорвались базаром:

— Цыц, Савчук, окаянный!.. Мы самого сейчас выженем, подлого злыдня. Ты еще почуешь, дай час, наши кулаки за Мотьку...

Глеб отмахнулся звонком и опять оборвал крики:

— Голосую Громаду... Мало. Лошака голосую... Мало. Занимай свое место, товарищ Чумалова.

Бабы захлопали в ладоши, как куры крыльями:

— Браво, бабы!.. наша взяла!.. Докажи им, Даша, бородатым и бритым козлам...

Даша в бровях твердо подошла к столу — стала около Глеба.

— Товарищи, требую тишины и пролетарского духу. Говорю сразу: кто будет горлодером — строго посажу на порядок. Давай повестку дня, товарищ Чумалов. Слово для доклада товарищу Ивагину. Даю, товарищ, на весь пролет пятнадцать минут.

Сергей изумленно рассмеялся и развел руками.

— Слишком суровый регламент, товарищ Чумалова...

— Не балабаньте, товарищ Ивагин. Коли говрить — жарьте, а то мы приступим к делам.

— Да она ж задается на три копейки... Я ж говорил: не надо было бабу...

— Дрызгай их, баб, по домам, мокрохвосток!... Я их всех, бесштанных, за подол и в окно... Жиж!..

— Товарищ Савчук, замолчь: выведу в дверь за анархию... Вы ж — коммунисты, товарищи?

Даша — права. Надо немного: что можно сказать в докладе рабочему? Его голова слишком забита словами. Он лучше знает, что ему надо в эту минуту. И холодные книжные фразы — чужды, непонятны, далеки и бескровны, как и он, Сергей, для них непонятен и чужд и душой, и словами.

— Товарищи!.. чудовищная разруха... великие испытания рабочего класса... Небывалый кризис... Ликвидация военных фронтов... Все силы

іаши на хозяйственный фронт... Х-й съезд партии намечает новый поорот в экономической политике... только пролетариат — единственная ила... Возрождение производства республики... концессии и мировые ынки... (Уф, эта же, глупая интеллигенция!..) Стоять на страже проіетарской страны... Удесятерить свои силы, и железными рядами... Лы прорвали блокаду... Рабочий класс и коммунистическая партия... –Кончайте, товарищ Ивагин!..) Доставка топлива... Механическая ила завода... Об этом вам лучше меня доложит товарищ Чумалов...

— Товарищи, доклад приймаем к сведению. Сядь смирно, товаінщ Громада!..

— Да я ж насчет того, как объяснил товарищ докладчик... Но іапаша его и сейчас нетрудового элементу... Товарищ Лухава заворачивает круче. Ну, хоть товарищ симпатичный, а дискустирует зря. I заливать заливали словами рабочим гораздо... Чего глядит Рекапе?..

— Товарищ Громада, вы ж не знаете порядку. Выступает тоіарищ Чумалов...

Ячейка сомкнулась в тишину. А ну, какие слова загнет Глеб Чуіалов? В нем самая главная сила. От этого его слова совсем иным будет іавтрашний день...

— Товарищи, не буду барахолить словами. Крою фактом, как тим самым шлемом (взял шлем с подоконника и бросил на стол). Мы богато барахолили свиньями и зажигалками. И завод стал не заюд, а скотный двор. Завод — дурак, и мы — дураки. Разве это, товаіищи дело? Человек, товарищи, о двух концах: одним можно лезть іорту в зубы, а другим бить чорта по зубам. Это от того, в каком ы градусе дурак. Наши руки — не для коз и свиней; берем атакой іроизводство. Крышка валять на высокий градус дурака. Как тоіарищ Ивагин сказал: новая экономическая политика... Что такое новая кономическая политика? Это — бей чорта по зубам великим строительтвом. Цемент — крепкая связь. Цементом мы дадим знаменитую постройку республики. Цемент, это — мы, товарищи, рабочий класс. Бьем, оварищи, пуском завода. Крышка!..

Из гама и перекликов нельзя было понять, что хотела сказать чейка. Из набухших кровью лиц кровь проливалась в глаза. Прыгал ромада, размахивал руками, и Савчук лез из угла и выл в злобе радости.

А Глеб вытянул руку над столом, требовал внимания и играл армошкой на щеках. Даша улюлюкала колокольчиком и кричала до ьяного налива в глазах:

— Товарищи-коммунисты, вы — еще стадо! Коли вы — горлоеры, вас надо разогнать. Сохраняйте дисциплину! Я тебе не давала лова, Савчук...

— Так, товарищи, крыто!.. А задайте вопрос, чего заводу нет, ратва? Топлива нет! Рабочим топлива нет. Дошли все до нетей. При-

дет зима и урежет нас на ять. Сварганим новый бремсберг на кручу. на перевал... Нагрохаем дров на город. Совнархоз возьмем за горл(подавай, сукины дети, наши наряды на нефть и бензин... отдай отче куда заклепали броней? А по нарядам мы имеем запасы. И при кс зыре пик, мы — через Чеку в Ревтрибунал. Бремсберг — вот наш первы удар. Через Совпроф — воскресниками. Инженеров наших засадим з чертежи и руководство постройкой. К чортовой матери — коз, буд они прокляты трижды!..

Савчук пробрался к столу и грохнул кулаком по бумагам.

— Цыц, идоловы души, свинопасы!..

— Товарищ Савчук, не буяны!..

— Через почему ты мне, баба, рот затыкаешь? Ежели тут — за жигальщики и свинопасы — как я не могу крыть?..

— Товарищ Савчук, в последний раз...

— Тю, идолова баба... Глеб, товарищ, дай ты доброго туза свое жинке... она ж не моя... Вы ж, черти... козьи пастухи!.. Где ваши рук и глотки?.. Говорите, где Чека на инженера Клейста?.. Говори, Глеб каковой тебе друг инженер Клейст, коли тебя предал на смерть? Терпеть не могу!.. Подавай сюда инженера Клейста!..

— Правильно!.. Спец... инженер Клейст... Арестовать и отправит его в Чеку... Крысой зашился в норе... Бродит украдкой, как вор. Разве не полакал твоей крови инженер Клейст?..

Глеб жевал салазками — думал и боролся с собою.

...Инженер Клейст. Этот человек держал в руках его жизнь и бр(сил ее палачам, как грязную паклю. Инженер Клейст... Разве жизн Глеба не стоит жизни инженера Клейста? То было тогда, а тепеј опять столкнулись их жизни...

Горбатый Лошак в одном миге встретился белками с Дашины взглядом и молча поднял руку.

— Товарищу Лошаку — слово.

Все шоркнули головами в угол, к горбатому слесарю. Он всег; бьет не словом, а камнем, и слово его тяжело переносить.

— Как говорится, поставили от стола дело на попа, а горлод(грохает хабардой, так я хочу высказать. Мы, бунторобы, — пузыр надулись и лопнули. Ставь человека на постав, как дело на пог и человек, как говорится, поставит горы на поворот. Вот в чем бу: болвашки... Инженер Клейст — не шанс, а мокрица — не наковалы Так хочу высказать. Пущай инженер Клейст припаял Чумалова в лос Ну, а какой рукой коснулся он другим часом Даши? Как он, инжен Клейст, ее Дашу... которую изволок от смерти...

Даша рванулась над столом и толкнула в горб Лошака.

— Товарищ Лошак, обо мне прения нет... Заткнися и держи ра говор по докладу. А коли нечем крыть — отшивайся на место...

Лошак через горб выпучил на Дашу белки, махнул рукой и опя откатился куском антрацита.

...Опять — Даша... Опять какая-то чортова переделка в загадке...

Глеб жевал салазками — думал и боролся с собою.

— Товарищи, коли — так, дайте мне самому посчитаться с инженером с глазу на глаз. У меня есть для него хорошее зубило...

Рабочие утомленно вытирали пот рукавами рубах.

Даша поднесла бумажку к глазам и потом через бумажку оглядела ячейку.

— Товарищи, отнесемся к вопросу от парткома строго и обязательно. Командировка членов ячейки на работы в колхозы.

И опять бомба взорвалась в ячейке.

— Не надо командировки!.. Здорово командировали!.. Бандитам на мясо. То — убой, а не командировка... Мы — не скоты и не пойдем до бойни...

— Товарищи, вы ж — ячейка, а не шкурники! Я — баба, а говорю вам — никогда, ни на час, не дрожала судьбой. То вам известно гораздо. Вы ж — коммунисты, товарищи?

— Коли охота, командируйся сама... да захвати гамузом и всех своих проклятых квочек...

— Вот чортова баба: она вяжет ячейку вожжами... Гони идоловых баб из ячейки!.. Жиж!..

Это — голос Савчука. Даже его голос не покрыл ералаши.

— Громаду командировать!.. Он зашился в завкоме...

— И Лошака, братва!.. Завкомцы богато поваляли лодыря...

Глеб вышел из-за стола на середину комнаты. Вышел спокойно, грузным шагом, с лицом из острых костей.

— Выделяйте меня, товарищи-коммунисты. Выделяйте мою жинку. Она дрызнула вам словом — шкурники... и дрызнула здорово... Я ходил не в такие мышиные гнезда. И каждый день три года я дрался со смертью. Вот, чортовы козы, они припаяли вас круто к закутам...

— А чо ж ты был не убитый, Чумалов? А кто ж не видал крови за эти года?..

— Так. Чего не убитый? А я ж — живущой, как кащей бессмертный... Я со смертью братался, как равный. А коли вы видали кровь, так вы ж здорово знаете, каковые когти у смерти. Хорошие когти, чортовой матери! Пущай шкуры ваши лопнут от одного их виду. Вот! На! Наглядайся досыту... Полапай, каковая у смерти знаменитая хватка...

Рвущими движениями содрал с себя гимнастерку, нижнюю грязную рубаху, бросил отмашкой на пол, и мускулы его от шеи до штанов при свете керосиновой лампы двигались под кожей упругими желваками. А между ними, во впадинах, прыгали черные оттени.

— На! Наглядайся! Вам нужно полапать руками?.. Подходи и лапай... Выворачивай очи и лапай...

И он тыкал пальцами и в грудь, и в шею, и в бока. И в тех местах, куда тыкались пальцы, багровыми и бледными узлами рубцевались шрамы от ран.

— Вам нужно, чтоб я спустил и штаны? Говорите — нужно? Ага! Я не стыжуся. Там тоже есть такие ордена. Вы хотите, чтоб за ва шли на работу другие, а вы будете спать в козьих норах?.. Хорошс Я иду! Назначайте меня на эту кротовью работу...

Никто не подошел к Глебу. Он видел влагой налитые глаза, виде. как сразу все люди осели бурдючной кучей. Они смотрели на ег голое тело в узлах и шрамах и, растерянные, оглушенные его словами парились в банном поту и молчали, прибитые к месту.

Громада выбежал к Глебу, и последние капли крови растаяли у него на лице.

— Товарищи!.. Это же — стыд и позор!.. До каких же разов товарищи, эта наша разруха души?.. Товарищи!..

Он задыхался, махал руками, извивался припадочно и бури свое не мог выразить в слове.

Один из бородатых рабочих встал со скамьи и сразмаху удари себя в грудь. У него тряслась голова, и глаза выпирали из век.

— Записывай!.. Катай!.. Я иду!.. Я не какая-нибудь сволочь по ганая... Ну, три козы там, свинья с поросятами... тер плечи меш ками... Что говорить: зарезались мы в своих берлогах, ребята...

А за ним тянулись еще несколько молчаливых тяжелых рук.

А Даша (она смотрела на Глеба застывшими глазами) взмахнула рукою.

— Товарищи, разве ж наша ячейка хужее других? Нет, това рищи!.. У нас рабочие хорошие... и коммунисты хорошие...

И первая захлопала в ладошки и блеснула зубами.

Когда все успокоились, и стало легко и просто, Даша ошарашил бабьим предложением сверх порядка дня:

— Товарищи! у нас есть пустые дома беглых инженеров. Пред лагаю открыть детские ясли. Эта подлая, будь она не ладна, кухня.. Свободная пролетарская женщина...

— Крой!.. Ну, и бабы!.. Клюют, как курки, и ревут петухами.. Прямо берут на урез нашего брата...

— Нет возражений?.. Принято... Споем Интернационал...

Август Бебель и Мотя Савчук.

От клуба до дому было близко — перевалиться через ребр горы — десять минут ходу. Глеб и Даша толкались плечами и пере плетались руками в размашке. Черно-фиолетовые дали за заводом — море и городское предместье — были мглисты и тревожно-пустынн в призрачных искрах и облачных тенях. Вилась огненная веревка с маяка к заводу, рвалась, сплеталась в узлы, и капали звезды очен

далеко, над морем, и небо над дальними изломными хребтами было и павлиньих перьях.

Глеб и Даша шли молча — хотелось говорить, а молчали.

В горах, за городом, позади, на вершинах, над морем, вспыхивали, кружились, гасли и опять зажигались загадочные огни.

Даша дотронулась до руки Глеба.

— Поглядай... Видишь — огни? То — белозеленые дают разговор ю сигналам. Еще много заботы во днях будет с ними. Много работы и много будет взято нашей крови...

Вот. Сказала, и в этих словах была другая душа, — не та, не прежняя, которая искала покрова и ласки у его силы. Сказала, и эти слова были не те, каких хотел Глеб. Какую жизнь прожила без него Даша? Какая сила сделала ее душу отдельной? Раздавила эта сила прежнюю Дашу, и стала Даша больше Даши, а сила эта — непроницаема, неустранима между Глебом и ею.

Шла Даша споро, уверенно ступая ботами: не видно тропы, но она в ночи была зрячая, как кошка.

— А ну, Даша, расскажи, какая запятая была у тебя с инженером Клейстом? Это — что завернул Лошак...

Даша помолчала и взглянула через ночь в лицо Глебу.

— То я была в контр-разведке... Разве ж ты не знаешь?

— А разве ж ты мне высказывала о своей жизни? То полагается знать чужому дяде, а я ж тебе — муж.

Даша усмехнулась, но Глеб не увидел этой усмешки.

— Ну, вот... была в контр-разведке, а Мотя упросила инженера Клейста... он дал слово — взял меня под поруку... Я была по зеленому делу...

— Ты была по зеленому делу?.. Ведь ты ж на этом деле могла сгибнуть, как муха... И ты выдралась из лап этих бандитов невредимо? А ну, расскажи.

— То — долгая басня. Придет добрый час, расскажу тебе все до онца. А теперь разве до этого, Глеб? Я ж не могу с места в карьер...

И вдруг отошла от него в сторону и прибавила шагу. И в этих оропливых движениях почуял Глеб Дашину тревогу. Вспомнил: так же ержала себя Даша по дороге к детскому дому.

— Ой, Дашок, ты что-то, к чортовой матери, дышишь не тою оздрей... Крутит тебя какая-то заноза... Не свихнула ли тебя ненаром этакая шатия?.. Вашему брату нетрудно поставить хорошего пивня...

— Глеб... ты ж не подлый человек, как я памятую?.. Ты сказал о от глупости... но в другой раз постережи свой язык, Глеб...

А в комнате — неприютной, с запахом плесени — она села к столу вынула из газетного свертка книжки. Выбрала одну, подвинула лампу и оперлась головою на руки.

— Вот, к чортовой матери.. Какую ж ты такую премудрость читаешь?

Не отрываясь от книжки, сказала сквозь зубы:

— Августа Бебеля... „Женщина и социализм".

— Овва!.. А эти, другие?

— То — товарища Ленина... Хотишь — возьми. Мы, коммунисті повинны шкарабзть себя учебой...

Даша читала старательно: шептала, глотала слюну, билась с труд ными словами, карабкалась, изнемогала, прыгала торопливо по легки ступенькам...

В открытое окно влетала ночная мошкара, играла, вила живы ниточки около огня, зажаривалась на стекле и сеялась на стол, ка пшено. В открытое окно, как мошкара, влетали звезды с черног неба, и капали тревожным вопросом вскрики пичуги в горных кустар никах — так-нет? так-нет? В открытое окно из окна Савчука, тож открытого, зазывно туманился тусклый размытый огонь.

Глеб встал и без шлема вышел из комнаты...

Савчуки уже ложились спать. На столе — остатки еды. Нужн было убрать их, вымыть посуду и — на бок. Мотя без кофты, в одно лифчике, копошилась у столика. Савчук, босой, кудлатый, как всегда натужливо носил бездельное грузное тело — отпирал дверь Глебу а теперь топтался у кровати.

— И какой тебя чертяка принес, идола, в темный час?.. Днем ты — барбос, а ночью скачешь блохой...

Это Савчук лаялся в ласковом раздражении.

Мотя стыдливо тянула на грудь и лифчик и рубашку, но грудь была широка и налита обильно.

— Ты — свой человек, Глеб... Я — по ночному... Ты не станешь брехаться...

— Не стыдись, Мотя: я и без того знаю, что ты — баба. А от Савчука не возьму: Савчук — надежная крепость, его не прошибешь пушкой. А ну, говори, Мотя, какой у тебя мир с Савчуком?

— А что ж — Савчук?.. Он — злыдень хороший... Он у меня здесь вот, под пяткой...

— Да не бреши ты, идолова душа!.. А кому я вчера ремонтировал кости? Забыла?

Мотя сверкнула глазами и вскочила кошкой.

— А ну, ты сам не бреши, кудлатая пакля... А ну, вспомни, кого я хлестала по морде?..

Глеб засмеялся — веселые ребята, эти Савчуки...

— Ну, как, Савчук, товарищ? Тебе строго воспрещается от этого дня трудить свои руки на Моте: готовь свои руки на другую работу...

Мотя ахнула в радости и подбежала к Глебу, не стыдясь голых грудей.

— Ну, подлый Глеб!.. Коли эти руки толкнутся в пустую дыру— не быть тебе живому! Завтра пойду в бондарню — узнаю, как будут

іеть песни мои девчата... Твоя жинка — чортова баба: крутила ячейку зеревкой...

Мотя онять сверкнула глазами и посмотрела в нутро Глеба только бабы одни умеют глазами зарыться в нутро).

— Я не знаю, что — Даша... Но как же Даша бросила Нюрку этшибом, как кутюка, на чужие руки? Баба без дитенка и гнезда — цикая баба... Она звала меня в свою шайку, а я ж разве — дура? Я скорее сдохну, чем выкину свою грудь за окошко...

Савчук ударил кулаком по коленке.

— Эго ж — чортова баба, твоя жинка!.. Она ячейку крутила зеревкой, го-го!..

А Глеб зацеплялся за Мотю. Вот этих самых слов ждал от Моти 'леб. Поняла ли его Мотя, знала ли она оборот его жизни в эти 'рожитые дни с Дашей (только бабы одни могут зарыться в чужое утро), — взглядывала она в него вспыхивающими глазами в полупонятном намеке. И будто не слышал последних слов Моти и ответил а слова Савчука:

— Это — верно: Дашка стала без меня молодчагой. А как она тала без меня такой бабой — без догадок не знаю: она — гордая и е хотит хвалиться своей судьбой...

В зрачках Моти спичкой загорелась злость, и Мотя замкнулась.

— Ты не приходи сюда, Глеб, с такими словами. Подвохи свои е показуй. Ты бросил Дашу на муки до смерти — и не можешь ее рать голыми руками. Не пытай — ведь ты же пытаешь, так? — ведь же не дура... Коли она такая — не твоя на то воля. Ты ж пытал е — ведь вы ж злыдни такие... ну, и обжогся — не правда?.. А я тебе е скажу, коли она не открыла себя своими словами... Нельзя рыть ушу когтями, коли у тебя нет на то длинной руки...

Глеб смутился и засмеялся, чтобы скрыть свое смущение.

— Какая ж ты пронырная баба, Мотя!.. Я тебя, ей-право, боюсь... Io что правда — то правда: нет той Дашки, а какая с ней случилась ертурбация в трое годов — так и не знаю. Чую: есть какая-то трущоба у бабы, а в этой трущобе застряла Дашка. Может, она поскользулась по бабьему делу? Пускай бы сказала: ведь я ж — не злодей!.. азве ж того не бывает с людьми?..

А Мотя опять кувырнулась в глубь его глаз, и опять Глеб увиел, что Мотя и тут поняла его затаенную хитрость.

— Ой, Глеб!.. И не стыдно тебе, Глеб, брать меня на испытку?.. Іди, Глеб, домой и ложись спать. Не точи почем зря языком...

А в сенцах, когда Мотя провожала Глеба, сжала она ему руку темноте и тихо засмеялась стыдливой девочкой.

— Ой, Глеб!.. ты ж свой человек... Ты ж не знаешь, какая мне адость... ты ж не знаешь!.. Дитятко, Глеб... и я буду богатая мать... !у, иди, иди, злыдень неладный!..

И потом в открытых дверях вздохнула от жалости к Глебу.

— Ой, Глеб... какая ж лихая судьба!.. Не жить вам с Дашеі одною заклепкой... То чую, Глеб, и мне лихо от этой порухи... А таı вам, барбосам, и надо: не бросайте своих баб на собачью судьбу..

Глеб застал Дашу такой, как оставил — за книгой: голова — н руках, и строгое, заботливое, рабочее лицо, и старательный шепо за книжной работой.

А как вошел он — оторвалась от книги и пытливо взглянула навстречу Глебу.

— Ну, что ж ты узнал у товарищей Савчуков?

Глеб подошел к ней вплотную, и лицо его задергалось от боли Обнял ее и сказал не так, как говорил обычно. Не было Глеба, про шедшего бури войны: был Глеб, утомленный любовью и думой.

— Ну, Даша! ну, скажи же мне, голубка, свою душу... Ну будь же ты прежней и ласковой... Мне ж лихо, коли ты сердце свое держишь под крышкой...

Даша не сказала ни слова, но почувствовал Глеб, что она дрогнула и обмякла нутром. Почувствовал, что прижалась к нему головой и плечом и стала опять слабой и милой бабой. И почудилось, что пахнуло от нее прежним молочным запахом и былой сладкой испариной. Но робко прижалась и боролась с собою, а собой не владела.

— Ну, и скажи... ну, если что было — так это ж не суть... Так это ж в лихой час может случиться со всеми...

Оторвалась от него и вздохнула. А потом взглянула пристально ему в глаза, как Мотя, и сказала тихонько, с болью, ломая голос

— Да... было... то было, Глеб... и не раз то было...

Будто огромная рука отбросила Глеба от Даши. Будто лопнул надутый пузырь в груди. И звериная сила кровью и яростью налила кулаки и лицо.

— Так, значит, то — правда?.. то — было?.. Таскалась с кобелями, как грязная баба?.. Ух, поганая сука!..

Бешеный, поднял кулаки и, слепой, с выпученными белками, с одним огромным сердцем в груди, падающими шагами, быком ринулся к Даше. Но она быстро поднялась со стула и крепко стала на ноги и от этого сделалась выше и крепче на голову и грудь. И сразу срезала не бабьим голосом, а неслыханным взмахом груди животную злобу Глеба.

— Опомнись!.. стыдися!..

И замолкла, и только брови и глаза собрала в один черный шматок. А когда он, отброшенный криком, застыл на шагу с прыгающими губами, она сказала спокойно и басовито, с сухой сипотой:

— Товарищ Глеб, я тебя взяла на испытку. Ты не можешь быть человеком. Ты еще не можешь меня слухать, как надо... Так вот: мои слова я сказала, чтоб вывести тебя на чистую воду. Ты шпионил у Моти — разве ж я не знаю? Я хорошо знаю, чем ты дышишь...

ы — коммунист... Но ты — животный мужик, и баба нужна тебе раба, а подстилку... Ты — коммунист, но вояка, а в жизни ты — плохой оммунист...

И она отошла к кровати готовить постели.

V.

Подпольный эмигрант.

1.

Спрятанная комната.

Окно в массивных дубовых рамах не открывалось, и пыль с каıеноломен через щели и форточку бархатно и надежно ложилась на ıодоконник в междурамье, а по утрам, когда горы горели из недр :иреневым блеском и брызги солнца скользили сбоку, через переıлеты рам,—между стеклами летали радужные кристаллы. И техноруқ, ıнженер Клейст, стоял подолгу перед окном и смотрел на эти летающие миры, на излучение минувших геологических эпох, осязая сгущенıую тишину комнаты.

И если комната отшибом брошена в глубину ломаного кориıора, где день молчит вечерней дремотой, а ночь — черными пусто·ами и лохматыми тенями, то рабочая комната инженера Клейста кажется отрадно недоступной, далекой, как та вон каменоломня в ущелье, ıаросшая шиповником и держи-деревом.

Когда завод разрушен и сизые проломы вырванных дверей и ›кон с бездонным вопросом смотрят на вулканические взметы гор, ıа отвалы щебня в террасах каменоломен, с разбитыми и заржавленıыми бремсбергами, — жизнь останавливается и разлагается на составıые элементы — на хаос и покой. Почему же не быть техноруком на ıертвом заводе, когда это ни к чему не обязывает и дает устойчивое ›авновесие времени?

Главное, не открывать дубовых рам в комнате и понять огромıый смысл великой строительной работы пауков между стеклами. С некоторого рубежа между прошлым и настоящим инженер Клейст вдруг увидел глубокую красоту и значение архитектурных нагромождений паутин в воздушных пространствах междурамья. Он подолгу :тоял у окна, сутулый, длинноногий, с серебристым ершиком, и смотрел на жемчужную ткань тенет — на множество ажурных плоскостей в разных наклонениях и пересечениях, на бесчисленные радиусы лестниц, переплетов и сцеплений, насыщенных силой огромного напряжения.

В его рабочую комнату никто не заходил: кому был нужен технорук, когда завод могильно пуст и цемент в сырых лабазах давно превратился на века в чугунно-твердые болванки, когда разрушены бремсберги, порваны канаты, и вагонетки, сброшенные под откосы,

проржавели под дождями в бурьяне и щебне? Кому нужен техноруk когда квалифицированные рабочие бродят бездельниками по шоссе по тропинкам территории завода, по пустым корпусам и дворам — тащут клепки и обручи для топлива, медные части машин для зажи галок, ремни от трансмиссий?..

Там, внизу, в полуподвальном этаже, в полутьме нежилых конур грохочет в топоте и криках завком, и инженеру Клейсту кажется, что это — таверна, притон бунтовщиков и разбойников. И из своего окна сквозь пыльную муть стекол, он видит рабочих, снующих по бетонным ступеням спуска, с угрюмыми лицами, покрытыми пылью от голода и страданий и морщинами жестокого упрямства. Они заняты своим — страшной и непонятной игрой, — и им нет никакого дела до него

Все слагается в его пользу силою его мудрой осторожности и умелой постановки простой математической задачи. Из своего обособленного угла он смотрит на них с насмешливым презрением и тревожной ненавистью. Все эти, изнуренные голодом и безделием, существа принесли в бунте своем разрушение и великую трагедию — революцию. Это они раздавили его будущее, а мир сожгли, как шматок пакли, и частицы прошлого забыли в этой спрятанной комнате.

Бетонная площадка и лестница спуска перед окном дымятся и плавятся в солнечном блеске. Кажется, что они горят белым накалом и вот-вот взорвутся пламенем. Льется вода на раскаленные поверхности, и она шипит и жвыкает пузырями и паром в огне. Это трещат и взвизгивают раковины и выщербленный цемент на площадке под ботами рабочих. Они муравьиным хороводом снуют внизу из дверей в двери, из завкома в завком.

Почему нужен теперь завком, когда раньше его совсем не было и завод потрясал целый мир? Какие могут быть дела у рабочих, обреченных на безделье, среди обломков минувшего величаво-организованного труда? Зачем эта заботливая торопливость, если завтрашний день — такой же, как теперь, и за ним — нить таких же бестолковых дней, как в зеркалах повторного отражения.

Курьер Якоб приходит в комнату ровно в час с маленьким латунным подносом. Он входит молча и строго, важно сутулится, и седые усы шильцами и голубая щетина на красном черепе прозрачны как стекло. Он ставит на стол стакан с чаем, крошечные таблетки сахарину в бумажке. Отступает назад на два шага. Наклоняется, щепотью бережно подбирает соринки с пола и заботливо кладет в проволочную корзину под столом. Стены опрятно белы, и архитектурные чертежи так же строго чеканятся в дубовых рамах, как и в прошлые дни.

— Уже час, Якоб?

— Ровно час, Герман Германович.

— Очень хорошо. Можешь итти. Ко мне никого не впускать.

— Слушаю-с!

— С окна только стирать пыль, Якоб, но рам не открывать.

— Слушаю-с!

Инженер Клейст стоит у окна спиною к Якобу. Серебряный ершик сердито хрусталится, резинами передвигаются вертикальные мускулы на шее, и серый пиджак оттопыривается хвостиком от низу до лопаток.

Где-то, очень далеко, за коридором, пустые комнаты конторы пели одинокими голосами, и цыплятами цыкали счеты. Там были уже новые люди, присланные сюда совнархозом. Кто они, что они там делают — инженер Клейст не знал и не хотел знать. У него оставалась, забытая всеми, рабочая комната, охраняемая Якобом, где есть только одно прошлое, пересекающее настоящее, не касаясь его. А настоящее мчится по шоссе автомобилями, телегами и людьми, толчется артелями рабочих, которые сорвались с цепи и научились бестолково кричать и ругаться (раньше это строжайше воспрещалось дирекцией).

Он смотрит на круглое туловище горного сброса, иссеченного каменными пластами, заброcанного кустарниками и можжевельником. Высоко, на ребре горы, массивными глыбами, огненными от солнца, в арках и башнях, грузной киркой, опрятно и строго, в пуританской чопорности, властно растет из горы замок из дикого камня.

Он смотрит на дом директора (комячейка!), любуется его колоссальной мощностью и вздыбленным величием. Этот дом строил он, инженер Клейст.

Налево, за ребром горы, в пятнах зелени и камней, прозрачно взлетают в высь железо-бетонные трубы завода (из окна они кажутся выше гор), канатная дорога, а под трубами, за канатной дорогой — купола и аркады заводских корпусов. Их тоже строил он, инженер Клейст. Он не мог эмигрировать за границу, не разрушив своих сооружений. Его создания стали на его пути неприступнее гор, неотвратимее времени: он стал их пленником.

Эта комната с глянцевым полом сохраняет аромат прежней простоты деловой лаборатории: чертежи на стенах, чертежи на массивном дубовом бюро, благородная важность резной тяжелой мебели готического стиля. Здесь остановилось время, и минувшая жизнь сгустилась до телесной осязаемости.

2.

Враги.

Была ли допущена ошибка в логических построениях инженера Клейста, или с некоторого момента жизнь перестала подчиняться законам человеческого разума, но замкнутая орбита обособленного мира инженера Клейста непоправимо лопнула и рассыпалась, как проржавленная проволока.

Еще час назад, когда Якоб своим обычным приходом утверждал неизменность обычного течения времени, все представление о жизни инженера Клейста четко выражалось строгой графической схемой — круг и касательная. В минуты блаженного покоя, безопасно скрытый за множеством стен, он сидел за письменным столом, над старыми проектами заводских построек и, охраняя традиционную чинность своего рабочего кабинета, бессознательно чертил карандашом на английском блок-ноте один и тот же чертеж: круг и касательную — аксиома, верная при всех комбинациях.

И вот сразу все взорвалось и разлетелось вдребезги. Аксиома вдруг оказалась нелепостью: касательная превратилась в камень, раздробивший раковину. И от того, что это случилось просто и тихо, душу инженера Клейста смял смертельный ужас.

Он ходил в уборную и задержался там дольше обычного срока: от недоброкачественной пищи у него часто болел кишечник. И когда возвращался коридором, увидел, что дверь в его комнату открыта. Этого никогда не допускал ни он, ни Якоб.

Рабочие стояли на площадке, смотрели на каменоломни и скользом — на его окно. Это было сейчас же после ухода Якоба. Тогда он почувствовал внутри легкий электрический разряд. Была тревога, но она была мгновенна и — забылась. Теперь—открытая настежь дверь и — тоже электрический разряд. Но уже — ожог и тошнотное беспокойство.

Сохраняя холодную важность и привычную уравновешенность, инженер Клейст ровным шагом вошел в комнату. Он остановился у порога и не мог сразу понять, что случилось. Несомненно, совершился внезапный грубый сдвиг в его обособленном мире. Окно было открыто, и дымилась пыль над столом и подоконником. В воздушном провале окна четко и огромно резались медью ребра гор в пятнах весенней зелени и каменных отвалов. Очень далеко, на верхней террасе разработок, тонко ломался углами и карнизами маленький домик с двумя окнами. Спирали табачного дыма и обрывки паутин прозрачно сплетались в общем полете.

Стоял у окна с трубкой во рту бритый человек в шлеме, в гимнастерке и синих обмотках. Челюсти выпирались под ушами острыми шишками, и проваливались ямки на щеках, под скулами.

— Ну, и гнус же вы развели в своей норе без продуха, товарищ технорук!..

И шлемом сбивал с косяков и рам паутину и бил ползающих очумелых пауков.

— А у вас здорово надежная баррикада, товарищ технорук. Но очень уж глухая нора — тупик какой-то. Это — последнее дело...

Разбитым шагом инженер Клейст прошел к столу. Был час, когда этот человек, истерзанный побоями, обречен был на смерть и кровавой маской гримасничал ему в лицо. А теперь он неожиданно здесь и так странно и жутко спокоен.

— Да... я совсем не открываю окна...

— Правильно, товарищ техноруk: сквозняк у нас ядовитый... большевики, к чортовой матери, всю утробу вывернули буторью и искромсали все на преисподний манер. Окаянные люди!..

— Почему же о вас не предупредил меня Якоб?

— Вашего Якоба мы отправим на резку дров в бондарный цех: го будет для чистки мозгов... холуи — не к быту нашей жизни... Вы меня должны помнить, товарищ техноруk...

— Да, я вас помню... Пусть так, но что же из этого следует?

— А вот какая чертовня. Как говорите: в наших руках — диктатура пролетариата, а бьем хозяйственную разруху без рук. Таковые черви-козыри... Нет своих спецрук — чьими мозгами крыть по катастрофическим кризисам? Почему рабочие, завод, транспорт — без топлива? Почему бремсберги наши разбиты, к чортовой матери, завод — свалка, а спецруки крысами забились в норы? Почему — паутина? и вы, и завод — в паутине? Вот как надо ставить вопрос, товарищ техноруk...

— Предположим, что я поставил и разрешил эти вопросы. Что же вам от меня угодно?

— Да вот... Наткнулся на эту вашу баррикаду, на этот тупик самый... дай, думаю, кувырну эту кубышку... Чортова привычка, товарищ техноруk...

— Я никогда не веду праздных разговоров. И то, что вы говорите, я не понимаю и не хочу понимать. Будьте любезны оставить меня в покое...

Глеб шагнул к столу, ухмыльнулся одной нижней челюстью. Вынул изо рта трубку и пристально поглядел на инженéра Клейста. Отразились ли пауки в его глазах, или жуткие призраки задымились около Глеба, лицо инженера Клейста покрылось вдруг густым пыльным налетом.

— Товарищ техноруk, вы помните тот прекрасный вечерок, когда вы меня здорово отличили и крепко помазали? Ваша баня была не легкого пару... Ну, таковая баня, коли черти не запарят, — впрок... Так вот... пришел к вам в гости — лясы поточить о старине... Люблю повстречаться со старыми друзьями, товарищ техноруk...

Ткнул трубку в угол рта, встряхнулся, чтобы расправить мускулы и засмеялся.

— А теперь выскажу вам загадку, товарищ техноруk. Малюсенькая такая, но горячая для интересу. Было четыре дурака по весне. Накрыли эти, окаянные белые, таковых дураков и приволочили в сию самую комнату. А хари у них — не хари, а рваные калоши. Вопрос: на каковой предмет волочили рваные калоши к сему столу? Второе: как четыре мертвых дурака обратились одним живым?.. Оно верно: левая загадка, а ответ — ядовитый, а?..

И опять засмеялся веселым забавником.

— Это я так, больше для смеху, товарищ технорук: давно н видались...

Возвратился к окну, высунулся до заду и крикнул натужн нутром:

— Гой, братва!.. Жди — выхожу... Загнул загадку товарищу те: норуку... будь ты трижды неладна... ей-право!.. ядовито...

И голос его ухал издалека, могуче дрожал во всем теле. А ар тельные крики рабочих по-гусиному гоготали ближе, без слов, одни кашлем. Шипела вода на раскаленных площадках, взрывалась пузырям и паром. Опять подошел к столу и опять пристально, с ухмылкой, пс смотрел на инженера Клейста: ждал ответа. Не дождался и, не оглядь ваясь, военным шагом вышел из комнаты.

Инженер Клейст сидел долго, изнуренный встречей с этим чело веком. В открытое окно — провал в кратерные впадины гор. Распах нутая дверь — во тьму коридора. Тошнотная боль и потрясающи толчки, идущие изнутри. Опять вошел Якоб с почтительной важносты и остановился посреди комнаты. Он был растерян, и лицо испуганн комкалось мятой бумагой. Инженер Клейст перевел на него лихорадоч ные глаза и спросил, очень тихо и строго:

— Это ты, Якоб? Не скажешь ли, как это случилось, Якоб?

— Моей тут нет вины, Герман Германович... Для них — нет за прета и запора... нигде и ни в чем... Их сила, Герман Германович, их закон...

Присутствие Якоба — приятно. В его холодной преданности ест что-то успокоительное.

— Это та самая комячейка, Якоб?

— Чумалов... слесарь... Примчался с войны, а теперь — верховодом Завертел всем, Герман Германович, и берет на аркан. Разве тепер что против них устоит? С ног сшибут, Герман Германович...

— Не устоял и ты, Якоб?

— Не устоял, Герман Германович... Прискорбно, что и ваш ре жим он порушил...

Промолчал инженер Клейст, будто не слышал последних сло Якоба.

3.

Расплата.

По тропе, раздробленной острыми пластами камней, засыпанно щебнем, через кусты кизила, туи и можжевельника, инженер Клейс поднялся на ребро горы. Внизу, во впадине, густой дымной тены стекала из утробы ущелья ночная тьма. Она не рассеивалась ниж у шоссе, в бетонах завода. Сады и стены наглухо преграждали ей путı и она набухала густым черным туманом и осевшей тишиной. Мерцал фиолетовой пеной облака ясеней и грабов

над ними в полете ветвей огромными дымными факелами капельно струились в высь тополя.

Прямо, под сползающей горой—упругие массивы заводских зданий. И за ними, выше крыш и башен, мутно хрусталилось море. Очень высоко небо пылилось опалом и звездами. На той стороне залива города уже не было, а мигали в черном сбросе горы большие и маленькие капли огоньков.

Все было далеко и чуждо. Близки и слиты с душою были только железо-бетонные гиганты, построенные им, инженером Клейстом. В эту минуту в мире были только они—вздыбленная мощь архитектурных махин и он, их создатель, инженер Клейст. В это страшное время, когда потухший завод грозно молчал тьмою отверстий и ржаво коченел кладбищем машин, инженер Клейст блуждающей тенью бродил по рельсовым путям и лестницам, мимо стен и башен, и молчал одним молчанием с заводом.

В этот вечер он впервые увидал в проломных пустотах завода грандиозную смерть прошлого. Его графическая формула оказалась правильной: колесо событий неудержимо катилось по намеченному пути.

Странное столкновение с рабочим, Глебом Чумаловым, показало инженеру Клейсту, что путь этот совершен, и его жизнь дошла до своего предела.

Нужно было в свое время взорвать завод и погибнуть вместе с ним. Это был бы хороший ответный удар по закону притоводействия...

Если его встретят сейчас по дороге—он совершенно готов. В сущности, теперь нужно сделать самое незначительное—взять и прострелить ему голову: предыдущий этап уже пройден. Надо только еще немного побыть среди этих сооружений, где жизнь его отложилась в кристаллах мощной суровой архитектуры...

Культуру какого мира несет с собою рабочий Глеб Чумалов? Воскресший из крови, он неотразим и бесстрашен, и в глазах его много жути и силы. И когда в его комнате улыбался Глеб, в его улыбке были непонятные глубины—знание того, чего не знал он, инженер Клейст. Этим насыщен был шлем Глеба Чумалова. И лицо и шлем сливались в одно.

Упрямое, жуткое лицо—упрямый, жуткий шлем.

Этот шлем утверждал грозное настоящее. И, кроме шлема и лица Глеба Чумалова, не было ничего.

Выхода нет. Он, инженер Клейст, готов. Лучше, если его убьют здесь, среди построек, чем дома. Эти гиганты и он нераздельны: убить его—значит разрушить вместе с ним и все эти храмы его жизни.

Над дальними горами, за городом, небо потухало остывающим железом, и зубцы хребтов чернели крышами великого завода. Была четкая, струнная тишина. Свистел и крякал где-то, очень недалеко,

железный блок под усталыми руками. Испуганно вскрикивали кукушки на вокзале, в мутных далях, и где-то, в той же стороне, дрожало мерцающим звоном падающее железо.

Глеб стоял на площадке вышки, паутинно сплетенной из стальных полос. Когда-то отсюда подавался уголь в вагонетках в машинное отделение: вагонетки спускались по лифту в черную пропасть колодца и по туннелям канатной тягой отправлялись по рельсам к машинным корпусам. Теперь вышка была пуста, и за парапетом, в центре, бездонной тьмою зияло хайло провала.

До боли в пальцах он сжимал железные прутья барьера и смотрел на железо-бетонные пузыри корпусов, на пятидесятисаженные трубы, улетающие к звездам, на звенящие струны канатов с застрявшими вагонетками, и молол челюстями до скрипа в зубах.

Завод грохотал огненным адом. Дрожала земля от бешенства машин, а воздух горящими стружками брызгал от пламенных окон, от ослепительных вспышек вращающихся печей, от бесчисленных лиловых лун и динамитных взрывов горных массивов. Там, в бухте, у пирсов, стояли океанские корабли и бездонными утробами поглощали миллионы тонн свежего цемента. И с завода на пирсы, и с пирсов на завод летающими черепахами со свистом и сиренным воем вереницами реяли в воздухе вагонетки. Тысячи рабочих, как полчища чертей, горели в огне, дробили горы в щебень и пыль, дни зажигали серой и каменной гарью, а ночи пожарами окон и полыхающим пламенем.

Это было в прошлом. А теперь — тишина и великое кладбище. Травою заросли бремсберги, стальные пути и дороги к заводу. Ржа покрыла коростой металл, и упругие железо-бетонные стены зданий изранены проломами и размывами горных потоков.

Инженер Клейст шел медленно, часто останавливался и смотрел на многоэтажные кубы строений, как на гробницы минувшей эпохи. Смотрел и думал. Шел, останавливался и думал.

Глеб перегнулся через перила и пристально вглядывался в размытую тень инженера Клейста.

Вот человек, которого он с наслаждением мог бы задушить этими руками в любой час, и этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он однажды в мстительной злобе отдал его на истязания и смерть офицерской ораве. И этого дня не забыть Глебу никогда, во веки веков...

Рабочих завода выстроили на шоссе, перед зданием конторы (осталось немного: многие скрылись, многие ушли с Красной армией). Он и еще трое товарищей не успели бежать — застряли в уличных боях. Один из толпы офицеров, с нагайкой, — по бумажке называл фамилии. Нагайкой бил по одиночке и передавал другим офицерам. И те били — били нагайками и ручками револьверов. Смутно, скользом сознания, отметил Глеб надрывные крики рабочих, — тех, что стояли

рядах. Были ли это крики протеста, избивали ли их офицеры — не ıог понять Глеб и только сквозь кровавые слезы на один момент уви- ;ел, как они разбегались в разные стороны и за ними гнались с на- айками и револьверами офицеры. И когда приволокли их, четверых, кровавым месивом в лицах, в рабочую комнату инженера Клейста, н долго смотрел на них, бледный, с трясущейся челюстью. Что-то перебой по-армейски говорили ему офицеры, а он, потрясенный притворно-холодный, молчал. Смотрел пристально на Глеба и мол- ал, и в глазах его видел Глеб брезгливое сострадание. И потом казал тихо, с квакающей хрипотой в горле:

— Да, это — он... И эти... Да, да... те самые...

— Больше ничего не скажете, господин Клейст?

— Дальнейший ход действий — не в моей воле, господа: ело — уже вашего усмотрения.

Их бросили в пустой лабаз и били до глубокой ночи. В проры- ıах сознания чувствовал Глеб удары — и легкие, далекие, не доходя- щие до боли, и огромные, потрясающие, разрывающие его по частям. Іо и эти удары были безбольны и странно-ненужны: точно он был ıамурован в бочке, и кто-то бесцельно и озорно бухал ногами в ее барабанные стенки.

А когда он очнулся, была черная тишина. Он заползал, очумелый и не добитый, по лабазу. Наткнулся на склизкие от крови тела това- рищей. Они были дрябло-холодны и пахли кишками и кровью. Ползая вдоль стен, он нашел широкую отдушину и вылез наружу. Спрятан- ный ночью и кустами, он дополз до дома, и больше его с тех пор не видел никто.

Этого не забыть никогда, во веки веков...

Вспомнил это Глеб и днем, когда был в комнате инженера Клей- ста, вспомнил и сейчас, смотря на него, блуждающего обреченной енью по широкой площадке.

— Добрый вечер, товарищ техноорук!.. Чем наше кладбище — не ıнаменитое? Много великих кладбищ по республике, а кто нас может іерещеголять?..

Инженер Клейст остановился и окоченел, но быстро оправился ı стал всматриваться не в Глеба, а в черный пролом окон машин- ıого корпуса.

Просто, как удар: то ожидаемое, которым он жил этот день, ıришло и открывается перед ним узкой бездонной пропастью.

— Поднимитесь сюда, товарищ техноорук: сверху могила — глуб- ке... Бродите вы, брожу и я... каждый день... А что толку?.. Будьте любезны подняться, товарищ техноорук...

Логика событий знает только одно: беспощадный конец и неумо- лимое начало. Случайностей нет: случайности, это — иллюзии. С тош- нотной болью в области сердца, весь растворенный в ужасе, инженер Клейст (время клубилось удушливой тьмой) долго взбирался по звонко

дрожащей лестнице и в обреченности своей сохранял привычную важность и молчаливое спокойствие.

— Берегитесь, товарищ технорук: тут — бездонная утроба, будь она проклята... Дрызнешь и — вдребезги... Понастроили вы чортовых дыр... Это — ваша работа...

Инженер Клейст ответел холодно и строго:

— Мы строили на века — крепко и разумно. А вы превратили все в хаос и развалины.

— Ну, и дали ошибку, товарищ технорук: громоздили, громоздили — все для себя... непобедимую крепость... а оно не выдержало и — грохнулось. Грош цена вашему разуму... Где ваши эти нерушимые века?

Пыхая трубкой, Глеб казался огромным, чугунным в сумеречной мгле. И от того, что он был спокоен и прост и так примитивно значителен в своих словах, инженер Клейст почувствовал, что он уже не может уйти от этого человека, и грядущие минуты растворены в одном только коротком взмахе его руки. Парализованный, инженер Клейст стоял, прямо опираясь на парапет спиною, и голова его подбрасывала шляпу редкими срывными толчками.

— А, между прочим, поглядите на завод, товарищ технорук: какой богатырь и красавец!.. Оживить это кладбище... зажечь адовым огнем и музыкой заиграть на всех проводах и канатах... Великое чудо это, строительство!..

С привычным военным выгибом груди, вцепившись в железо барьера, Глеб долго смотрел на черные глыбы корпусов, подавленный их массивным величием и глубинным молчанием. Кости ли заскрипели под его гимнастеркой, или челюсти сорвались зубами на скрежет, инженер Клейст услышал нутряной стонущий вздох:

— Могила... братское кладбище, будь ты трижды проклято!..

Почему стоит здесь этот мосластый инженер с прыгающей шляпой? Почему он молчит так замкнуто и обреченно? В нем есть что-то общее с заводом — гнетущее и жуткое. А прошлое, это — его муки, муки и смерть товарищей. Этого не забыть никогда. Смахнуть его вверх тормашками в бездонную пропасть... Две туго натянутых канатных струны взлетают под крышу, к электромоторам. Это — змеиные языки, голодное хайло просит жертвенной пищи.

Скользом взглянул на него Глеб и не почувствовал мстительной боли.

— Так-то, товарищ технорук!.. Здорово вы насобачились строить памятники. Когда умрете, для вас приготовлена могила: видите эту дыру?.. Спустим вас на вагонетке и упрячем под самой высокой трубой...

Теряя сознание, инженер Клейст выпрямился и оторвался от барьера. Ныли внутренности и мучительно растворялись в холодной влажной пустоте. Животный крик застрял в горле хриплым, задавленным стоном: челюсти спаялись в одну костную массу до жгучей визгливой боли в мозгу.

— Вы... вы, Чумалов... ради бога... делайте скорее, что нужно...

Глеб вплотную подошел к инженеру Клейсту и весь налился напря·ением и жаром.

— Товарищ технорук... будет валять дурака!.. Головы нужны... ,ки нужны... Крышка вам сидеть в вашей подлой норе!.. Разогреть грянуть!.. Уголь и нефть... Тепло и хлеб рабочим... Экономический ɔдъем республики... За горами — великие бунты дров в лесосеках... е лошадиной силой, а механизмом завода... И тысячи-миллионы ку·ɔв... Вагоны — на территорию... воскресники... Тысячи мускулистых ,к и спин...

Он вцепился в плечи инженера Клейста и тряхнул его в радост·ɔм порыве, и в его руках инженер Клейст болтнулся чучелом. Iляпа свалилась с головы и ночной птицей закувыркалась вниз, тьму.

— Как вы о себе понимаете, товарищ технорук? Ваши мозги и 'ки — золото. Такой строитель, как вы, — великий спец республики...

В последней изнурительной борьбе за жизнь нутром понял ин·:нер Клейст, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постиг·'ть смысла этого потрясающего события — стоял, странно пустой, об·женный, с одним рвущимся сердцем.

Глеб ударил кулаком по железным перилам, и переплеты полос охнули звоном и рокотом.

— Ну-с, берите мозги ваши в руки, товарищ технорук, и при·упайте к работе... Не таких еще великанов понастроим, как эти... ɔвый мир, товарищ технорук...

Инженер Клейст сутуло семенил и ловил дрожащей рукою воз·х между собою и Глебом. Потом ослабел и размяк.

Глеб крякнул и забрякал ботами по железным настилкам.

VI.

Преды.

1.

Малый уезд.

У дверей кабинета предисполкома, на стуле, сидел бородатый рьер, в гимнастерке и серой шапке времен империалистической йны. Волчьим поглядом из-под волчьей шерсти бровей встретил еба. Мохнатые пальцы по привычке оплетали латунную ручку двери. к охранял он вход в кабинет предисполкома каждый день от 10 5, не сходя со стула, даже в то время, когда предисполком уезжал делам. Были ли это люди с деловыми портфелями, или, робко вы-

тянув шеи по-птичьи, входили безвестные просители, — через серу шерсть волчьих бровей волчьим поглядом одинаково недоступен бы немой, угрюмый страж, и каждый покорно соблюдал свою очередь или ломал ее через секретаря исполкома.

Стояли в очереди люди во френчах, с портфелями, без портфелей, с бумажками и без бумажек, покорные и злые — знали: нельзя пройти в кабинет через лютого дядю с волчьим поглядом и волчьей шерстью в бровях.

Ремингтоны рассыпали металлическую дробь где-то рядом, дверями, и горласто кричал с хриплым надрывом обветренный голос:

— Стыд и срам, товарищи!.. Бюрократизм и волокита заела Разогнать вас надо к этакой матери... перестрелять, как чекалок...

Глеб подошел к двери, и он и курьер молча поглядели друг в друга — один из-под шлема, другой из-под клочьев волчьей шерсти.

— А ну, кудлатый, убери свою руку...

Всколыхнулись в очереди люди, зашебутили на Глеба: разве он лучше других, если лезет первым к двери? Если они покорно ждут очереди, почему же ему не разделить по всем правилам их участи?

Там, в кабинете, — тихо. Дверь плотно, надежно закрыта, и хлебом приляпаны бумажки: „Без доклада не входить“. Ниже: „Предисполком принимает только по строго деловым вопросам“. Еще ниже: „По экстренным делам прием вне очереди только через секретаря Исполкома“.

Глеб заиграл гармошками на щеках. Чортова машина! Чтобы заставить ее работать, ее надо сломать...

Прошел в секретариат. Там — банная буторь: опять толпежная очередь. Машинистка стрижет стрекозиную чепуху и кашляет регистраторами. Барышни сидят за старенькими столиками над бумагами и гложут черный паешный хлеб. К потной ералаши привыкли — наплевать. Как всегда, эта фарфоровая блондинка смотрится в зеркальце и чешет пальчиком волосы.

Не потому ли секретарь Пепло — в седых кудрях, с лицом юноши — смотрит на сизые лица и румяно улыбается? Он улыбается неудержимо, с искрой, и зубы у него ровные, сахарные, с играющими пузырьками слюны.

Знает всех Пепло, слушает человечий содом. Знает все секретарь Пепло и курит — не торопится: все дела — одноликие, они все бескрылы.

Про него говорят:

— Он умеет выслушать до конца. Это — спокойный и выдержанный человек.

И только горластый обветренный голос то в том, то в другом конце комнаты покрывал этот гомон вагонно-одурелой толпы:

— Крыть вас всех надо на ять, мухотеров!.. Без хомута запрягли рабочего человека в двадцать две горы... Башку нужно рогатую, чтобы

рошибить жеребую вашу бюрократию... Я вас всех разменяю на елкую монету: не будете распинать рабочий класс...

И эти выкрики безответно глохли, а секретарь Пепло румяно лыбался. Должно быть,— привыкли к таким скандалам: ведь машина ıла полной пружиной, а бунт и бешенство граждан были надежной мазкой для механизма.

Распаренный Жук, с слезою в глазах, гулял, как одержимый, о канцелярии и горбился на шагу от надсадной злобы.

Глеб сцапал его за руку и сдернул ему кепку на затылок.

— Гляди веселее, Жук! Не вой барбосом и не стреляй руками.

Жук пьяно облизал Глеба мясными глазами, вздрогнул радостью лице, махнул рукою и осекся.

— Эх, душа Глеб, дорогой товарищ!.. До чего же мне прискорбно лядеть, как скрутили рабочий класс... Житья им не дам, доколе буду традать на сем свете... Мне нет дела в этих местах, а дело рою... ыл в Совнархозе — бурда... был в Прсдкоме — бурда... Везде — урда... И тут, будь ты проклята, бурда... Вот и хожу, крою, как укин сын...

— Жук! Балда ты, товарищ!.. Бей делом и утробой, а язык — иповое оружие...

— Я?.. Чтобы — я?.. Да мать твою так... Я их всех на чистую оду выведу... Всех к стенке поставлю...

— Надо дать тебе какую-нибудь ядовитую работу, Жук, а то ты ьешь холостежем... Имей в виду: подберу тебе хомут по твоему арактеру...

— Нет, брат Глеб, дорогой товарищ, они еще меня узнают... I еще им докажу 18-й год...

Погрозил кулаком потолку и пошел к выходу рыхлым шагом.

На щеках Глеба заиграла гармошка.

Минуя очередь, Глеб продрался к секретарю Пепло, а вслед ему рысились и скалились люди в толпе.

— Товарищ секретарь, прошу доложить предисполкому...

Секретарь Пепло посмотрел на него с румяной улыбкой.

— Станьте в очередь здесь и потом в очередь — там...

— Товарищ секретарь, вашу очередь — к чорту: у меня — дело... кстренное...

В румяном изумлении Пепло вскинул кудрями.

— Экстренное? Какое дело?.. По какому поводу?..

А из толпы обалдело кричали:

— И у меня — экстренное... экстренное...

Секретарь смотрел на него и улыбался с искрой. И уже не слуıал его, а слушал других. Глеб выпрямился, выгнул грудь, и глаза него стали такими, как у Жука. Взмахнул кулаком и широкими ıагами пошел к двери, путая очередь. В коридоре Глеб вырвал верь у лохматого дяди, и вошел в кабинет предисполкома. Вошел

и раскалился ослепительно солнечным дымом. Сквозь огненные снопы только алыми вспышками больно плескались в глаза густые шматки широких полотен, да белели далекие грани прозрачных стен.

— В чем дело, товарищ? Почему вы врываетесь, когда нет приема?.. Я занят.

Не видно было Глебу, кто говорил за солнечной занавеской, но сразу заметно, что человек — не пешка, и голос у него был густой и металлически-трубный. Глеб вышел из солнечной пыли, и все оказалось обычным и привычно осязаемым: и письменный стол, как опрокинутый шкап, и человек в черной коже, напирающий грудью на стол смуглый до отлива бронзой. И другой человек, в черкеске, при кинжале и револьвере, стоит у стола и опирается рукою на стул. Пальцы вцепились в спинку до белизны, и спинка дрожит вместе с пальцами и лицо у него подергивается жилочками у глаз, у рта, у скул. Белки выпирающие из век, и черкесский нос — от тех молодцов, какие были в „чортовой сотне": эти ребята на войне разделывали чудеса, и шашки их никогда не высыхали от крови.

— Живорез, к чортовой матери!..

Глеб по-военному приложил руку к шлему и сел на стул около стола, напротив предисполкома. Оба — предисполком и он — взглянули друг на друга в молчаливом упоре. Лоб предисполкома лопатой надвинут был на глаза. Он не смотрел на человека в черкеске и сразу же забыл о Глебе. И говорил четко, глухо, в стол, в свои смуглые руки с черными волосками на суставах.

— Ты это крепко запомни, Борщий: если ты в течение месяца не проведешь кампании по сбору дополнительной нормы продразверстки и провалишь сентябрьский возврат семссуды, я поставлю тебя на мушку. Я не говорю слов зря. Это ты хорошо знаешь. Как волпредисполком, ты мне ответишь за всех. Это запомни.

Борщий порывался сказать, крутил белками, и челюсти изо всех сил старались перегрызть зубы:

— Товарищ Бадьин... Я — такой же коммунист... Я протестую...

Голос — не ломкий, а сорвался на хрип. И предисполком так же глухо, холодно, грузно приглушил его слова.

— Вот я тебя, как коммуниста, и посажу на мушку, если задание не будет выполнено. Вы там, в куркульском районе, разводите склоку и поддаетесь кулацкой стихии...

— Товарищ Бадьин... ты ж должен выслушать... Вопрос о сложении возврата до будущего года... Ты ж должен знать положение.. Продразверстка производится с осени четвертый раз... Землеробы подохнут с голода... И мы таковыми мерами сами же разводим банды белозеленых... Нас перережут до последнего... изрубят, как говядину...

— Так. Пусть изрубят вас, как говядину, но задание ты должен выполнить точно и к сроку.

Борщий отступил на один шаг и выпрямился. В глазах всплеснулись капли влаги и огня. И вместо голоса захлебнулся хрипом.

— Товарищ Бадьин!.. Кампании будут проведены... Я сделаю Но́ это будет мясорубка, товарищ Бадьин...

— Не плачь. Получишь в помощь Салтанова, начальника окружной милиции.

И сел. Больше не сказал ни слова — забыл о волпредисполкоме Борщии. А он, Борщий, вояка „чортовой сотни", исковерканный, укрощенный, взглянул раз за разом на Бадьина в последних попытках к борьбе, и быстро вышел из комнаты разбитыми шагами. Бадьин опять под тяжестью лба быком уткнулся в шерстистые руки.

— В чем дело, товарищ? Говорите короче.

— Рабочему человеку пробраться к вам, товарищ предисполком, так же туго, как взять Перекоп.

— Что вам угодно? Говорите конкретно.

Сцепились глазами, отчужденные, почуявшие силу в борьбе. Каменная, холодная неподвижность предисполкома давила Глеба, а Глеб упрямо и сумбурно дробил тишину и деловой административный порядок булыжными словами.

— Вашего кудлатого дядю я в другой раз сцапаю за ноги и выброшу в окно. Такое генеральство нам — не к лицу.

Бесстрастно, с неотразимой властью и угрозой в глазах, Бадьин сказал не Глебу, а в глубину живота:

— Товарищ, за хулиганство я вас сейчас отправлю под арест.

И встал. Оперся руками на стол, и стол заскрипел и погнулся под его кулаками. И как только сказал эти слова предисполком, Глеб исковеркал лицо, с грохотом отодвинул стул и весь переломился к Бадьину. Надавил обеими руками на его плечи и заорал на всю комнату:

— Товарищ предисполком, с вами говорит рабочий завода! Будьте любезны садиться! Вы не имеете права гнать рабочих из своего кабинета!

Бадьин дернул щекою, и из-под толстых губ блеснули зубы в улыбке. Сел. Вынул из кармана пачку папирос. Закурил и подвинул Глебу.

— Я слушаю. Говорите толком и сразу, что вы хотите. Как ваша фамилия?

Сел и Глеб. Не посмотрел на папиросы, а вынул свою красноармейскую трубку.

— По поручению рабочих, делаю вам таковой доклад, товарищ предисполком. Ячейкой и собранием рабочие решили доставить дрова из лесосек за перевалом механической силой, по бремсбергу. Технорук завода даст чертежи и команду руководства. Два-три воскресника на все профсоюзы, и мы спустим к вагонам горы дров. Сколько до осени спустим дров — посчитайте. Дровяная повинность — это ерунда: мужики разбегутся в бандиты. А на баржах побережья не взять: баржи

погнили и, к чортовой матери, разбиты волнами. Вот. Моя фамилия- Чумалов, слесарь завода, военком полка.

Бадьин протянул ему руку и опять дернул щекою, блеснув зу бами в улыбке.

— Вот это — серьезное дело, которое нужно обтяпать... Скажит Даша Чумалова — ваша жена?

Глеб, занятый трубкой, разодрал углы глаз острой глядкой в лиц Бадьина и скользом — на его руку и с треском на швах гимнастерк колесом сунул через трубку свою руку.

— Я — не к тому, товарищ предисполком: это — плевый текущи момент. Я бью по другому вопросу. Что вы думаете о пуске завода

Бадьин немигающим взглядом смотрел на Глеба, и в глазах ег вспыхивали золотые искорки. Отвалился на спинку кресла. Веки за играли в судорожной дрожи.

...Глеб Чумалов, без вести пропавший муж. Даша, которая н похожа на других женщин. Даша, к которой однажды протянулас его рука. Не было бабы, которая не ломалась бы под его глазо и руками, как былинка, а тут была стальная пружина, которая больн ударила его в самое нутро. И оттого, что эта женщина, поводыр городских пролетарок, каждый день упрямо сколачивала боевые бабь отряды и сама утверждала свое место среди мужчин, — предисполко Бадьин не в силах был подойти к ней, так, как он подходил к дру гим женщинам. И Бадьин каждый день думал о том, с какой сторон подойти к Даше и переломить ее с одного удара.

А вот тут, рядом, глаза в глаза, человек, ставший так неожиданн между ним и этой женщиной.

— О заводе пока помолчим, товарищ Чумалов. Пустить завод - не в нашей власти. А вопрос о сооружении бремсберга я поставлю на ближайшем заседании Экосо.

Глеб в изумлении опустил трубку к коленям. Опять всунул в ро и встретил глаза предисполкома. Что было в глубине этих глаз — н мог схватить и оформить Глеб: взмахом волны прошла через них чер ная муть.

— То-есть как это — не в нашей власти? Рабочие пустят завод коли б вы того не хотели. Это — позор: завод не освещает даже свои закоулков, не говорю о квартирах рабочих. Всюду — разлом: ни две рей, ни окон, а коли есть двери, так вместо замков — простая веревка или проволока. Как же вы хотите, чтобы завод не расхищался по ча стям или гамузом? Кто плодит такую разруху: вы или рабочие? Н завод идут наряды жидкого топлива. А где эти наряды? Рабочи хотят знать, какое хайло глотает эти наряды... Видите, какая хабарда Скажем, перемол клинкера... Несметное богатство прежней разработк сырья... А лабазы — пустые... а клепок — горы... Организуйте подгото вительные работы... Вы кричите о лодырях и бездельниках, а сам плодите дармоедов и волынщиков... Этот ваш совнархоз надо при

пить к стенке — и ответработников и всю спецовскую шатию — за бесхозяйственность, как злостных врагов Советской власти... Вот как надо ставить вопрос, товарищ предисполком.

— Товарищ Чумалов, мы умеем ставить вопросы не хуже вас. Надо исходить из конкретной обстановки. Помимо Госплана мы не можем решать самостоятельно вопросов, имеющих общегосударственное значение.

— Я понимаю общегосударственное значение, товарищ предисполком. Я и говорю об общегосударственном значении. Каковая у вас была кампания за восстановление производства? Коли вы варите лапшу в Экосо, почему не выдвигали там вопрос с этого боку?

— Придет время, поставим вопрос и с этого боку, товарищ Чумалов. Все зависит от перспектив новой экономической политики. Этот момент — не за горами.

— Товарищ предисполком, телефоньте к Совнархозу...

— Зачем же телефонить, когда это — бесполезно?

— Телефоньте к Совнархозу, товарищ предисполком. Мы будем говорить с ним на ять.

— Хорошо, будем говорить с ним о бремсберге.

Бадьин завертел ручкой телефона, и опять в глазах его, сквозь холодную насмешливую улыбку, прошла черная муть. А Глеб не глядел на него, пыхал трубкой, уминая пепел на копотном рыльце.

...Две силы — он, предисполком, и рабочий Чумалов — столкнулись и высекли искру. Что горит в глубине глаз этого человека? Зверь? Герой? Ревнивый самец?

— Всякий хозяйственник, товарищ Чумалов, тем ценнее, чем больше и крепче он ставит свою работу на то, что у него горит под пяткой. Правило: не целое, а — часть, не сказка, а — кусок хлеба. Вы знаете, что нам угрожают бандиты? Они окружили нас волчьим гнездом. Борьба с ними требует затрат тех сил, которые до зарезу нужны для восстановления хозяйства. Нужен новый метод борьбы с ними и новые диспозиции. Ваш проект о немедленном пуске завода — нелеп: вы не учитываете хозяйственной конъюктуры. И если вы сумеете сейчас поставить снабжение города топливом, вы совершите настоящий героический подвиг.

Глеб вынул трубку и в упор посмотрел на Бадьина. Почему этот черномазый не понимает самых простых вещей?

— Вас, товарищ предисполком, заели блохи, и вы гоняетесь за каждой с молотком. Надо дело ставить сразу на пузо: Красная армия махала тысячи верст и била по целым антантам, а ваши кусочки плодят только дармоедов. А не угодно ли вам овладение ставить на ять?

И Глеб широким взмахом очертил полукруг и поставил его твердым куполом перед собою.

— И это я знаю не хуже вас, товарищ Чумалов. Мы об этом говорим на каждой партконференции, на съездах советов и профсоюзов:

производительные силы, экономический подъем республики, электрификация, мелиорация и прочее. А где у вас для этого реальные возможности?

— Есть.

— Укажите их.

— Есть. То — великая рабочая сила. Сцапайте мужика за бороду и свяжите его руками с рабочим.

Предисполком усмехнулся, и в глазах его потух огонек любопытства.

— И это — не ново, товарищ Чумалов. Об этом на-днях будут говорить на X съезде партии.

— Ага, вот вам и не ново...

Этот рабочий настолько же упрям, насколько наивен и близорук. Это — те демагоги, которые мешают нормальному ходу сложной работы по управлению краем. Эти одержимые мечтатели из образов будущего создают трескучую романтику настоящего, изъеденного разрухой...

Предсовнархоз вошел с портфелем, весь в желтой коже от картуза до ботфорт, с рыхлым лицом скопца, с золотым пенсне на бабьем носу. А под носом—два маленьких шматочка усов, будто две бронзовых мухи. Не здороваясь, он сел у стола, лицом к лицу с Глебом, и застыл в позе напряженного нечеловеческого спокойствия. Он не двигал ни головой, ни руками, и даже глаза у него были стеклянные— глаза восковых фигур из паноптикума: все подделано под живое, а сам — чучело.

— Слушай, Шрамм: что может предпринять Совнархоз, если на-днях будет поставлен вопрос о частичном пуске цементного завода?

Шрамм будто не слышал предисполкома. На его лице не дрогнул ни один мускул, и когда сказал, губы его почти не шевелились. На вопрос Бадьина он не ответил, а с четкостью официального рапорта, медленно, без передышки, отбил граммофонным голосом так:

— Совнархоз проделал за это время огромную работу: он учел и сохранил государственное имущество от сложных машин до старой подковы. Мы ни одного гвоздя не позволяем тратить из хранилищ и не трем машин, несмотря на горы проектов и предложений, исходящих от разных предприятий и частных лиц.

— Все это — хорошо. Но теперь придется Совнархозу из скопидома стать предприимчивым хозяином. Твоему аппарату предстоит заработать в ударном порядке.

Лицо предсовнархоза оставалось по-прежнему тусклым, нечеловечески напряженным и скопчески рыхлым.

— Совнархоз получает всякие задания и планы только от Промбюро.

Предисполком угрюмо и жестко скользнул по нем взглядом и всею тяжестью навалился на стол.

— Ты прячешься за спину Промбюро, чтобы охолостить Совнархоз. А ты знаешь, что у тебя делается в обоих этажах? Из писанных твоих докладов видно, что ты развернул свою работу по линии учета и переучета. У тебя — бесчисленное множество отделов, и штаты — до 200 человек, а творческой работы — никакой. Какие у Совнархоза предположения на ближайшее будущее относительно мастерских, заводов и предприятий?

— Совнархоз стоит на той точке зрения, что нужно прежде всего сохранять народное достояние, а не допускать никаких сомнительных предприятий.

— Как у тебя работает Райлес?

— Это меня не касается или, вернее, имеет косвенное касательство. Там есть свой аппарат, который находится только под моим контролем.

— Какие же есть у тебя данные о работе Райлеса?

— Идут плановые заготовки в лесосеках.

— А доставка топлива на места?

— Совнархоз здесь — не при чем: это — дело Крайтопа.

— Ну, так вот что, Шрамм. Город и предместья должны быть насыщены топливом до зимы. Должна быть немедленно пущена электростанция завода и сооружен бремсберг на перевал. Совнархоз должен выполнить это задание спешно механической силой завода.

— Это дело — не мое, а Промбюро. Прикажет Промбюро — приступим к выполнению.

— Это дело наше, а не Промбюро, и мы его выполним без санкции Промбюро.

Впервые по лицу Шрамма легкой тенью прошла болезненная судорога. Но глаза по-прежнему оставались стеклянными и немигающими.

— Каковы наряды на жидкое топливо на долю завода?

— Наряды поступают неправильно. По отчетным данным, до 30% утечки. Из заводских запасов по нарядам, находящихся в резервуарах нефтеперегона, с разрешения Промбюро, приходится уделять некоторую часть паровым мельницам дополнительно к их нормам. Что касается электрификации завода и сооружения бремсберга, то это не входит в план настоящего года, утвержденный Промбюро. Вопрос этот нужно предварительно передать в Госстрой и промышленный отдел для разработки и составления надлежащих смет. При чем я буду решительно возражать против этого проекта, который ведет к расхищению народных денег и народного имущества.

В глазах предисполкома вспыхнули огненные капли.

— Ты не будешь возражать: мы сумеем тебя заставить — это знай. На предстоящем заседании Экосо — твой доклад. А теперь — вопрос: известно ли тебе, что охраняемое тобою народное достояние открыто расхищается?

Лицо Шрамма налилось кровью, и глаза покрылись мутью.

— Это мне неизвестно. По результатам переучета, все состоит в наличности.

Бадьин улыбнулся так же, как улыбнулся волпредисполкому Борщию

— Да, ты — прав: это потому, что Совнархоз стоит на точке зрения формальной охраны народного достояния.

Шрамм в страхе глядел на Бадьина и никак не мог осмыслить что сказал ему предисполком. Глеб выбил в пепельницу пепел из трубки. Узел первый, малый узел, завязан. Другие готовы на очереди Встал и протянул руку Бадьину. Встретил в глазах его улыбку и улыбка эта была без вспышек на лице.

— Товарищ предисполком, кишки порвем, поломаем кости, а свое дело сделаем.

— Кройте, товарищ Чумалов. А вопрос о пуске завода мы обсудим в ближайшем будущем.

— Ставим на ять, товарищ предисполком.

По-военному стал перед Шраммом.

— Но это ваше Промбюро я посылаю к чорту в затылок. Мы хорошо умеем выбивать пух. Весь Совнархоз вместе с вами мы пошлем чистить сортиры. Волокита и плесень родится в болоте, а болото мы тоже сумеем высушить.

Предсовнархоз посмотрел на него с изумлением. Кровь отлила от лица, и муть растаяла в глазах. Лицо опять стало нечеловечески напряженным и спокойно-рыхлым.

— Прошу без угроз, товарищ. Мы не принимаем никаких проектов, исходящих со стороны. Те же проекты, которые поступают к нам мы храним для истории без рассмотрения. Мы — враги всяких сомнительных предприятий и планов. Нужно отбить охоту ко всяким новым авантюрам у наших товарищей, и это будет надежная гарантия от всякого рода дезорганизаторских увлечений.

Глеб засмеялся. Воткнул трубку в рот, взглянул на Бадьина опять встретил улыбку, скрытую внутри глаз.

— Наши боты воняют пылью, товарищ предсовнархоз, и у них на подборах железные гвозди. А руки знают винтовки и молоты Вы это должны чуять, как коммунист. Вы — коммунист, а не имеете рабочей политики. Вы не нюхали ни пороху, ни рабочего пота. Начхать мне на вашу машину... Мы ее так кувырнем, что пыль забушует Знаем мы вашу шатию! У вас там целые полки крыс. Они здорово наточили зубы на бездельных советских хлебах. У вас — шито-крыто по часам, колесикам и чертежам, а мы насобачились нюхать и крыть хорошими барбосами.

У Шрамма опять налились мутью глаза, и он переломился в спине

— Товарищ Бадьин, я требую...

Но Глеб уже не слушал — шагал через огненные полосы к двери К Чибису! Никто так не нужен теперь, как товарищ Чибис.

2.

Глаза, которые видят по ночам.

В маленьком кабинете с открытым окном (густой свет не умещался в стенах комнаты) Чибис и Глеб сели у тяжелого бюро. Чибис будто улыбался и не улыбался — лицо было за сеткой. Будто открытый, с шалостью в бровях: вот-вот сейчас зальется смехом. И будто — хитрый, навсегда замкнутый в себе человек. Дрожит, паучится радость, ткутся и тают морщинки около глаз.

— Ты можешь, товарищ Чумалов, говорить сразу, если спешное дело, а можешь и немного спустя. Я как раз имею сейчас свободную минуту. Можешь говорить, что угодно. Шуруешь здорово с заводом?

— Пока что — мозгуем, а до дела — далеко. Бьем пока горлодером.

Чибис не слушал и щурил ресницы навстречу горящему воздуху.

— Я вот смотрю на море. Отсюда оно, как мыльный пузырь: горбится и краски этакие-такие. Видишь? Это — ни чох и ни сон. Покупаться хочется, или просто побыть на берегу. Так — просто: выскочить в другое измерение и — невидимкой... камешки побросать. И в лесу — хорошо. Море... Видишь, как оно зыбится и цветет? Я — здесь, а оно — там. У меня это — навсегда. Ты понимаешь, что это значит: навсегда?.. Это немножко пахнет психологией. Ты как насчет психологии?

— Вот туда, к чорту!.. Ну, раздави час и — кувырком лягушкой... Знаменитое дело!..

Не улыбка, а пыль на лице Чибиса. Поднял ресницы, и пыль смахнулась с лица. И будто близко, глаза в глаза, смотрел в Глеба изнутри ясным ребячьим взглядом. Почудилось ли Глебу, или забыл о себе Чибис, его зрачки блеснули слезой, как у ребенка, а за младенческими капельками неуловимая черная точка. Она билась, играла, прыгала в слезную капельку и отлетала назад, в глубину, исчезала, и опять появлялась и опять играла. И Глеб не мог уяснить, почему эта точка так больно царапала сердце. А почуял, что в этой самой бьющейся точке вертится особенный, собственный Чибиса, чорт. Не потому ли Чибис скрывает глаза под сеткою ресниц, чтобы ни он, Глеб, ни другие не увидели этого чорта?

Глеб взмахнул бровями и ждал, что скажет Чибис.

Капли младенческих слез, и за каплями — мятущийся чорт. Такие глаза не спят по ночам; они видят сквозь стены, а стены горят иными огнями. У Чибиса только свои слова, которые не скажутся никогда: они ночными образами роятся в клеточках мозга. Он говорит чужими, непонятными словами, и они плавятся у него в ребячью улыбку.

— Товарищ Чибис, я не знаю, какие у тебя слова, но этот, к чортовой матери, Совнархоз просится на мушку.

— Вот. И Райлес. И Внешторг. И еще, и еще...

— А разве нельзя взять на мушку весь Исполком?

— Вот. Совнархоз, это — гнездо, которое трудно взять голыми руками. Ты лопнешь, как дурак, со своими заводами и бремсбергами. Тут нужно бить крепко и наверняка.

— Что ты говоришь насчет предсовнархоза, товарищ Чибис? Я его сейчас крыл у предисполкома, но попадал через мишень в промбюро.

Чибис опять долго смотрел на море и горы, на облака, реющие в сини снежными сугробами, и в лице его опять ткалась и сдувалась паутинками младенческая улыбка.

— Ты видел, Чумалов, людей, которых расстреливают?

— Да, на войне. Сначала меня трясло: вспомнишь, как у них прыгали глаза, и внутри визжит, как у сукина сына...

— Вот. Именно, прыгают, а тело — мертвое и очень грязное. Такие умирают молча, еще при жизни. Ты кого предлагаешь в охотники за Совнархозом и Райлесом? Имей в виду, что самые умные и исполнительные работники, это — дураки. Они умеют видеть и брать...

Гимнастерка натянулась на груди Глеба и мешала ему дышать. Он встал и поперхнулся от смеха. Опять сел и положил кулак на стол, перед Чибисом.

— Цены тебе нет, товарищ Чибис...

А Чибис опять посмотрел на него сквозь сетку ресниц и опять стал замкнутым и далеким.

— Шрамм — твердый коммунист, и за свой аппарат он может умереть, как деревяшка. Это — коммунист, которого выпотрошили, а из оболочки сделали чучело, которого не боятся воробьи. Чучело упрямо и чисто от ошибок. Чучело, это — идеал, а в тряпках его скрывается всякая пакость. Дураки лучше, потому что они умеют мутить чистую воду... Ты знаешь, что такое необходимость, Чумалов? Чувствовать ее — это одно, а знать — другое. Не давай превратиться ей в фетиш, а то в мире ты будешь только один, и он обрушится на твои плечи. Земля тем неудобна, что по ней постоянно ползают ночи. Сумей необходимость обратить в собственную мысль, и ночи не будут пугать тебя призраками...

Глеб со смутной тревогой смотрел на Чибиса, и ему чудилось, что голова Чибиса растет, раздается в костях, трещит под напором мозгов, а руки не умещаются на столе и извиваются, как змеи.

— Товарищ Чибис, что ты будешь возражать против Жука? По твоему, он — плохой дурак?

— Вот. Мы договорились до конца. Пришли его завтра ко мне. Мы пошлем его на побегушки в Совнархоз и Райлес. Ну, уходи...

И отвернулся, не подавая руки. Нажал на косяке кнопку электрического звонка. У двери Глеб оглянулся и опять встретил чужое лицо. Хотелось сказать что-то важное и никак не мог вспомнить, что сказать.

— Товарищ Чибис, ты видел Ленина?

— Это — все равно... Видел... Не видел...

Глеб усмехнулся и недоверчиво дернул шлемом.

— Брешешь, товарищ Чибис, ты видал Ленина...

(Продолжение следует).

Пилип да не Пилипов.

(Рассказ).

М. Гамов.

I.

Не лугами — пашнями, не племенной скотиной — садами по всему окружью, из края в край славился совхоз Липовский. Мало не двадцать десятин тучного неуемного чернозема червоточиной изъели корни дерев, взасос вытянули соки, вынесли к свету. Листвяными шапками курчавились маковки; будто золото, налив антоновский гнул их к земле, а вишни — глаза невылитые — вызревали с воложский орех. Осенью вьючили спелым плодом караваны возов и обозом увозили в город, на станцию.

Не одного хозяина перерос сад, пока совхозским стал. При Липовецком, нрава строгого помещике, садили его; сыновья-офицеры с молотка спустили купцу Синеватому. В 17-м году незнаемо кто сжег дом, осенью пришли мужики — сад на дрова рубить. Брызнула сочным щепьем первая яблоня, да тело ее сырое, кволое, не на топливо выросло. Бросили, только кольем издубасили в склянки теплицу, в звоне том было погребение прошлому, вся накипевшая злость на него. С тех пор пошел надолго сад по мытарствам комбедским, да упродкомским с совнархозскими, покуда не передали его совхозу.

Прежний заведующий, совхозский агроном, Аполинарьев, за бесхозяйственность под суд ушел, и временно правил должность его полновластью ключник Агафон.

Морозное, зернистое утро, с столбами у солнца бросило к флигелю парные санки. От самовара увидел Агафон: завертелись по потолку над окнами бурые спицы, сквозь узорные россыпи искр на стекле черную кляксу саней. Метнулся к двери. Медвежья полость выплеснула, как памятник-монумент, человека бритого, разрумяненного, в бобрах, в фуражке с значком. Сшибся с ним Агафон на пороге, сломал шапку, поняв: начальник.

— Липовский совхоз это?

— Ет-та, ет-та!.. Пожалуйте, проходьте, раздевайтесь.

— Я сюда назначен заведующим! — а у самого воротник от мороза, что хвоя.

Поклонами горбатился ключник, залебезил, кинулся шубу снимать.

— Проходьте! Чайку не желаете ли?

— Там лошадей проведи и внеси чемодан!

— Глафира! пошла бариновых коней проведи, да чумудан ихний тащи, дура! Проходьте!

В уютно-заставленной комнате бил самовар заиндевелым деревом пара, и на его начищенном брюхе раскикиморилось мясляное лицо Агафоново. В стаканах теплился янтарный, пахучий чай; чашка меду липового, пышки, а с закоулков сносила Глафира к столу варенья-соленья разные.

Из своего стакана своей ложечкой потягивал чай угретый агроном Несвицкий и дивовался рассказам ключниковым о неурядицах совхозских. Пуще того—при осмотре. Заборы в саду развалились; по намети снежной — тропки заячьи от дерева к дереву, и кора на них изувечена. Суши-ломоти—не проглядеть.

Два зимних дня скоротал Несвицкий в совхозе и уехал.

Приземисто вьючилось небо мартовское. Снега осунулись, почернели, старушечьими заслезились глазами.

В стекла веранды видно: обтаптывают снег вкруг деревьев пятеро мужиков. Четверых нанимали — пятеро пришло и пятый старый, кряжистый, конусом книзу борода, что весло, каким бабы хлебы из печи таскают, зольное угляное — за главного у них. Отмяклой дорожкой к ним прошел агроном. Тенью след в след Агафон приплелся, оперся о дерево; лицо в заискивающую улыбку собрал.

— Василю Микитичу!

— Здравствуй, старик!

— Гринь, посвыже, посвыже притупывай, тужей!..

Голос у старика глубоко-грудной, говорит, ровно топором откалывает.

— Да я и так, Пилипыч, изо всей мочи стараюсь, ажно онучи наскрозь промякли.

Над головой кружево сучьев кораллом в снеге, в каплях талой воды на узлах и на почках.

— Ты что же, старик, у них за старшого?!.

— Мы-то! — лукаво подмигнул правым глазом, и глаза цвета печеных хлебов где-то в космах бровей потерялись, — у Гафона спроси!.. Мой и батька и дед тут работали и внукам и правнукам завет дали... За сторожа, значит, я!

— Разве тебя кто уже нанял?

— Меня-то?! Пилипа это Пилипова?! Да разе меня наймать надо? Сам знаю, раз пора пришла, без найма знаю!.. а без меня не обой-

дутся, да что... тебе Гафон обскажет... Обсохнет во, пилючить суш надо, вишь ее, сволочи, скоко.

— Ну, хорошо, Филипп, будь по-твоему, оставайся покуда Затем посмотрим.

В мае нежным румянцем, кровь с молоком, сады цветут и стоят груши-яблони в уборах из снежного цвета.

В мае дни бывают ветреные, тусклые; ломаясь, летят галки, космагится пыль над дорогами. К вечеру упадет ветер; горят зори: опаловые балясины вставляют в решетку заборов. Позже в пучину неба уйдет щербатый, голодно-обглоданный огрызок луны, паутиной изморози отливают поля в ее свете.

Грех тому, кто в ту пору не убережет нежного, сладостного цвета. Воскуривают фимиамы весне, терпким, густым пологом дыма укутывают сады.

И как ни задерживали люди цветенья садов,—распустились, расцвели они рано.

С вечера метался агроном, будто травленный. К градуснику; в бело-зыбкую храмину сада.

— Я вам, сволочи! Сгубите сад, сгубите! Чуть за чем сам не досмотришь, конец делу!..

— Не извольте сумлеваться, Василь Микитич, в лучшем виде упасем сад! Чего не упасти?! Упасти надыть! Беспременно надыть!

— На тебя вся надежда, Филипп! Ты, смотри, не жалей курева..

Звериный оскал зубов у Несвицкого.

В избагрово-седом мареве дыма маячат косолапые яблони, груши чистые, убранные — точно обмазанные сметаной — цветом. Не они привидения-люди бредут в эту пору от костра к костру, ковыряют вулканы курева, перхают от едкого дыма...

— Не ленись, братва! Эй, мешани огонь, чай не видишь, притухает

Под широкополой поярковой шляпой прячется лицо Пилипово только трубка шипит и извивается дымом, как змейка, жаля за губы Сквозь нее цедит Пилип слова.

А агроном со двора в сад, из сада на двор: смотрит, хорошо ли деревья укутаны.

Стеклится земля в лунном свете; свет разлился по окнам флигеля и не приметить, что смеется, прильнув к стеклу, хитрый ключник над Несвицким, над всеми, кто уберегают сады. Чуть гулкие шаги Несвицкого растолкают тишину комнат, к нему спешит Агафон.

— Василий Никитич! Охота вам так стараться, невричать; чай Пилип человек вопытный в этом деле: не допустит до погибели садов. Чайку не жалаете ли? Я всегда об этакую пору-с самоварчик держу. Право дело, не волнуйтесь!..

— Да что ты, Агафон, понимаешь!! Филипп само собой, а я не дай бог, что — за совхоз отвечаю!

Крупными глотками отхлебывал наспех чай Несвицкий — булькающе проваливался он в его горле — и спешил снова на двор, снова в сад.

— Хыть вы и спать идите, Микитыч! Ча тута глядеть, постараюсь...

На заре застыдится, порозовеет дым, а чуть в расписных, палевых сарафанах встанет солнце, камнями самоцветными рассыплется в полях, разбредутся рединкой дымы — не сыскать. Оглядит на восходе сады Пилип, подумает: „Ну, кажись, сберегли... а сады сядни цветут прямо, как дож“ — и пройдет к себе в будку соснуть.

II.

В большой комнате, с опущенными шторами, занимается счетовод Яша, Яков Адрианович Выползов.

Обои на стенах оборваны, штукатурка в крапинах клопиных гнезд. Где-то невидимо паук-трудовик экспроприирует муху, и кажется, будто он в содружестве с многими другими соткал сумеречный свет комнаты. Солнечный луч сквозь штору запутался, поломался в паутине и изломы его угловаты и резки.

К полудню наполнится канцелярия зноем, и вместе с ним придет Агафон. Хитрым, острым лицом в рыжих космах волос поведет от порога по комнате; лисьим носом звучно втянет воздух.

— Яша, здрасте!

От стола повернет Выползов свое выращенное в канцелярии сорокалетнее лицо, покрутит нафабренный ус. А брови его давно повыпадали; суконные волосы переходят в лысину на макушке.

— Ну, как оно, Агафон?

— Подождите ужо! будет дело.

— Когда мы, Агафон, в деревню сходим?

— Сходим и на деревню, дай срок.

Свои счеты и замыслы у Агафона с Выползовым, как со всяким другим — иные.

— Жалованье ти скоро давать будете?

— Жалованье?! Денег пока нет... А как же насчет того?..

— Самогонки - то?

— Да и самогонки, да и...

— Гляди, чичас итить будут!

Приподнимается штора и видать: плещутся изволоком в овсах ...гие платья. Плывут мимо окон стайки женские с кувшинами, с узелками; мужьям - родичам в сад обеды несут. Искоском тропу протоптали, словно холстину натянули белиться.

— Эта?

— Не.

— Эта? Эта?

В ухо с присвистом сопенье Агафоново, будто наворочался он за утро с кулями.

— Не-ээ...

— Эта?

— Ет-та, ет-та...

Овсами колыхается баба. А над ухом дыханье другое, не Агафоново. И поднял Яша глаза. В квадрат между луткой и головой ключниковой лицо агрономово, холеное, мытое, косматыми полотенцами утиранное и губы узелком алым.

— Что это вы здесь смотрите?

Агафон распластался у стенки.

— Так, Никитович: баб, вишь, разглядывали.

— Вы, Яков Адрианович, написали отношение и смету, что я говорил?

— Нет... но я напишу сейчас.

— Постарайтесь. Нужны средства, иначе совхозу грозит крах: сад даст прибыль лишь осенью... Каких баб, Агафон?

Оба они прилипли к окну.

— Пилипа, сторожа жинку глядели...

— Филиппа?.. Жинку?.. Он женат?..

— Не то, что женат, да вроде; хоть в церкви женились... ему под шестьдесят, ей чуть за двадцать!

— Так вот эта?

— Ета! Краля девка, смак самый... Подожжите, познакомлю с ею я вас.

Глаза землю рыли,— прошла баба.

— Так вы напишите. Я нарочным в город отправлю.

— А жалованье, Никитович, скоро будет? А то, сами знаете, деньги к ярманке нужны.

— К ярмарке дадим. Вот только бы из города получить!..

— Ти боится ён за совхоз, ти што? Заботлив больно.

— Так вот и не поглядели.

— Ина ипять итить будет,—увидите, Яша.

В воскресенье с полуден Несвицкий с Агафоном верхами объезжали деревни: на работу баб нанимали. На обратном пути Агафон заикнулся:

— Зайдем, Василий Никитович, в Паниковцы к Настасье Пилипихе, отдохнем, выпьем, ну, и... тут недалече.

На улице рои глаз жалили в лицо, одежду, коней. Недочуйно разевали рты, а у иных в поклоны ломались головы.

— Во... Гахвошка... почет вошел... ён хитрый... пройда...

Кудластые хаты - любопытницы — бабам подстать — озинулись окнами. У колодца Пилипова хата. На ставнях намалеваны синие листья

— Гей, Васильевна, иди гостей сустречать!

Мигнулось в окне испуганное лицо Настасьино.

— Ча пугаешься? Чай, не видишь, какого гостя доставил.

На дворе фыркали кони. Агафон, будто дома.

— Ставь-ка самовар, Настасьюшка, гостя принимай, потчуй... дь не чужой, чай, а хозяин — барин начальник. Я чичас оборочусь...

Огонь внутренний на щеки выплеснул, купиной неопалимой рело и не сгорало лицо.

Пилип с Власом друзья закадычные были. И хаты у них -- лова к голове. Вместе жили, вместе и бедовали. Пилип холост, ас — третий год жену схоронил: девчонка-малолеток осталась. В японую войну обои бок-о-бок бились, обои смерть принимали насильно. имозой выпростало кишки у Власа. Сказал он еще раньше Пилипу:

— Во што! Завет на тебя кладу. Коли убьют меня, девку, Настьт, не забудь; вместо себя ее препоручаю...

В воронку снаряда прикопали его. Вырастала Настасья на диво: ть и не в молоке купали... не душистым мылом умывали, не холись, не волилась, да выросла, расцвела, будто писанка. Завету верный, ерег ее Пилип; в возраст вошла — опасаться стал: не случилось бы го. Не один жених к Настасье сватался, но обдумал Пилип самому :ниться на ней. Не беда — разнолетки...

Как зачарованный загляделся Несвицкий на Настасью. Стан, как руна натянутая; коса черная, долгая, в руку.

К самовару вэрнулся Агафон. От двух бутылок, что горлышками карманов блестели, галифэ, штаны, оттопырились.

До него слышен мухи полет, а он, уже охмелевший, внес разнопосицу звуков.

— Ну, чаво надулись? Настька, что гниды уставила, гостя потчуй... й-ка „лампадик".

Наплескал в стакан самогонки желтой, невзрачной.

— Пейте, Никитович; Настька, садись и ты...

... Ой, ты Настя, моя Настя.
Ты...

Треснуто прозвенел его голос, когда Настя зарнистая села к столу. яно полез к ней. Оттолкнула.

— Не лезь...

— И в самом деле, Агафон, чего ты к ней пристаешь?

— Во, недотрога! Не сахарная, чай?

В хате, ровно, недоставало чего; было неловко натянуто.

Из угла глядел старый, облезлый Христос, страницы из „Безбожка" и „Крокодила" цвели богами. У зеркала трое дальних, но близ, известных везде, во всем свете: Ленин, Троцкий и Маркс.

— Мы раAи што?! Надыть ты нам: мужня жена. Мы выпить к тебе только.

Залюбовался Настасьей агроном, и глубоко запало к нему лицо ее молодое, не бабье.

III.

Будто ненароком по праздникам стал ездить Несвицкий в Пилипову хату.

На улице деревня зоркая, дошлая, головами качала:

— Не иначе, охаживает бабу... Пилипиху „земномер“. А все Гахвошка...

Сначала пугалась его Настасья. Конфузилась, алела стыдом. Привозил ей сласти, подарки... Разговоры были коротки и просты. И запросто отдалась Настя Несвицкому.

Радостно струились вечера те. В неге сладостной и неуемной месяц укутывал их своим крылом.

А утром люди, как пьяные... Тают в глазах поля пегие: кашка и загорелый хребет ржи. Глафира жарила Несвицкому сало. В сумеречную комнату кричал Пилип:

— Василь Микитич! ай спите... занемогли, вишню коли сымать будем? гли ровно жук. Да насчет колировки?

— Как знаешь, Филипп, если вишни поспели, можешь обирать. Агафону скажи, пусть распорядится.

— А вы ти занемогли?..

— Да так!..—и голос томный издалека.

— Дык на деревню послать за ребятами?!

В обеды приходила к нему Настасья, но Пилипу не дано все усмотреть: гирьки свинцовые под глазами, в теле разлитую томность.

Лишь Агафон знал про все это. Не дивился, отчего тупились и розовели при встрече агроном с Настей, отчего редко стала ходить она в сады к мужу, а Несвицкий так чудно обращался с Пилипом.

Поздно ложится, рано встает Пилип. За полночь тукает его колотушка; на заре посбирает он падалицу и кипятит себе чай. Сварит, напьется травяного отвара с ландрином, с хлебом, а потом два раза варит толченку.

К празднику, что подошел в конце лета, осталась у него краюшка хлеба да десяток картошек. Запас не великий! Настасья долго не приходила: работа; и решил Пилип сам сходить на деревню.

На околице встретил его Серега с бородой, ровно галкой в зубах.

— Хы! Пилипу Пилипычу и по деду с прадедом Пилипову, значит наше... Садами, грят, заповедуешь, что ли ча? На „земномеровом“

сте?! Местами поменямшись!.. — смех в бороду, а глаза — мыши ′стрые, серые.

В прощании лета дни есть, как золото. Деревня на солнце — лос спелый.

Не доглядел под поветью Пилип лошади, вошел в хату. Всколых-′лось и упало сердце. От двери глядел Пилип и лутка у него ко-ірьком над глазами. Чаевал агроном с Настасьей. На столе — сласти-·яники. На ней невиданная обнова.

— Так!.. Приятного вам япетиту: чай да сахар!

Пугано метнулись те.

— Вот утомился за день и заехал к Настасье Васильевне, жене оей, коня напоить... Агафон познакомил.

— Насть, налей-ка мне чаю... Чаго? садитесь, Василь Микитич: ıвает так.

Дрожь в голосе у того и другого.

— Нет, благодарствую, Филипп. Мне некогда, сам знаешь.

— Ну, как хотите! Собери-ка мне харчей, девк!..

Клубком у него под глазами: Настасья, Несвицкий, Агафон и все ›очее. Понял. Следом за агрономом ушел с кошелем за плечами.

Через край кипели работы в саду. По раз заведенному правилу, › календарю, как в осень, как в лето, весну и зиму. Люди сменяли одей. Несвицкий умело и дельно верховодил. В работе дивился ему илип, недоумевал Агафон:

— Из-за чего человек старается?!

У Агафона думки свои.

По̀том и кровью вскормленный, вызревал плод: румянец на ́локе, как мозоль кровавый. В брызгах крови рябина и барбарис.

Залегла мужицкая Пилипова дума дорогой долгой и завороти-ой. Мыслей космы.

В одну полночь ушел он из сада, растаял в куреве тумана. ıведал у Настасьи былое. Ногтем не тронул ее и тотчас вернулся ′ратно.

„Все, чего было святого, нарушил, разбил агроном. Да и святое ли? ıу, Пилипу, семый десяток; им, тем, обоим того не сыщется. По весне людей кровь бунтует... Эта и причина всему.

„Было — прошло! Так — не иначе! Но затяжелела Настасья, сама ′винилась: от агронома. Будет дитё. Отдать их обоих Несвицкому?!— непонюх опаскудит и бросит бабу. Нельзя.

„Не промозолит глаза она и у Пилипа. Была и будет его женой. : беда, что случилось таково. И дите бу́дет ихнее...“

Брызги мыслей и дум сгреб в кучу, сокрыл глубоко в себе Пи-п. На рассвете это было: никто не приметил.

А утром он будто прежний.

IV.

Как повисли на когтях дерев поденщики и затукала из корзи в кучи антоновка,—подошел Пилип к агроному...

— Василь Микитич!.. Дельце до вас одно есть.

— Говори.

— Н-да... Ездили летом вы к моей бабе...

Щеки Несвицкого красным яблоком.

— Откуда ты это взял?..

— Я все знаю... Ну, и затяжелела й-она... в положении, значи от вас...

— Что?! Что ты выдумал, старый дурак! в какую-такую истори ты меня хочешь запутать?.. Чушь мелешь! И не стыдишься?!.. Хам...

— Лаяться-то подожжите, дале видно дело будет.

— Нет, это выше всего... твои доказательства?.. ты знаешь, чт за клевету...

— Тады видать будем, правда-то ти кривда. Василь Микитич. вы не кипятитесь: она—дура баба—сама повинилась...

— Мало что тебе она скажет... Пшел вон...

Крутым поворотом ушел от Пилипа во флигель.

Осенью вычитал Несвицкий в губернских газетах, что Липовски совхоз принес доход. Впервые за последние годы. Газета валялас в канцелярии. Запрокинувшись в кресле, Агафон всунул в нее глаз Читал шопотом, складывая буквы.

Приходили мужики за расчетом. Щелкали счеты; Выползо рылся в книгах, привычно уже отзвякивал пятиалтынниками, шурша бумагой:

— Распишись!!!

— Во, вишь ты, ешшо весной работал, а когда получка...

— Ну, чаво прешь?! Не видишь? в затылок становсь, в очередь,- кричал Агафон из-за газеты.

— Да мы и так черед блюдем, Нилыч!

За расчетом пришел Пилип. Когда ему Выползов отсчитыва деньги, в светлую полосу двери глянуло лицо агрономово.

— Куды прешь? Сказано, туды нельзя!

— Мне надо!

В дверях, что вели в агрономову квартиру, в охапку пойма Агафон Пилипа.

— Василь Микитич...

От стола, будто нехотя, поднялся Несвицкий.

— Пусти, Агафон, и выйди.

Опали ключниковы руки, а за дверью прилип он к замочно скважине.

Комната в белых обоях; за окном чистая, свежая синь. Ветер космами ухватился за ветви дерев, закружил лиственным бураном.

— Ну... Я слышал, ты, Филипп, подаешь дело в суд? но у тебя нет доказательств; мало ли у вас в деревне охальников?

— Смеетесь вы, Василь Микитич! Я толк говорю. Любой мальчонка на деревне скажет: вы...

— Ну, так что ж с того? пускай я.

— Я обнаковенно на вас не обижаюсь. Сурьезно, не обижаюсь и укорять вас не буду и бабу тоже: грех попутал. Стар я — видите — и не годен... во, тут рана еще бередит: в японску войну получил... и грысть... Чую — не перемогу зимы, умру. А у ёй, у Настьки-то, дите ородится... от вас... Кормить его — гри — и некому будет. Так я во ради чего стараюсь. Пропитание ему дать... Вить выкахать его не шуточки...

Смехом неверным, деланным рассыпался агроном.

— Так вот ты ради чего всю кашу завариваешь?! Этому помо́чь можно: Настасье твоей мы сделаем аборт, ну, а тебе я дам сотнягу, согласен?

— Хы... Вы про попа, я про коммуниста. Не про то я. Зачем бабу портить; грех на себя принимать. Не, на аборту не согласен и на деньги тоже... Не было ребят у меня, а чую, мальчонка будет. Выкахаю, хоть не мой, не Пилипов, а Пилипом назову.

— Но заранее говорю, Филипп, не выгорит твое дело с судом. Законов таких нет.

— Не, есть. Теперича об этом забота большая...

— Филипп. Пойми же ты, что ты должен мне уступить. Сделаем так, что ни один человек не узнает и ты в накладе не будешь. А то доведешь дело до суда... Что скажут в городе родные, знакомые?! Филипп!..

— Не, не согласен. Любил кататься — люби и санки взвозить. Вы, конешно, на меня не обижайтесь, как и я на вас не обиделся... по совести поступаю...

— В таком случае, нам говорить нечего. Но ты подумай, не подавай в суд пока... Ты должен, обязан уважить мне...

Усмехнулся Пилип.

— Зарока я на себя не клал обязанным быть вам. Прощайте, покеле что. А место садовое, ежели жив буду, за мной. Прощайте!

Серега в лавке ЕПО перед мужиками распинался.

Собирались они у приказчика Конона Герасимовича по будням; толковали про дела мирские, про новости, сплетни.

— Во, восподи, дурак. Дурак и есть. Предлагал ему „граном“ сладнакать нащет Настьки... аборту, либо в воспитательный по рождению; ему сотню в зубы... дурак... А ён судиться, законы, вишь, нашел, чужое дитё кормить.

— Погоди, ён ему не один сотенный даст, тут своя цель!— на фоне полок с товарами говорит Конон. Борода у него клином; стрелки бровей поломаны, отчего лицо вечно смеется.

— Даст. Гли-даст! Ни черта с него Пилип наш не высудит... С ума выжил дед. Будет задармака, чай, чужое дитё кахать.. а позору?..

— Чудило ты мученик, Серега. Ума у тебя, что на самогонку хапает... Разе в деньгах толк? У принцыпи дело,— понял — в принцыпи Что бабу ён опаскудил, не сердую, как на духу говорю... и дитё, хоть и не свое — кахать буду... пусть задармака, как свое, родное... Своим сделаю!.. Мужиком... Пилипом, хоть и не Пилиповым...

— Панской крови дитё будет...

— Ну, дык што-што? Царенка давай с малолетья чем хошь сделаю... и мужика... Рази они разными родятся? небось, все одинаково а ужо жисть на каждого лапу ложит. Деньги „граномовы" на што й-ны мне?

— Не, дурак ты, Пилип, хоть и век прожил! К ему счастье, а он от счастья...

— А може и к счастью, почем ведать?

— Коли б мне, так цлу зиму: зубы на полку и пил. Месяца 6 на 4 хапило.

Цокала грязь под копытами, навстречу мимо бежала бурая лента изб. Закинули руки на кудластые головы, пальцы в коньки скрючив и не то плакали, не то смеялись.

У колодца, где лохмотья грязи лошади по колени, выплеснулась Пилипова хата. Узоры синих листьев на ставнях, горшок битый вместо трубы. В охапку хватал ветер прутья ракиты.

Настасья с утра на ручье полоскала белье, Пилип подбивал пенькой старый лапоть. За мутным окном чмяк, мотнулись галифэ, ровно доски, вверх поползшая морщинистая кожа куртки.

Узнал Несвицкого.

Через черный кубик сеней боязливо вошел этот в хату.

— Здравствуй, Филипп! А Настасьи Власьевны нет? Это хорошо..

— Драстуйте, драстуйте, проходьте, Василий Микитич!

Лапоть с колен клюкнулся о пол. Тараканы, бегавшие на середину избы пить, разнизались по углам.

— В последний раз говорю тебе, Филипп, подумай.

— Про что думать?.. Опять с прежним; я чай, скоро суд будет

— Значит, ты не согласен? В последний раз: двести тебе чистоганом, и я распоряжусь насчет аборта.

— Не... Бильярд давай, не возьму.

— Двести пятьдесят.

Вскинул глазами Пилип. В бороду время впутало много седых паутинок.

— Да што, „япошка“ тут тебе, что ли? расторговался! Сказано: не согласен... не торгую, да и не насчет торговли, чай, ты приехал? Не про што нам говорить, скоро видно будет, може, и ничего тебе платить не придется...

— Итак, не соглашаешься. Будет поздно и будешь жалеть...

— Не! Уходите, Василь Микитич! Ну, прощевайте... Увидимсь...

— Не согласен 300?

— Не...

Нагнулся за лаптем. Несвицкого не было.

За окном давешне мотнулась рыжая грива коня, галифэ, блескучие сапоги в калошах...

Точно муху со лба отмахнул Пилип свайкой в руке и стал выковыривать из лаптя старую „шворку“.

„Лешева сторонушка“.

Елена Зарт.

После долгих скитаний по горам и перевалам Маччинской и Фал
гарской волостей в погоне за басмачами — наш отряд пришел на стоянк
и отдых в большой кишлак Пенджикент.

Мы разместились по мусульманским глиняным кибиткам по дв
по три человека,—в зависимости от помещения.

Я взял с собой кубанского казака Бойко и Василия Лукича—дву
неразлучных приятелей, совершенно не похожих друг на друга.

Бойко — грубоватый, простодушный силач, молчаливый, неповоро
ливый. Он ко всему относится с ленивой насмешкой. Любит поес
и поспать. Не признает никаких нежных чувств и страстно преда
военной службе.

Василий Лукич — полная ему противоположность. У него смо
щенное маленькое личико, как у старика. Живой и общительный нра
Складная, несколько поэтическая речь и чувствительное сердц
Это — общий любимец в нашем отряде. Над ним подсмеиваютс
В шутку называют по имени и отчеству — „Василий Лукич“, — но о
пользуется всеобщим уважением и высшим авторитетом. Он не люби
Туркестана. Называет его:—„Лешева сторонушка“. И постоянно сравн
вает со своим Костромским краем, где заливные луга и сосновый бо
где ягода брусника, черная смородина, да клюква. Реки и озера -
тихие. Много зеленого простора. Нет ни снеговых гор, ни выжженны
степей.

Василий Лукич с Ветлуги. Говорит на „о“. Не пьет и не кури
Но изредка нюхает табак. К военной службе относится добросовестн
но решительно ее не любит. Его интересуют не столько басмач
сколько вся окружающая новая, и диковинная для него, жизнь. Он все
интересуется, обо всем расспрашивает, все хочет уяснить себе. „Стары
закон“ мусульманской жизни ему не по душе. Он неодобрительн
крутит головой и постоянно повторяет свое излюбленное:

— Ну и лешева сторонушка!

Прибыли мы в Пенджикент накануне мусульманского Нового года.

Говорят, на Кайнаре будет:

— Томашо [1]).

Разузнал об этом, конечно, Василий Лукич.

После напряженного душевного состояния в походе, после диких безлюдных гор с обвалами и пропастями, после ночевок на снегу в холоде и сырости, — хочется развлечься и отдохнуть.

Идем на Кайнар.

Василий Лукич весело подмигивает степенно идущим по узким улицам мусульманам и говорит, коверкая слова:

— Тумашо мекунат! [2]).

В ответ ему одобрительно скалят зубы и говорят что-то по-таджикски. Но Василий Лукич ничего не понимает — он знает всего несколько слов и объясняется больше жестами.

„Кайнар“, это — пещера, из которой вытекает громадный источник, через систему „арыков“ снабжающий водой весь Пенджикент. Там растут столетние тутовые деревья, тополя и грецкие орехи. Поляна заросла высокой зеленой травой. На пригорке чайхана [3]) с сурфой [4]), окруженной низенькими перилами. На ветвях—неизменные перепелки в клетках, — любимые птицы мусульман.

Идем узкими проходами между садами. По обе стороны, почти стена к стене, высокие дувалы, из-за них свешиваются цветущие белые деревья абрикосов и нежно-розовые ветви персиков.

— Ишь, как живут, — говорит Василий Лукич:—каждый сад сам по себе, — как в монастыре.

Бойко не доволен, что его вытащили из дому. Он ворчит:

— Охота была смотреть... Дувалов не видали, что ли!..

— Плясать будут.

— Знаю я, топчется на одном месте, да руками крутит, — вот и все плясы.

На Кайнаре уже большая толпа — человек двести. Белые, синие, пурпурово-красные чалмы, разноцветные халаты похожи на громадный, живой колышащийся цветник, где собраны все краски, в диких, неожиданных сочетаниях! Желтые и темно-синие полосы. Нежно-голубые полумесяцы и зеленые звезды, черно-фиолетовые, палевые, огненно-красные узоры. Все залито блистающим солнцем. Покрыто кружевом прозрачных весенних теней.

На сурфах и прямо на траве разостланы ковры. Сидят молча. Или говорят вполголоса, — так что говор толпы похож на шелест листьев.

Василий Лукич уже узнал, что скоро придут „джюваны“, что спустятся они вон по той дороге, с горы Кайнар, что будут плясать

[1]) Гулянье.

[2]) Гуляем.

[3]) Чайная.

[4]) Возвышение из глины, на котором сидят и пьют чай.

на ковре, который уже разостлан во всю поляну под тутовыми деревьями.

— А потом плов будет, — сообщает он Бойко, чтобы его утешить.

На горе, из-за деревьев показалась толпа.

Она то останавливается, то срывается с места, подымая столбы пыли, и с диким криком: — а - а - а!.. — несется вперед. Это шел джюван [1]). У него были распущенные, как у женщины, черные волосы. Яркий полосатый халат. Накрашенные губы и подведенные глаза.

Во время танца толпа окружала его кольцом. Когда он кончал и стремительно, почти бегом, шел вперед, — все бросались за ним.

Вот они уже над самой пещерой Кайнара. Огибают ее. И неудержимым потоком, ослепительно ярким, как и толпа внизу, но неистово шумным, — заполняют поляну.

Впереди усаживаются музыканты и „хор". Это — полураздетые, загорелые люди с бубнами. Джюван снимает кауши [2]) и босой выходит на середину ковра. Лицо у него бледное. Напряженно застывшее. Он сосредоточенно смотрит перед собой в одну точку.

Толпа кругом жмется чалма к чалме.

Удар бубна, — сначала глухой, потом резкий. Один за другим. Чаще и чаще. Джюван поднял над головой кисти рук с тонкими накрашенными пальцами.

Хор приветствует это движение таким же диким воем:

— А - а - а - а!..

А бубны выбивают сплошную оглушительную дробь.

Джюван пляшет. Ноги его медленно, почти незаметно передвигаются по ковру. Вся фигура—неподвижно-напряженная. Танцуют одни кисти рук. То судорожно порывисто, то плавно двигает он ими в воздухе, в такт исступленному крику „хора" и ударам бубна.

Незаметно ускоряет он темп пляски. Музыканты приподнимаются на колени, головы запрокидываются назад, с искаженными дергающимися лицами бьют они все сильней и чаще в свои бубны. Хор время от времени прерывает их оглушительным воем:

— А - а - а!..

И тогда вся толпа, окружающая кольцом джювана, как бы вздрагивает, точно и ей передается это неистовое исступление.

По кругу ходит человек с большой пиалой [3]) и дает то одному, то другому музыканту хлебнуть зеленого чаю. За ним другой подносит чилим [4]).

А солнце уже высоко. Оно жжет и пронизывает густую листву.

В ушах звенит и голова идет кругом.

Василий Лукич вид имеет растерянный.

---

[1]) Танцор.

[2]) Туфли.

[3]) Чашка.

— Не нравится? — спрашиваю я его.

— Да-а! — тянет он, — одно слово — лешева сторонушка. Азиаты на людей не похожи.

Бойко выражается кратко:

— Как черти.

Василию Лукичу не сидится на одном месте. Он где-то достал удочки и решил рано утром итти на рыбную ловлю.

Бойко отказался наотрез.

— Хватит джюванов, — сказал он.

Я согласился, и мы, чуть стало светать, отправились на Зеравшан.

Летом Зеравшанская долина, выжженная солнцем, похожа на пустыню. Странно видеть среди желтых, как песок, сожженных берегов серебристые нити реки, разбивающейся на множество рукавов.

Но весной ее нельзя узнать. Это—совсем другой край.

„Зеравшан“ по-русски значит — „рассыпающий золото“. Но эту землю превратить в золото может лишь весна, с ее долгими теплыми дождями и, главное, туркестанское солнце! Такого солнца нет нигде. Здесь его царство! На долгие месяцы уходят с темно-голубого неба облака и тучи — и оно блистает, не зная ни малейших преград. Пронизано его лучами решительно все! Точно заткано золотыми нитями небо. Трава кажется прозрачной от солнечных лучей. Горит отблеск солнца в белых душистых цветах миндаля и черешни. Оно осыпает цветущие деревья жемчугом и изумрудом. Оно зажигает белым пламенем вершины снежных гор. Оно проникает в глубь земли. Оно в каждом движении, оно везде и во всем. Оно землю превращает в „золото“, а золото в жизнь.

Даже Василий Лукич говорит:

— Хорошо! Солнышко, как у нас на Ветлуге... Только горы здесь: негде ему разгуляться!.. Ишь торчат, — все небо загородили...

Но говорит он это благодушно, про лешеву сторонушку не упоминает. Зато река вызывает его возмущение. Когда мы спускаемся с крутизны в долину и подходим к первому широкому рукаву, — он уже руками всплескивает:

— Да разве это река!.. У нас такой-то бывает спуск на мельнице, не река...

Как же удить-то? Тут не то что лёсу, — а и тебя унесет...

Река действительно больше похожа на водопад, чем на реку. На перекатах с брызгами и грохотом мчатся темно-желтые волны, там, где поглубже, они разбиваются водоворотами, и кажется, что вода кипит и пенится в своем стремительном движении.

— Ну река... Ну и лешева сторонушка, — крутит головой Василий Лукич.

Но все же распутывает лёсу. Насаживает червя, как-то по-особенному, по-ветлужски, „двойной петлей“, — и бросает в эту пучину.

на ковре, который уже разостлан во всю поляну под тутовыми деревьями.

— А потом плов будет, — сообщает он Бойко, чтобы его утешить.

На горе, из-за деревьев показалась толпа.

Она то останавливается, то срывается с места, подымая столбы пыли, и с диким криком: — а - а - а!.. — несется вперед. Это шел джюван [1]). У него были распущенные, как у женщины, черные волосы. Яркий полосатый халат. Накрашенные губы и подведенные глаза.

Во время танца толпа окружала его кольцом. Когда он кончал и стремительно, почти бегом, шел вперед, — все бросались за ним.

Вот они уже над самой пещерой Кайнара. Огибают ее. И неудержимым потоком, ослепительно ярким, как и толпа внизу, но неистово шумным, — заполняют поляну.

Впереди усаживаются музыканты и „хор". Это — полураздетые, загорелые люди с бубнами. Джюван снимает кауши [2]) и босой выходит на середину ковра. Лицо у него бледное. Напряженно застывшее. Он сосредоточенно смотрит перед собой в одну точку.

Толпа кругом жмется чалма к чалме.

Удар бубна, — сначала глухой, потом резкий. Один за другим. Чаще и чаще. Джюван поднял над головой кисти рук с тонкими накрашенными пальцами.

Хор приветствует это движение таким же диким воем:

— А - а - а - а!..

А бубны выбивают сплошную оглушительную дробь.

Джюван пляшет. Ноги его медленно, почти незаметно передвигаются по ковру. Вся фигура—неподвижно-напряженная. Танцуют одни кисти рук. То судорожно порывисто, то плавно двигает он ими в воздухе, в такт исступленному крику „хора" и ударам бубна.

Незаметно ускоряет он темп пляски. Музыканты приподнимаются на колени, головы запрокидываются назад, с искаженными дергающимися лицами бьют они все сильней и чаще в свои бубны. Хор время от времени прерывает их оглушительным воем:

— А - а - а!..

И тогда вся толпа, окружающая кольцом джювана, как бы вздрагивает, точно и ей передается это неистовое исступление.

По кругу ходит человек с большой пиалой [3]) и дает то одному, то другому музыканту хлебнуть зеленого чаю. За ним другой подносит чилим [4]).

А солнце уже высоко. Оно жжет и пронизывает густую листву.

В ушах звенит и голова идет кругом.

Василий Лукич вид имеет растерянный.

---

[1]) Танцор.

[2]) Туфли.

[3]) Чашка.

[4]) Сосуд с горлышком, — как у чайника, — из которого курят.

— Не нравится? — спрашиваю я его.

— Да-а! — тянет он, — одно слово — лешева сторонушка. Азиаты. И на людей не похожи.

Бойко выражается кратко:

— Как черти.

Василию Лукичу не сидится на одном месте. Он где-то достал удочки и решил рано утром итти на рыбную ловлю.

Бойко отказался наотрез.

— Хватит джюванов, — сказал он.

Я согласился, и мы, чуть стало светать, отправились на Зеравшан.

Летом Зеравшанская долина, выжженная солнцем, похожа на пустыню. Странно видеть среди желтых, как песок, сожженных берегов серебристые нити реки, разбивающейся на множество рукавов.

Но весной ее нельзя узнать. Это—совсем другой край.

„Зеравшан“ по-русски значит — „рассыпающий золото“. Но эту землю превратить в золото может лишь весна, с ее долгими теплыми дождями и, главное, туркестанское солнце! Такого солнца нет нигде. Здесь его царство! На долгие месяцы уходят с темно-голубого неба облака и тучи — и оно блистает, не зная ни малейших преград. Пронизано его лучами решительно все! Точно заткано золотыми нитями небо. Трава кажется прозрачной от солнечных лучей. Горит отблеск солнца в белых душистых цветах миндаля и черешни. Оно осыпает цветущие деревья жемчугом и изумрудом. Оно зажигает белым пламенем вершины снежных гор. Оно проникает в глубь земли. Оно в каждом движении, оно везде и во всем. Оно землю превращает в „золото“, а золото в жизнь.

Даже Василий Лукич говорит:

— Хорошо! Солнышко, как у нас на Ветлуге... Только горы здесь: негде ему разгуляться!.. Ишь торчат, — все небо загородили...

Но говорит он это благодушно, про лешеву сторонушку не упоминает. Зато река вызывает его возмущение. Когда мы спускаемся крутизны в долину и подходим к первому широкому рукаву, — он даже руками всплескивает:

— Да разве это река!.. У нас такой-то бывает спуск на мельнице, а не река...

Как же удить-то? Тут не то что лёсу, — а и тебя унесет...

Река действительно больше похожа на водопад, чем на реку. На перекатах с брызгами и грохотом мчатся темно-желтые волны, там, где поглубже, они разбиваются водоворотами, и кажется, что вода кипит и пенится в своем стремительном движении.

— Ну река... Ну и лешева сторонушка, — крутит головой Василий Лукич.

Но все же распутывает лёсу. Насаживает червя, как-то по-особенному, по-ветлужски, „двойной петлей“, — и бросает в эту пучину.

Лёсу подхватывает, треплет в воде и сразу относит почти к берегу. Василий Лукич вынимает ее. Упрямо закидывает снова. И снова ее бьет к камням, к берегу.

Но вот почти у самого берега лёсу с силой тащит вниз.

— За камень зацепило, — досадливо говорит Василий Лукич хочет вынуть, но лёсу держит и дергает вниз по-прежнему.

Василий Лукич с трудом поднимает удилище и вытаскивает на берег крупную губастую рыбу, сверкающую на солнце мокрой желтоватой чешуей. Это — „маринка". Василий Лукич называет ее „маренкой". От неожиданности у него даже руки дрожат, и он топчется около бьющейся на камнях рыбы, не зная что̀ с ней делать.

— Ишь ты... Ишь ты... У берега попалась... Все не по-нашему... Разве на камнях рыбу ловят?..

Наконец, он справляется с своей добычей и закидывает снова. Но сколько ни сидели мы, — сколько на новые места ни переходили, — не поймали больше ни одной.

Шли домой, и Василий Лукич говорил:

— У нас реки-то — Ветлуга, Унжа да Пенджа... Тихие, как озера... Берега ровные, зеленые. Места рыбные. Пойдешь, вот так, на рассвете, посидишь... рыба клюет разная — и язь, и окунь, и ерш, — а то сорога с красными глазами... А уж воздух какой... Просторно... весело...

Глаза у Василия Лукича делаются влажные, и он продолжает:

— А то сядешь в лодочку, выедешь на середину... Вода словно и не двигается... так чуть покачивает... Бросишь камень на веревочке и стоишь... Раздолье!.. Посмотришь вдаль-то — верст на пять видно... А по правому берегу сосновый бор... Воздух-то душистый, теплый... А здесь что?.. Нет ничего!..

— Лешева сторонушка, — засмеялся я.

— Истинно „лешева", — с чувством подхватил он: — у нас на Ветлуге-то не дождешься, когда снег стает. А уж как стает — благодать. Пойдут цветы... пчелы роями вьются... соловьи поют... Вода разольется — все луга затопит... Матушки мои!.. Ширь-то какая... Сердце радуется... — И чтобы скрыть свое волнение он достает табак и шумно набивает им нос. — Да-а... — тянет он, несколько уже успокоившись: — привольное место...

— Ну, вот, скоро вернешься, — говорю я.

— Скоро вернусь, — задумчиво повторяет он: — помирать больно здесь не охота. Уж коли лежать — по крайней мере на своей земле... А тут что̀? Одно слово — лешева сторонушка. Еще шакалы выкопают. Ну их...

. . . .

Отдыхать в Пенджикенте не пришлось. Получили приказ итти в Машан-Фаробскую волость: там появились басмачи, по сведениям

Вечером все были в сборе, и ночью мы двинулись в поход.

Черной змеей кажется в темноте растянувшийся отряд... Лошади фыркают. Копыта четко ударяются о камни. То тут, то там на дороге вспыхивают искры. Холодно.

Говорят вполголоса. Бойко едет рядом со мной и нелепым сиплым дискантом напевает себе под нос какую-то песню.

Василий Лукич молчит и, загнув голову, смотрит на небо, где разноцветными огнями переливаются звезды.

— Спать хочется, — зевает Бойко.

— Утром выспимся, — говорю я.

— Где?

— В Машане, — на рассвете должны быть.

Василий Лукич подъезжает ко мне совсем вплотную и говорит:

— А что эти звезды видны, например, в Ветлуге?

— Видны, — отвечаю я.

— И вот совсем так же — как здесь, так и там?..

— Так же.

— Дивное дело. Подумать только. Сидят, может быть, сейчас в городе Ветлуге на крылечке старики мои и смотрят на эти самые звезды...

— Ну да, — перебивает Бойко: — сидят! Выдумаешь... Мы только как окаянные по ночам крутимся, а добрые люди давно спят.

Бойко не сочувствует поэтическим разговорам.

Василий Лукич вздыхает и снова начинает смотреть на небо.

Едем молча.

Дорога круто поднимается в гору. Становится еще прохладней. Где-то далеко завыли шакалы. Точно дикая толпа людей со смехом и плачем несется по горам.

— Ни дать ни взять — джюваны, — сонно говорит Бойко.

— Не люблю я их, — отзывается Василий Лукич:—ходил я по мусульманскому кладбищу, сколько могил подрыто. Нора большая сделана, — в самую могилу... Ишь, точно леший заливается...

— На то и „лешева сторонушка“, — подшучивает Бойко.

Но Василий Лукич настроен как-то необыкновенно серьезно. Он все вздыхает и смотрит на небо.

Разговор обрывается, и дальше всю дорогу мы едем молча. Да и нигде не слышно голосов. Тропа узкая. Трудно ехать по нескольку человек в ряд.

Тянет предрассветный ветер. Налево от нас, за горною цепью чуть наметилась палевая полоска. Скоро рассвет.

— Приехали, — говорит сзади чей-то голос.

И в самом деле вдоль дороги сереет неровными уступами развалившийся дувал...

Въезжаем в кишлак.

После опроса жителей мы решили передвинуться в соседний кишлак Фароб верст за пятнадцать от Магиана.

Я взял Василия Лукича, и мы поехали вперед.

Мы знали, что местные жители, боясь расправы басмачей, могли дать нам неточные или даже неверные сведения, — но во всяком случае мы не сомневались, что басмачи двинулись именно в эту сторону — и ушли по крайней мере верст за сорок.

Солнце поднялось высоко. По горам, освещенным сбоку, потянулись синеватые тени, точно морские волны. Прозрачным кружевом обозначились на нежном утреннем небе контуры снежных гор.

Ветер свежий. Почти холодный. Но в нем уже теплыми струями пробивается солнечное тепло.

Весело было на душе.

Василий Лукич, щурясь и едва сдерживая беспричинную улыбку говорил:

— Ну, как же не сказать: лешева сторонушка! Ведь подумать только: какая земля! Всякое плодородие!.. Живи!.. Нет поди ты: „басмачи"! Гоняйся за ними... И себе покоя не дают, и нам забота...

— А ведь хорошо, Василий Лукич, — не хуже, чем на Ветлуге? — сказал я.

— Хорошо, слов нет. Да чужое. Вот что главное!.. Там родное все. Может и плоше, да свое. Горы взять... Конечно, высота большая, снег и все такое, а какой толк?.. То ли дело наши заливные луга, да озера... Опять рыба? — „Маренка" — и больше нет ничего... А мы ам сомов по три пуда ловили. Вот это рыба!.. Как-то я с меньшим братом с бреднем пошел. По заливчику. А буря прошла. Мы уже наем, после бури сом всегда в тихое место отдыхать идет. Не захваим ли, думаем? Да... Он, значит, на первой кляче идет, у берега... вглубь. Только загнули в заливчик — встал бредень — и шабаш!.. Не пускает мотня... Что ты будешь делать!.. Бревно, думаем, зацепили, е иначе!.. Митька, братишка мой, и кричит: — „Давай на берег, а то бредень порвем"... Хорошо... Тащим... Ну и вытащили корягу! сом два уда десять фунтов... Вот тебе и бревно! — засмеялся Василий Лукич.

— Сильно бился на берегу? — спросил я.

— Нет, не бился... Ворочал легонько хвостом, вот так, — показал н рукой, а чтобы бился, скажем, как вот эта маренка — нет...

Но не успел Василий Лукич кончить фразы, как оба мы, сразу, видали в шагах двухстах, за дувалом, горевшие на солнце стволы интовок.

Несколько человек в темно-синих чалмах вскочили на дувал и ричали нам что-то.

— Ишь ты, не стреляют, — шопотом сказал Василий Лукич, — хот живьем взять.

Не теряя ни секунды времени, мы повернули лошадей и бросились назад. Вслед за нами, как пчелы над ухом, запели пули.

Мы знали, что нам не уйти на своих усталых лошадях от их бешеных выкормленных коней. Но мы хотели доскакать хотя бы до маленького прикрытия — попытаться отстоять себя до прихода отряда.

Впереди — брошенная чайхана с оставшимся куском дувала. Угадывая мысли друг друга, мы с Василием Лукичем скачем туда. Нам не нужно ни камчи, ни шпор. Лошади наши напрягают оставшиеся силы, точно и они чувствуют, что там впереди, у этой глиняной глыбы единственная надежда на спасение.

Сзади—ни одного выстрела. Ясно, что нас решили взять в плен. Но только бы доскакать. Мы не допустим их к себе. У нас две ручные гранаты и достаточно патронов.

Мы на глаз прикидываем оставшееся расстояние, — и скорость, с которой приближаются сзади удары копыт: успеем или не успеем?

Лошади наши вытянули шеи — и хрипят, задыхаясь от бега. Уже видны торчащие из дувала кирпичи и огненно-красные маки на глиняной крыше.

— Успеем или не успеем!..

Все мысли, все движения, каждый мускул — все сосредоточено на одном, — доскакать во что бы то ни стало!..

А сзади, точно совсем рядом, звенят копыта. Дышат лошади и люди. Глухие удары камчи. Гортанные крики...

Но и мы у цели. Почти на всем скаку спрыгиваем с седел. И в несколько прыжков скрываемся за дувалом.

Басмачи от нас на расстоянии не более двадцати саженей. Их — человек пятнадцать. Потные скуластые лица в темных чалмах. Это узбеки. Впереди на великолепном белом коне — это наверное „курбаши“ [1]).

Силы наши слишком не равны! Но у нас есть, чем остановить их! Пусть потом обстреливают из винтовок.

Я бросаю гранату. Оглушительный взрыв. Лошади взвились на дыбы и рванулись в сторону. В догонку мы шлем им несколько пуль.

— Не нравится! — говорит Василий Лукич, видя, как басмачи в беспорядке скачут по открытому полю, с трудом сдерживая лошадей.

Они разбиваются по одиночке и кольцом окружают нас. Но стоят в отдалении.

Отчаявшись взять живыми, начинают обстрел. Один выстрел за другим, то с одной, то с другой стороны — заставляет нас ежеминутно менять прикрытие. Согнувшись, мы перебегаем от одной глиняной глыбы к другой.

Василий Лукич вдруг обозлился. Он выпрямился во весь рост. Поднял винтовку на виду. Долго целился. И выстрелил.

---

[1]) Начальник шайки.

Басмач в синей клетчатой чалме, самый крайний от нас, закачался, ткнулся лицом вперед и скатился на землю. И вдруг неожиданно все басмачи, как один человек, разом повернули своих коней и бросились прочь...

А с другой стороны в то же время до нас донесся знакомый гул — похожий на отдаленный беспрерывный гром... Это показался отряд...

Когда мы вышли из нашего прикрытия и подошли к валявшемуся на дороге басмачу, — отряд уже крупной рысью подъезжал к нам.

Басмач стонал. Пуля насквозь пробила ему плечо. Он был бледен, и загорелое лицо казалось серым, как пыль. Узкие черные глаза смотрели не на нас, а куда-то в пространство. И были совершенно безучастны.

Василий Лукич нагнулся над ним и, поясняя жестами, спросил:

— Кассаль?.. [1]) Где? Даст?.. [2])

Раненый узбек не понимал по-таджикски. Не отвечал и по-прежнему смотрел в сторону.

Но мы уже двигались в погоню. Терять время было нечего.

Кто-то спросил:

— Пристрелить?

Но Василий Лукич не дал мне ответить и решительно заявил:

— Нельзя!.. Доставим куда следует... Там как хотят...

— Что же нянчиться с ним? — проворчали кругом.

— Дело мое, — непривычно сурово отрезал Василий Лукич.

Он помог раненому подняться. Усадил его на седло. Сам сел за его спиной и, придерживая одной рукой, медленно поехал сзади отряда.

— Охота тебе, Василий Лукич, с этой собакой возиться? — сказал ему Бойко на одной из стоянок.

— Куда ж я его дену? — оправдывался Василий Лукич: — надо доставить по начальству. В целости. Там разберут.

— Ты хоть бы руки ему связал...

— На что его связывать? Он и без того на ногах не стоит...

С узбеком он вел такие разговоры:

— Нома чи? [3]) — спрашивал он его.

Узбек отвечал что-то непонятное.

Но Василий Лукич почему-то решал:

— Курхан, говорит, его зовут. Видишь ты, какое чудное имя.

— Чай даркор? [4]) — спрашивал он его.

---

[1]) Больно.

[2]) Плечо.

[3]) Как имя?

Узбек кивал головой. И Василий Лукич приносил ему свою большую кружку чаю.

— На, пей.

Узбек с жадностью припадал к кружке и, закрыв глаза, не отрываясь, выпивал ее всю.

— Зани хаст? [1]) — допытывался у него Василий Лукич.

Узбек опять лопотал что-то, и Василий Лукич объяснял:

— Есть, говорит.

— Бача хаст? [2]) — продолжал Василий Лукич.

Узбек утвердительно кивал головой.

— Ишь ты, — говорил Василий Лукич: — дети есть... Эх ты!.. Зачем же ты за поганое дело взялся? Мало тебе земли-то! Работай себе. Ну, чего хорошего? Дети дома, жена. А ты валяешься тут! — горячо объяснял ему Василий Лукич, забывая, что узбек не понимает ни одного слова.

Он разорвал свою старую рубашку, сделал из нее бинт и перевязал ему плечо.

Узбек стонал во время этой операции. А Василий Лукич говорил:

— Кассаль небось? То-то же. Сидел бы дома. Не разбойничал — вот и не было бы „кассаль“... Когда приедешь в Самарканд, — учил его Василий Лукич: — кани био Самарканд ба [3]) — гуфти — виноват, мол, больше не буду грабить — басмач даркор ни... простите, мол... понял? Метони?

Узбек кивал головой, видимо не понимая ни одного слова.

Но Василий Лукич не смущался:

— Скажи... зани, мол, хаст, бача хаст... Мишют декхан... крестьянин буду... отпустите, мол, грех попутал... Ганда бут [4])... теперь, мол, мишют накс [5])... Понял?

Узбек продолжал смотреть в одну точку и равномерно в такт речи Василия Лукича кивал головой.

— Эх, лешева сторонушка! — заканчивал свою беседу Василий Лукич, — и разбойники-то ни на что не похожи... Какой он разбойник! Небось и винтовку-то держать не умеет...

И вот, что случилось.

Когда отряд наш, через несколько дней собирался двинуться в обратный путь, узбек воспользовался общей сумятицей, вскочил на одну из лучших лошадей и помчался в горы. В руках у него блестела винтовка. Он припал к седлу и неистово погонял лошадь.

---

[1]) Жена есть?

[2]) Дети есть?

[3]) Когда приедешь в Самарканд, скажи.

[4]) Скверный был.

[5]) Буду хороший.

Василий Лукич и еще несколько человек бросились за ним. Дали залп... Лошадь, должно быть раненая, взвилась на дыбы и полетела еще быстрей.

Узбек повернулся и, держа винтовку одной рукой, выстрелил в догонявших.

Нам издали видно было все.

Передние лошади пронеслись дальше. А скакавший сзади Василий Лукич подпрыгнул на седле, как-то странно развел руками и упал навзничь на дорогу.

Когда мы подбежали к нему, он тяжко хрипел и изо рта его шла кровь. Он был ранен в грудь навылет.

Отнесли в кибитку. Уложили на мягкие одеяла. Он долго не приходил в сознание. В бреду говорил:

— Дышать тяжко... Горы... Лешева сторонушка... У нас реки-то тихие... приволье... Старикам напиши... Небось сидят... ждут... Напиши... Ничего, мол, накс... Охо-хо-хо! — тяжело вздыхал он. И все хотел приподняться, но не мог и падал опять на одеяло.

К вечеру, когда силы совсем уже оставляли его, он неожиданно на несколько последних минут пришел в сознание. Увидал меня и глазами подозвал к себе.

— Помираю, — сказал он, тяжело переводя дух и едва выговаривая слова, — не хотел на чужой стороне... судьба... Напишите старикам... представился, мол...

И, помолчав, совсем тихо сказал:

— Фуражку дай...

Я думал, что он снова начинает бредить.

Но Василий Лукич настойчиво повторил:

— Дай фуражку...

Он сказал:

— Будешь в России... брось... понял?..

Я кивнул головой.

Это были последние его слова.

Тамара и Демон.

От этого Терека
в поэтах —
истерика.
Я Терек не видел.
Большая потерийка!
Из омнибуса
в развалку
Сошел,
поплевывал
в Терек с берега,
совал ему
в пену —
палку.
Чего же хорошего?!
Полный развал.
Шумит
как Есенин в участке,
Как будто бы
Терек
сорганизовал
проездом в Боржом
Луначарский.
Хочу отвернуть
заносчивый нос
и чувствую —
стыну на грани я.
Овладевает
мною
гипноз
воды
и пены играние.
Вот башня
револьвером
небу к виску

разит
красотою нетроганной.
Поди
подчини ее
преду искусств
Петру Семенычу
Когану!
Стою
и злоба взяла меня,
Что эту
дикость и выступы
с такой бездарностью
я
променял
на славу,
рецензии,
диспуты.
Мне место
не в „Красных Нивах“,
а здесь
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь
срывая
струны гитарам.

Я знаю мой голос
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал
не усомнится —
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится.
Взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком,
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
Царица вы
или прачка.

Тем более
с песен
какой гонорар?!
А стирка
в семью копейка.
Даром —
не много дарит гора,
лишь воду —
поди
попей-ка!
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему
вы ж знаете как
Под ручку...
любѐзно...
— Сударыня!
Чего кипятитесь
как паровоз?!
Мы
общей лирики лента.
Я знаю давно вас
мне
много про вас
говаривал
некий Лермонтов.
Он клялся,
что страстью
и равных нет.
Таким мне
мерещился образ твой.
Любви я заждался —
мне 30 лет.
Полюбим друг друга!
Попросту.
Да так,
чтоб скала
распостелилась в пух,
от чорта скраду
и от бога я
Ну, что тебе Демон?

Фантазия!
дух!
К тому ж староват —
мифология.
Забудь о пропастях —
будь добра!
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже черкеску не жаль ободрать,
а грудь
и бока
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар
И в Терек
замертво треснется —
в Москве
больнее спускают
— куда! —
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил
и дело мое сторона.
Пускай,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак.
А мы...
соглашайся, Тамара.
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам демон
слетел,
подслушал
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов
сходит,

презрев времена,
Сияет.
— „счастливая парочка!“ —
Люблю я гостей.
— Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка! —

Вл. Маяковский.

Персидские мотивы.

1.

Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз растет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак.
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю.
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень.
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

2.

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное „люблю“?

Я спросил сегодня у менялы:
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое „поцелуй“?

И еще спросил я у менялы,
В сердце радость глубже притая:
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она „моя“?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят.
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах,
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
„Ты моя“ сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

3.

Шаганэ, ты моя Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе, поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ, ты моя, Шаганэ!

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий,
Потому что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе, поле,
Эти волосы взял я у ржи.
Если хочешь, на палец вяжи,
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе, поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ, ты моя Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже.
На тебя она страшно похожа,
Может думает обо мне...
Шаганэ, ты моя Шаганэ!

4.

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: „За Евфратом
Розы лучше смертных дев".
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти.
Ведь одна отрада мне,
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

Сергей Есенин.

Могила неизвестного солдата.

На площади, под триумфальной аркой,
В тени наполеоновых знамен,
Горит огонь неугасимо-ярко,
Цветут цветы от матерей и жен.

Под тяжкой аркой вместо мавзолея,
На площади, где улицы — лучи,
Лежит солдат, и вечный ветер веет
На бронзовые лавры и мечи.

И лживый при дневном правдивом свете
Язык огня рассказ лепечет свой
О том, что за двадцатое столетье
Во Франции прибавился герой.

Я тоже брошу розу на могилу
И пожалею, как жена и мать,
Того, кто отдал молодость и силу
За тех, кто не достоин их отнять.

Вера Инбер.

Париж,
Сентябрь 1924 г.

Творчество.

Как колокола долгий звучный гром,
Я песней наливаюсь каждый день,
Но сразу загудеть — мне жаль и лень
Я песню берегу, чтобы пропеть потом.

Не знаю я, какой ее отдам;
Веселой ли, иль грустною, как мать,
Иль, может, эхо, расколов ее, ветрам
Отдаст, чтобы дробить, колоть опять...

Как дальняя и древняя звезда,
От ожиданий холодея, я продрог.
Она идет ко мне, теряясь средь дорог,
В которых я три года проблуждал.

Полнея думами, лицом я худ,
Но свежесть чувствую, как зелень при росе:
Меня дороги скоро приведут
К дороге, что завязывает все.

Мих. Голодный.

Петля.

Н. Кузнецову.

Мне еще отец над колыбелью
Говорил, крутя сердитый ус,
Что таков я: коли не застрелят,
Так с петлей пеньковой подружусь.

Говорил, что, видно, на слободке
Все мы, парни, горю понутру, —
Будем все захлебываться водкой,
Иль в петле качаться поутру.

Да не вышло, батька, по-таковски:
Не поймала пули голова,
А из петли юнкеров московских
Выручила верная братва.

И не нам, а им пришлося лбами
На московских биться фонарях,
От Москвы до Крыма головами
Зарываться падалью в снегах.

Ну, а что ж? Теперь затихла вьюга:
Надо строить ладные леса.
Только нынче... встретил ночью друга,
Вынимал его из петли сам.

Эх, братан,—не юнкер и не белый
Для тебя веревку позабыл:
Сам себе пеньковый галстух сделал,
Повязал на шее позади.

Эх, братан! устал ты нынче, нет ли,
Только ты зря, право, сбился с ног.
Как же мне с тобой сдружиться, петля,
Если у меня в друзьях станок!

Уцелел я, силой не загнали, —
А теперь полезу головой?
Как же мне, когда стоят рядами
Старые товарищи за мной?

А ведь мне отец над колыбелью
Говорил, крутя сердитый ус,
Что таков я: коли не застрелят,
Так с петлей пеньковой подружусь.

Сергей Малахов.

Основная задача в деревне.

Я. Яковлев.

Вопрос о союзе рабочего и крестьянства встал перед партией, как важнейший вопрос текущей политики партии, в связи с некоторым обострением отношений крестьянства и рабочего класса.

Это обострение наметилось еще в прошлом году. Если тогда на это обострение указывал ряд беспартийных конференций, в особенности, в западных районах, усиливающаяся тяга крепких элементов крестьянства к организации крестьянского союза, — то в этом году основными показателями обострившихся отношений крестьян к рабочим были два основных факта:

1. грузинское восстание;
2. падение участия крестьян в выборах в советы.

Грузинское восстание при всей несомненности того, что оно было в основе авантюрой европейского капитала, учитывается партией, как признак обострения отношений крестьян к советской власти, поскольку, хотя и в небольшом количестве районов, хотя и в относительно небольшом количестве крестьян, нашим врагам удалось вовлечь в восстание.

Для учета отношений между рабочим и крестьянином, именно последнее, т.е. некоторое участие крестьян в восстании, наиболее существенно, поскольку оно явилось сигналом возможности перехода крестьян к «критике оружием».

Падение участия крестьян в выборах, даже по сравнению с прошлым годом, особенно существенно учесть со всей внимательностью, ввиду того, что это имело место почти на всей территории СССР. Мы имели в прошлом году довольно значительный под'ем участия крестьян в выборах в советы. Естественно было ждать дальнейшего под'ема в этом году, между тем подсчеты Наркомвнудела по большинству губерний показали неожиданное уменьшение числа крестьян, участвовавших в последних выборах.

Едва ли было бы правильным отнести это падение исключительно к разного рода техническим затруднениям и мелочам. Здесь скорее имела место своеобразная форма протеста,—правда, пассивного протеста. Крестьянин, махающий рукой на выборы в совет, считающий дело выборов в совет не своим делом, обходящий избу или клуб, где выборы происходят, должен прежде всего быть расценен с точки зрения обострения его отношений к рабочему классу

и советской власти. Его пассивность не должна вводить в заблуждение. Пассивная форма протеста, не получившая ясного политического оформления, но все же несомненно захватившая значительные слои крестьянства, должна была бы быть учтена, как серьезный симптом, указывающий на то, что в отношении рабочего класса и крестьянства не все ладно. И абсолютный процент участия крестьян в выборах был таков, что он подтвердил серьезность создавшегося положения.

Для иллюстрации приведу некоторые из данных Наркомвнудела о проценте избирателей, участвовавших в выборах по различным губерниям. Эти ведомственные данные едва ли являются достаточно точными, но мы можем с ними считаться, как с приблизительными, поскольку они составляются из данных и отчетов, посылаемых местами, а последние, обычно, ведь, не страдают стремлением преувеличивать недостатки.

Рязанская губерния по отдельным уездам дает следующий процент числа избирателей, принявших участие в перевыборах: Зарайский уезд — 19,2%, Касимовский — 11,2%, Раненбургский — 11%, Ряжский — 9,2%, столичный для Рязанской губернии — Рязанский уезд — 17,2%, Сасовский — 11,4%, Скопинский — 14,8%, Спасский — 13,6%.

Берем другую губернию — Ярославскую: Даниловский уезд — 14,0%, Мологский — 21,4%, Рыбинский — 7,4%, Угличский — 10,0% и столичный для Ярославской губ. — Ярославский уезд — 6,7%. Не нужно думать, что во всех губерниях процент фактического участия в выборах оказался столь низким. Для большинства губерний характерна именно пестрота, когда на-ряду с уездами, принимающими огромное участие в выборах, имеются уезды, почти не принимающие или принимающие очень мало участия. Для примера приведу Новгородскую, Новониколаевскую и Смоленскую губернии. Новгородская губ.: Боровичский уезд — 23,4%, Валдайский — 35,4%, Демьянский—27,2%, Мало-Вишерский уезд — 20,7%, Новгородский уезд — 73,4%, Старо-Русский — 18,0%; Новониколаевская губ.: Каинский уезд — 34,7%, Каменский уезд — 18,7%, Карчатский уезд — 25,1%, Новониколаевский уезд — 28,5%, Черепановский уезд — 68,9%; Смоленская губ.: Бельский уезд — 13,3%, Вяземский уезд — 33,3%, Гжатский уезд — 34,6%, Демидовский уезд — 12,8%. Дорогобужский уезд — 18,9%, Духовщинский уезд — 61,1%, Ельнинский уезд — 9,8%, Рославльский уезд — 42,6%, Смоленский уезд — 32,6%, Сычевский уезд — 10,2%.

Основной вопрос, на который должна ответить каждая попытка анализа имевшего место обострения отношений рабочих и крестьян, — это вопрос о том, чем, какими причинами, какими отношениями это обострение питалось и питается.

Я здесь оставлю в стороне вопросы экономического характера, они не являются темой данной статьи, но должен оговориться, что, конечно, именно экономические причины (разница цен между продуктами промышленности и продуктами деревни, отсутствие непосредственных и явных для крестьянина выгод от продажи продуктов на внешних рынках и т. п.) играют роль первостепенную. Вместе с тем, несомненно большое значение имеют и причины по-

литического характера. При сравнении нынешнего положения с тем кризисом, который мы переживали в 20 и 21 г.г., сразу бросается в глаза основная разница. Тогда обострение отношений крестьян к рабочим росло в первую очередь из бедности, разорения, крестьянской нищеты, упадка крестьянского хозяйства. Крестьянин, хозяйство которого падало непрерывно в условиях войны и ухудшалось некоторыми моментами старой экономической политики, свой протест против сложившегося положения выразил в Кронштадтском, Тамбовском и Сибирских восстаниях. Это был протест крестьянина, как производителя, против отношений, мешавших его хозяйственному под'ему, в тогдашних конкретных условиях, даже усугублявших падение его хозяйства.

В настоящее время условия коренным образом отличаются в этом отношении от условий 20 — 21 г.г. Тогда были годы величайшего кризиса сельского хозяйства, завершившего полосу кризиса, начавшегося еще в первые годы империалистической войны. Теперь мы несомненно находимся в полосе под'ема крестьянского хозяйства. На этот под'ем указывают все об'ективные данные о размерах посевных площадей, о состоянии животноводства, о состоянии технических культур. Мы не будем приводить эти данные, как общеизвестные, укажем только ту особенность этого под'ема, которой не учитывал ряд умнейших профессоров, растягивавших план восстановления крестьянского хозяйства в довоенных размерах на длинный ряд лет. Это та особенность, которая характеризуется чрезвычайно интенсивным под'емом в последнем году ряда технических культур, требующих большого приложения труда, как, например, лен, табак, виноград, хлопок и животноводство. Темп восстановления и технических культур и животноводства, несомненно, превышает наиболее оптимистические предположения и расчеты, намечавшиеся года два, полтора и даже год тому назад. На основе этого экономического под'ема деревни начался и в последнем году обнаружился очень четко политический и культурный под'ем деревни.

Элементами этого под'ема являются:

1. Несомненная, почти повсеместно выявившаяся, тяга к школе.

2. Огромный рост комсомола в деревне (комсомол превратился в массовую организацию не только рабочей, но и крестьянской молодежи).

3. Огромный рост тиража крестьянских газет, достигший распространения, далеко превышающего распространение газет в деревне даже в годы империалистической войны.

4. Значительный рост и несомненная крестьянская тяга к сельско-хозяйственной кооперации.

5. Значительный рост интереса в крестьянстве к городским и обще-политическим вопросам, который нашел свое отражение и в Красной армии, и в дивизиях переменного состава.

6. Огромный рост селькоровского движения. Белогвардейские идиоты приветствуют каждый случай убийства селькоров, не представляя себе того, что селькор является прежде всего представителем растущей общественной активности деревни, направляющейся против тех или иных злоупотреблений власти, и рисуют себе дело так, будто бы в деревне крестьяне убивают сель-

коров, как каких-то особенных коммунистических шпионов. А между тем, в подавляющем большинстве случаев, убивают селькоров не просто кулаки, а именно кулаки, стоящие у власти, а иногда и просто «коммунисты» и советчики.

Итак, хозяйственный под'ем деревни и на его базе рост политической и общественной активности крестьянства, вместо разорения и общего роста пассивного отчаяния, непосредственно переходившего в восстание, которое имело место в 20 — 21 году. Казалось бы, условия настолько отличны, что не может быть и речи о новом обострении отношений крестьян к рабочим; казалось бы, что экономическое возрождение деревни, под'ем благосостояния значительных крестьянских слоев, — есть условия, исключающие возможность ухудшения отношений крестьян с рабочими, а между тем на-лицо имеется несомненное обострение. Сопоставление огромного роста всяческих форм активности с пассивностью крестьян к выборам в советы указывает на то, где лежит корень этого обострения. Ряд черт нашей советской системы в деревне сложился в условиях военного коммунизма и первых годов нэпа, — годов голода. В годы войны, задача, стоявшая перед советской властью в деревне, сводилась в основном к тому, чтобы выкачивать хлеб для города и мобилизовать крестьян против врагов советской власти. Тот совет и тот коммунист, который наилучшим образом умел словить дезертира и доставить его в военный комиссариат или найти спрятанный кулаком хлеб, — был лучшим коммунистом, выполнявшим величайшую историческую миссию спасения страны от наступления русского и иностранного капитала. Эти задачи требовали специфических приемов управления. Это были в первую очередь приемы непосредственного командования, и хотя еще на VIII с'езде партии, еще в начале 19 года лозунг «не командовать» был дан Лениным во всем его об'еме, но фактически складывавшиеся в деревне общественные отношения, все же строились, в первую очередь, именно на командовании. Приемы командования были в условиях войны не только имевшимися кое-где приемами управления, но до известной степени нормой отношений партии к крестьянству. Их величайшее историческое оправдание в том, что без них в тех условиях едва ли можно было бы победить врагов советской республики. Соответственно строился и советский аппарат в деревне, как аппарат командования над крестьянством. Роль советов, как органов, сочетающих в себе функции местной власти с функциями местного самоуправления, как органов демократии для трудящихся, уменьшились в той степени, в какой отходили на задний план задачи культурные, обще-хозяйственные и организационно-политические, перед главнейшими политическими задачами военной мобилизации крестьянства.

В этот период постепенно и складывается находящая все большее применение практика назначения председателя сельсовета и в особенности состава волисполкомов, система голосования по спискам, практически проводимая так, что исключалось противопоставление официальному списку ячейки какого-нибудь другого кандидата. Эта практика в значительной степени превращалась в систему управления деревней, вошедшую со всеми характери-

зующими ее чертами в условиях нэпа. Первые годы хозяйственного под'ема деревни после перехода к новой экономической политике шли в значительной степени мимо низовых органов власти. Каждый крестьянин средствами ему доступными чинил свое хозяйство, напрягая все усилия к тому, чтобы поднять полагающуюся ему землю и, таким образом, избегнуть физического голода и нищеты. На определенной ступени развития, которой несомненно наша деревня достигла и достигает именно теперь, дальнейший хозяйственный культурный под'ем уже требовал соответствующих, организующих действий власти и, даже больше того, действительно хозяйственного и культурного руководства со стороны власти. Если засевать всю полагающуюся землю крестьянин мог в той или иной мере без органической работы своего совета, то перейти от худого урожая к лучшему урожаю, от земельной анархии к организованному землеустройству, от посылки детей в школу на два месяца или месяц в году к организованному обучению детей — крестьянин не может без активной помощи низовых органов советской власти.

А между тем, эти органы власти продолжали и в значительной степени продолжают соответствовать методам прошлого периода, сосредоточиваться на вопросах прошлого периода, выбираться методами прошлого периода, оставляя в стороне те основные вопросы школы, землеустройства, грамотности, повышения культуры крестьянского хозяйства, которыми живет и не может не жить крестьянин, уже решивший задачу засева своей земли. Отсюда то противоречие, о котором мы говорили, отсюда и первостепенная важность именно вопроса о советах. Было бы величайшей ошибкой думать, что наметившееся противоречие можно решить каким бы то ни было иным путем, обходя вопрос о советах. Даже наилучшие намерения и даже наилучшие достижения в области других форм общественной деятельности и самодеятельности крестьянства, если бы вопрос о советах не был решен партией, давали бы ухудшения политического положения. Стоит представить себе и сопоставить советы, работающие методами военной эпохи, а с другой стороны целую систему общественных организаций в деревне, не знавших методов действия военного периода, чтобы понять, что именно вопрос о советах является основным. Если бы дело пошло так, что партия оказала бы свое содействие и сосредоточила все свое внимание на таких вопросах, как вопрос о росте комсомола, о кооперации, а вопрос о советах остался бы в том положении, в каком он был в 23 — 24 г.г., то неизбежно осталось бы и росло противопоставление любой комсомольской ячейки, любой кооперации, — советам, то есть органам власти, а это было бы опасностью во сто крат большей, чем мы имеем теперь. Ибо теперь мы имеем пассивное неорганизованное противопоставление крестьян органам Советской власти, а тогда мы имели бы противопоставление той же Советской власти уже организованных крестьянских групп. Некоторые симптомы, правда, очень небольшие, такого организованного противопоставления городу и власти мы имеем и теперь кое-где в ячейках комсомола. Если же партия не начала бы поворачивать к советам и не начала бы сосредоточивать свое внимание на советах, как на основной проблеме, то та-

кое противопоставление, хотя бы тех же комсомольских организаций органам советов, т.-е. органам власти, стало бы всеобщим.

Партия поднимает всеми своими силами в настоящее время вопрос об оживлении и укреплении работы советов, иначе говоря, вопрос о том, каким образом добиться того, чтобы советы возглавляли хозяйственный и культурный под'ем основной массы мелкого и мельчайшего крестьянства и тем наилучшим образом связали советский город с советской деревней.

Основная линия здесь была дана речью тов. Сталина на совещании секретарей ячеек, которая стала для партии и всего крестьянского актива тем, чем были Ленинские речи, т.-е. программой работы и линией политики. После создания оргбюро ЦК комиссии тов. Кагановича по укреплению работы советов, после постановления пленума ЦК по вопросу о работе в деревне — последовало создание и созыв совещания при ЦИК'е по советскому строительству.

В работах совещания по советскому строительству выделились три основных вопроса, непосредственно касающихся деревни:

1) Вопрос об отмене выборов 24 года и назначении новых перевыборов советов.

2) Вопрос о системе работы советов, как органов, возглавляющих хозяйственную, культурную и общественную жизнь деревни.

3) Вопрос о хозяйственной базе советов, т.-е. вопрос о волостном бюджете.

К этим трем вопросам необходимо еще присоединить вопрос 4-й, который долежн будет получить свое разрешение. Это — вопрос о системе районирования внизу, учете его опыта и о возможном исправлении существующих недостатков.

Первый вопрос нашел свое разрешение в решении ЦК и последовавшем затем решении совещания, утвержденном президиумом Центрального Исполнительного Комитета о перевыборах советов во всех тех случаях, когда число избирателей не достигло 35% всех избирателей и когда имелось на-лицо то или иное нарушение законных крестьянских прав. Выработанная совещанием и утвержденная президиумом Центрального Исполнительного Комитета инструкция о выборах в советы представляет собой систему мер, гарантирующих крестьянина от нарушения советской Конституции и в значительной степени от тех форм командования и назначения, которые себя изжили и стали тормозом улучшения отношений крестьянства с рабочим классом. Все разделы и пункты этой инструкции, рассматривающие вопрос о порядке лишения избирательного права, о составе и способах работы избирательных комиссий, о характере работы избирательных собраний, о способах обжалования тех или иных нарушений закона — в общем дают крестьянину все те основные гарантии, которые должы обеспечить и, как практика показывает, обеспечивают значительно большее его участие в выборах.

Норма, указанная совещанием, т.-е. 35%, как минимум участия избирателей в выборах в каждой избирательной единице, предполагает отмену последних выборов почти на всей территории СССР. Сообщения, имеющиеся

к настоящему моменту, показывают, что места отнеслись к этому делу с огромной серьезностью и ведут большую подготовительную работу.

Опыт перевыборов в Харьковской и Екатеринославской губерниях показывает, что доля участия крестьян в выборах в новой избирательной кампании сразу резко увеличилась, при чем крестьянами проявлялся исключительно большой интерес к тому, кто будет избран. Особенно большое значение здесь имеют введение персонального голосования вместо списочного и введение повесточной системы. Если первое наиболее ясно показывает крестьянину, что дело выборов в совет — это его дело и уничтожает в значительной мере самую возможность создания в крестьянине убеждения в том, что вместо выборов происходит назначение, хотя бы и в скрытой форме, то второе, т.-е. повесточная система, помогает втягиванию в выборы значительных крестьянских слоев. Очень характерно для оценки действительного положения в крестьянстве и действительного отношения крестьянской массы к коммунистической партии то, что процент участия коммунистов в сельсоветах и волисполкомах — понижается очень незначительно. Но коммунист, выбранный крестьянином (иногда не тот коммунист, которого намечала ячейка), воспринимается крестьянином, как его представитель, им избранный и ему подотчетный.

Партийная директива на вопрос о доле коммунистов в сельсоветах и волисполкомах указала при этом прямо, что основной вопрос теперь не в том, чтобы увеличивать долю коммунистов в советах, а в том, чтобы коммунистическая партия как таковая и коммунисты, работающие в советах, наилучшим образом осуществляли дело руководства крестьянской массой, т.-е. такого руководства, при котором каждый крестьянин видит, что коммунист есть наиболее честный, сознательный и добросовестный руководитель в деле хозяйственного и культурного под'ема деревни и в деле укрепления связи деревни с рабочим классом.

Общие итоги новой выборной кампании мы сможем подвести только к с'езду советов, но уже сейчас можно с несомненностью утверждать, что она даст огромный рост доверия крестьянства к партии, вместе с тем и усилив связи крестьянства с рабочим классом, поскольку советы, как это Ленин раз'яснял неоднократно, являются лучшей, имеющей первостепенное значение формой союза рабочих и крестьян.

Вторым вопросом, который встанет на одном из очередных заседаний совещания по советскому строительству, а ныне подготовляется в его комиссии по сельсоветам, является вопрос о волостном бюджете. Нет и не может быть совета, возглавляющего массы мелкого и мельчайшего крестьянства в деле его хозяйственного и культурного под'ема, безхозяйственной базы.

Лучшие волисполкомы, избранные согласно линии партии, будут дискредитированы в кратчайший срок, если они не смогут развернуть своей хозяйственной, культурной работы на базе волостного бюджета и если они не смогут сделать ясным для крестьянского актива распределение доходов и расходов в этом бюджете.

Вопрос о волостном бюджете имеет поэтому две стороны: 1) Какие доходы и расходы должны быть включены в волостной бюджет, с тем, чтобы он был реальным. Отсюда вопрос о значительном (примерно около половины) отчислении единого сельско-хозяйственного налога, непосредственно на нужды волостного бюджета, плюс к этому доходы от местных предприятий. 2) Какими путями можно сделать вопрос о волостном бюджете вопросом всего крестьянского актива с тем, чтобы он составлялся и расходовался не в порядке тайников волисполкома и канцелярий, а при содействии передовой части беднейшего и среднего крестьянства. Вопрос этот чрезвычайно сложный, поскольку некоторые статьи доходов должны быть отняты от губернских, уездных и центральных бюджетов, в то же время большинство волостных расходов должны быть перенесены непосредственно на средства волостного бюджета.

Отсюда очевидна та основная задача, которая должна быть здесь решена. Это задача создать жизнеспособный бюджет, т.-е. такой бюджет, который соответствовал бы растущим хозяйственным и культурным потребностям в деревне.

Если сопоставить долю жителей деревни с долей жителей города в местном бюджете, то разница в настоящих условиях получается значительной, она должна уменьшиться с введением волостного бюджета. В этом та политическая задача, решение которой лучше всего будет содействовать уменьшению имеющейся своеобразной «зависти» деревни — городу.

Третьим вопросом является вопрос о методах работы волостных исполкомов и сельсоветов, как общественных организаций в деревне.

Как заменить нынешнего председателя действительно существующим сельским советом, как втянуть в работу волисполкома передовых бедняков и середняков? Такова здесь основная задача. Опыт ряда городских советов указывает, что такой формой втягивания значительных слоев беспартийных в дело государственного управления являются секции советов. Секции Московского, Ленинградского, Киевского, Нижегородского и ряда других советов втягивают в государственную работу тысячи пролетариев. Опыт работы этих секций показал, что наибольшее внимание рабочих привлекают вопросы местного благоустройства, народного образования, здравоохранения, жилищный вопрос и т. п., т.-е. вопросы хозяйственного и культурного под'ема города. Соответственными вопросами деревни являются вопросы землеустройства, агрономических улучшений, вопрос о школе, организации больниц, проведение и улучшение дорог.

Вокруг этого несомненно может сложиться организация типа городских секций, которая, став подсобной организацией волисполкому, поможет втягиванию беспартийных крестьян в управление государством.

Здесь уместно вспомнить опасность, о которой мы говорили в первой части статьи.

Если совет, избранный на основе Конституции, в условиях, когда коммунисты непосредственное командование заменили убеждением, организацией и примером, если такой совет развернет на основе волостного бюджета хозяйственную, культурную работу в деревне, если в эту работу будут вовле-

чены и не члены совета, через секции, — то уничтожится огромная доля той опасности противопоставления иных крестьянских организаций советам, которая имеется теперь на-лицо.

Тем самым, в значительной степени будет смягчен кризис отношений рабочего класса и крестьянства и укреплен союз рабочих и крестьян.

Четвертым вопросом, имеющим большое значение, является вопрос о районировании.

Не переборщили ли со стремлением это районирование как можно скорей провести во что бы то ни стало по всей СССР? Не получилось ли кое-где отрыва, удаления аппарата от населения, вместо приближения к населению, что было основной целью районирования? Не получилось ли сокращения советского аппарата за счет низового аппарата? Не получилось ли с переходом к укрупненным волостям и районам значительного уменьшения доли крестьян в органах власти? Произошла ли действительно передача ряда функций уисполкомам к нынешним волисполкомам и волисполкомов к нынешним сельсоветам? Не получилось ли того, что укрепленный сельсовет и волисполком фактически в жизни, в основном имеют прежний круг ведения? Тем самым соответственно те вопросы, которые раньше разбирались относительно близко к крестьянину, не разбираются ли теперь от него далеко?

Произошло ли упрощение ряда таких функций волости, как запись актов гражданского состояния и т. п., иногда вызывающих законное раздражение крестьянина ввиду волокиты, сложности и проч.?

На все эти вопросы, со всем учетом местного опыта, должны быть получены возможно ясные ответы, чтобы все основные недостатки районирования, которые могут быть исправлены, действительно были исправлены. Это не значит, конечно, что дело должно итти об отмене районирования. Районирование в основном, несомненно, себя оправдало, но так же несомненно и то, что общие задачи оживления и укрепления советов требуют отделки, а частью и пересмотра ряда деталей этой работы по районированию, чтобы они соответствовали главнейшей задаче — добиться действительного превращения советов в основные органы связи рабочего класса и крестьянства.

Белогвардейцы очень часто сравнивают нашу работу по советам с теми уступками, которые вынуждено было делать самодержавие в 1905 году, в частности с соответствующим проектом булыгинской думы. Белогвардейские болваны видят вынужденные уступки крестьянству во всей нашей работе по оживлению и укреплению работы советов.

А ведь суть-то в том, суть, которой никогда не поймет ни один «демократический» белогвардеец, что со стороны партии имеется не отступление, а наступление: наступление в сторону тех форм советской власти, о которой десятки, если не больше, раз писал и говорил Ленин в 1917 году и на конгрессах Коминтерна. И в последние годы Советская власть, диктатура пролетариата, есть государство невиданной в истории демократии для трудящихся и в этом смысле советское государство, советская демократия противостоит буржуазному государству, буржуазной демократии по всей линии. Вместо демократии для богачей, для купцов, фабрикантов, помещиков, советское го-

сударство осуществляет демократию для трудящихся, для рабочих, для крестьян. Сообразно условиям военного периода, эта сторона советского государства отодвинулась на задний план, ввиду того, что на первую линию выдвинулась природа советского государства, как государства, осуществляющего подавление сопротивления буржуазии.

Но ведь советское государство есть государство, которое:

1) подавляет сопротивление буржуазии;

2) осуществляет союз рабочего класса и крестьянства;

3) осуществляет демократию трудящихся.

Мы подошли к тому моменту, когда эта сторона советского государства начинает выдвигаться вперед, в меру хозяйственного и культурного роста трудящихся города и деревни. Поэтому не об отступлении, а о новом наступлении в сторону об'единения новых сотен тысяч и миллионов трудящихся вокруг Советской власти идет теперь речь.

Если коммунистической партии удастся, — а ей не может не удаться, — построить свое руководство деревней так, чтобы через советы вести за собой основные массы беднейших и средних крестьян, лучше чем мы это делали до сих пор, — то это будет такой победой партии, от которой не поздоровится в первую очередь белым всех видов, в том числе и наиболее демократических, меньшевистско-эсеровских.

А. Ф. Керенский.

(Опыт политической биографии).

Д. Ф. Сверчков.

В книгах «Красной Нови» №№ 6 и 7 за прошлый 1924 г. я попытался дать политическую характеристику Керенского за период до Корниловского восстания. В настоящем очерке довожу его биографию до его политической смерти.

XV. Выступление Корнилова.

17 августа 1917 г., по настойчивому представлению Корнилова, Керенский отклонил отставку Савинкова и согласился на разработку закона о смертной казни в тылу.

20 августа Керенский, по докладу Савинкова, согласился на «об'явление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для реального осуществления этого положения, т.-е. для борьбы с большевиками» (Савинков, «К делу Корнилова»).

«Как видно из протокола о пребывании в ставке управляющего военным министерством Савинкова, — пишет Деникин (т. II, стр. 21 — 22), — день об'явления военного положения приурочивался к подходу к столице конного корпуса, при чем все собеседники как чины ставки, так и Савинков, и полковник Барановский (начальник военного кабинета Керенского) пришли к заключению, что «если на почве предстоящих событий, кроме выступления большевиков, выступят и члены Совета, то придется действовать и против них», при чем «действия должны быть самые решительные и беспощадные».

Совет 18 августа принял, по предложению фракции с.-р., т.-е. товарищей Керенского по партии, резолюцию о полной отмене смертной казни.

Введение новых законов неизбежно должно было вызвать взрыв среди Советов.

В. Н. Львов приводит в № 120 «Последних Новостей» 1920 г. любопытнейший разговор, который он имел с Керенским по этому поводу:

— Негодование (корниловцев против Совета) перельется через край и выразится в резне.

— Вот и отлично! — воскликнул Керенский, вскочив и потирая руки. — Мы скажем, что не могли сдержать общественного негодования, умоем руки и снимем с себя ответственность!..

Утром 21 августа германцы заняли Ригу. Изложенная мною раньше обстановка заставляет не сомневаться в том, что падение Риги входило в расчеты Керенского, Корнилова и компании. Создавая угрозу германского нашествия на Петроград, эти люди рассчитывали вызвать панику и дезорганизацию революционных масс.

24 августа Савинков приехал в ставку, сообщил Корнилову проекты законов, составленных на основании корниловской записки, «прохождение которых в правительстве обеспечено», сказал о решении Керенского об'явить Петроград и его окрестности на военном положении и просил от имени правительства к концу августа подтянуть к Петрограду 3-й конный корпус.

«Это обстоятельство, — пишет Деникин, — знаменующее выход правительства, в частности, Керенского, на путь, предуказанный Корниловым, вызывает, несомненно, искренний ответ Корнилова:

— Я готов всемерно поддержать Керенского, если это нужно для блага отечества (стр. 38).

Машина пущена в ход.

Помимо того, что к Петрограду подтягивались войска (3-й корпус, туземный корпус, Осетинская дивизия, Кубанская бригада, Донская дивизия, Корниловский полк), — готовилось восстание и извнутри.

«В половине августа, — рассказывает тот же Деникин, — началась тайная переброска офицеров из армии в Петроград (это все — перед взятием Риги и во время угрожающего катастрофой, по свидетельству генерала Лукомского, германского наступления! *Д. С.*). Одни направлялись туда непосредственно по двум конспиративным адресам, другие — через ставку, имея официальным назначением обучение бомбометанию... Тогда же, на секретном заседании в Могилеве, под председательством Крымова, выяснился вопрос о вооруженном занятии Петрограда, распределялись роли между участниками... Киевской организации было указано по частям перебираться в Петроград, куда должны были собираться и могилевские „бомбометчики“»...

Однако из внутренней организации ничего не вышло. По рассказам Деникина, собрания руководителей восстания происходили в ресторанах Аквариум и Вилла Роде, и, в конце концов, доблестные корниловские «патриоты» предпочли «выступать» в кабаках с бутылкой шампанского и певичками, оплаченными из ассигнованных на переворот буржуазией денег, чем рисковать своей шкурой на улицах Петрограда. Деникин про их поведение выражается скромнее. Он говорит, что собрания заговорщиков превратились в «простые товарищеские пирушки»...

Все мотивировалось внешне предстоящим выступлением большевиков. Однако даже сам Керенский говорит («Дело Корнилова», стр. 75), что слухи об этом выступлении были несерьезны.

Разговоры о выступлении были только предлогом. Керенский заблаговременно постарался, насколько мог, предотвратить сопротивление корниловскому перевороту: полки, принимавшие участие в выступлении 3 — 5 июля, были отправлены на фронт из Петрограда, «чтобы дать им возможность загладить свой поступок»... Словом, путь был, по возможности, расчищен.

«Решительный день, — пишет Милюков (История второй русской революции, т. I, часть 2, стр. 171), — должен был наступить тогда, когда корпус генерала Крымова или авангард, состоявший из «дикой дивизии», подойдет к окрестностям Петрограда. К этому времени находившиеся в Петрограде офицеры-заговорщики, заранее распределенные по группам, должны были исполнить заранее намеченную задачу: захват броневых автомобилей, арест Временного правительства, аресты и казни наиболее влиятельных членов Совета Рабочих Депутатов и проч., и т. п.» (Это «и проч., и т. п.» — звучит прямо великолепно! *Д. С.).*

А повод для этого?

Выступление большевиков.

Но ведь они не собирались выступать!

Ничего не значит! «Между 28 августа и 2 сентября под видом большевиков должен был выступить я», — заявил уральский полковник, впоследствии печально известный атаман Дутов В. Н. Львову на вопрос о том, что должно было случиться 28 августа 1917 года (Милюков, там же, стр. 171).

Молодец Керенский! Все предусмотрено, все взвешено, все распределено, статисты расставлены, актеры загримированы, товарищам своим по партии он дружески приготовил «аресты, казни и проч. и т. п.»... Пора поднять занавес и начать спектакль.

В дополнение ко всему этому Корнилов послал в Новочеркасск донскому атаману Каледину телеграмму, в которой приказал ему начать движение на Москву (Милюков, там же, стр. 192).

Утром 27 августа Савинковым была получена условная телеграмма от Корнилова: «Корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 27 августа»...

А «Известия ЦИК», под редакцией прозорливого Дана, успокаивали:

«Правительство хорошо видит козни и уже направляет удар на Могилев»...

Бедный Дан! Он вовсе не чувствовал, что и ему «правительство» приготовило «и проч. и т. п.»!..

Что же случилось в конце августа между Керенским и Корниловым, что нарушило их доброе согласие? — возникает вопрос.

Между ними было условлено, что перед самым разгромом Советов и завоеванием Петрограда Керенский и Савинков выедут в ставку, где и будет образовано новое правительство. Был намечен и его состав, правда, в нескольких вариантах. Председателем «совета народной обороны» должен был стать Корнилов, министром-председателем — Керенский, членами—Савинков, генерал Алексеев, адмирал Колчак и Филоненко. Министрами намечались: Тахтамышев, Третьяков, Покровский, граф Игнатьев, Аладьин, князь Г. Е. Львов, Завойко. По другому варианту, министром-председателем должен был стать Корнилов, а Керенский — министром юстиции. «Крестными отцами» новой власти в ставку к 29 августа были приглашены: Родзянко, Милюков, В. Маклаков, Рябушинский, Н. Львов, Сироткин, кн. Львов, Третьяков, Тесленко и др. (Деникин, стр. 42).

Однако Керенский в ставку поехать отказался. Причина его отказа заключалась в том, что близкие к Корнилову круги офицерства и казачества вовсе не были согласны укреплять на престоле власти болтливую марионетку и решили его... просто убить.

В. Н. Львов, разговаривая с Завойко (приближенный Корнилова) о составе будущего правительства, спросил:

— Для чего вы поставили имя Керенского в кабинете, когда вы его ненавидите?

Ответ был:

— Керенский — знамя. Его надо оставить.

— Корнилов гарантирует жизнь Керенскому?

— Ах, как может верховный главнокомандующий гарантировать жизнь Керенскому!

— Однако же он это сказал?

— Мало ли что он сказал! Разве Корнилов может поручиться за всякий шаг Керенского? Выйдет он из дома, — ну, и убьют его.

— Кто убьет?

— Да хоть тот же самый Савинков. Почем я знаю!

— Но ведь это же ужасно!

— Ничего ужасного нет. Его смерть необходима, как вытяжка возбужденному чувству офицерства.

— Так для чего же Корнилов зовет его в ставку?

— Корнилов хочет его спасти, да не может.

Сам Керенский писал (Дело Корнилова, стр. 50 и 122):

«... Целью отдельных заговорщических групп было «устранить» меня, не останавливаясь перед самым крайним средством. Мне был известен случай, когда уже был брошен жребий, кому исполнить «приговор», и только случай предотвратил дальнейшее...

«...Когда при В. В. Вырубове я нарочно сказал В. Н. Львову, что переменил решение и поеду в ставку... тогда он, страшно волнуясь, схватился за грудь и говорит: Спаси вас бог, ради бога не ездите, потому что ваше дело там плохо...»

Львов очень хорошо знал, что дело Керенского в ставке плохо: ведь Львову было категорически приказано привезти Керенского в ставку и таким образом помочь его убийству!

Керенский, не желая совсем «служить „вытяжкой“ возбужденному чувству офицерства» (он наметил на роль такой «вытяжки» членов Совета и своих товарищей по партии с.-р.), отказался ехать в ставку. Тогда к нему вторично был послан Львов.

Планы Керенского рухнули. Оставаясь в Петрограде, он рисковал стать в первую голову жертвой «ликвидации», для которой сам вызвал 3-й корпус под командой генерала Крымова, дикую дивизию и многие другие роды оружия такого же сорта. Отправляясь в ставку, как было условлено с Корниловым, именно для того, чтобы самому избегнуть приготовленного в Петрограде «и проч. и т. п.», он должен был стать «вытяжкой»... Пришлось

избрать третий путь. Он вспомнил о существовании революционной демократии и Советов уже не в связи с их арестами и казнями при помощи дикой дивизии, а для собственного самосохранения. Раз не выгорел заговор, — можно сделать из Корнилова трамплин, с которого прыгнуть к той же желанной цели — к единоличной диктатуре. Что глупцы из ЦИК Советов ничего не поняли и ни на иоту не чувствовали судьбы, которую им приготовил Керенский, — он не сомневался ни капли. Они еще раз вручат — в минуту величайшей опасности контр-революции — судьбу России в его руки и назовут его спасителем отечества.

И Керенский принял приехавшего к нему Львова уже с целью собрать «улики» против Корнилова и начать дело о заговоре...

Львов передал Керенскому требование Корнилова приехать в ставку и осуществить условленные меры.

Керенский посадил за портьерой в своем кабинете «свидетеля», который записывал их разговор. Потом вызвал к прямому проводу Корнилова, пригласив на телеграф и Львова, который не явился, но тем не менее Керенский разговаривал с Корниловым то от себя, то от имени Львова, сказав Корнилову, что у аппарата они оба.

Разговор носил такой характер, который только и может быть у двух заговорщиков, отлично понимающих, в чем дело, но, конечно, остерегающихся говорить совсем открыто.

Корнилов:

— Вновь подтверждая тот очерк положения, в котором мне представляется страна и армия, — очерк, сделанный мною В. Н-чу (Львову) с просьбой доложить вам, я вновь заявляю, что события последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок.

— Я, Владимир Николаевич (т.-е. это Керенский говорил от имени отсутствовавшего Львова. *Д. С.)*, вас спрашиваю: то определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили меня известить Александра Федоровича, только совершенно лично; без этого подтверждения лично от вас А. Ф. колеблется мне вполне доверить.

— Да, подтверждаю, что я просил вас передать А. Ф. мою настойчивую просьбу приехать в Могилев.

— Я, А. Ф., понимаю ваш ответ, как подтверждение слов, переданных мне В. Н. Сегодня этого сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

— Настоятельно прошу, чтобы Б. В. (Савинков) приехал вместе с вами. Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.

— Приезжать ли только в случае выступления, о котором идут слухи, или во всяком случае?

— Во всяком случае.

Конечно! Ведь выступление «большевиков» было для Корнилова обеспечено, ведь под видом большевиков готовился выступить атаман Дутов!

26 августа, поздно вечером, после этого разговора, Крымов отправился к своему корпусу со следующим приказом Корнилова:

«1) В случае получения от меня или непосредственно на месте (сведений) о начале выступления большевиков, немедленно двигаться с корпусом на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона... обезоружить население Петрограда и разогнать Советы, 2) по окончании исполнения этой задачи, генерал Крымов должен выделить бригаду с артиллерией в Ораниенбаум и по прибытии туда потребовать от кронштадтского гарнизона разоружения крепости и перехода на материк» (Деникин, т. II, стр. 53).

Совсем хорошо! Не говоря уже обо всем остальном, но, во время угрозы со стороны германцев Петрограду, о которой свидетельствуют те же «доблестные» генералы Деникин и Лукомский, чему могла оказать препятствие, по словам опять-таки тех же самых Корнилова и Деникина, только Кронштадтская крепость, генерал Корнилов приказывает ее разоружить...

Впрочем, виноват не один Корнилов. По авторитетному заявлению генерала Деникина (там же, стр. 53): «что касается ликвидации кронштадтского мятежного гнезда, то согласие на нее было дано министром-председателем еще 8 августа»...

Пусть теперь, когда «патриоты»-генералы, Милюков, Керенский и вся их компания документально разоблачили друг друга, когда вся картина снятия целых корпусов с угрожаемого германцами фронта, сдача Риги, создание опасности для Петрограда и приказ о разоружении его единственной защиты — Кронштадта — на-лицо, пусть теперь кто-нибудь скажет, что Корнилова, Алексеева, Лукомского, Крымова, Керенского, Савинкова и их единомышленников *нельзя* заподозрить в прямом содействии немецкому генеральному штабу! И пусть теперь кто-нибудь подберет другое название, кроме невероятной наглости, обвинению, которое эти самые предатели бросали в лицо большевикам, обвиняя последних в подкупе германцами!

Керенский проводит свой новый план. После разговора с Корниловым он созывает заседание правительства и требует постановления о предоставлении ему чрезвычайных диктаторских полномочий, при чем все министры принципиально соглашаются подать прошения об отставке. Удовлетворенный этим, Керенский начинает действовать единолично.

В ставке еще не знают об измене Керенского. Но утром 27 августа там получается телеграмма Керенского с предложением Корнилову сдать должность... генералу Лукомскому и выехать в Петроград.

Ставка была ошеломлена «неожиданной новостью».

А в Петрограде, командующий округом генерал Васильковский, непосредственно подчиненный генералу Корнилову, «поставил столицу на военное положение, занял рабочие центры своими отрядами, назначил усиленные патрули и в особом воззвании обещал «всеми средствами военной власти в са-

мом зародыше подавлять все попытки вызвать в Петрограде волнения и беспорядки» (Суханов, т. V, стр. 211). Берегись теперь, атаман Дутов!..

26 августа Керенский, по настоянию Родзянко и других помещиков, поднял вдвое твердые цены на хлеб. В результате этого распоряжения вышел в отставку министр продовольствия Пешехонов.

Приказ Керенского об отставке Корнилова вызвал выход из Временного правительства всех министров-кадетов: Кокошкина, Юренева, Карташева. К ним присоединился и... Чернов, который об'яснил, что ушел, «дабы облегчить образование нового правительства и не затруднять своим присутствием его солидарной работы»!!! Словом, он не пропустил случая — в перерыве между цирковыми номерами — выступить в роли неизменного «рыжего»...

Генералу Корнилову, получившему телеграмму о своей отставке и вызове в Петроград, ничего не оставалось, как выступить открыто. Он разослал по всем учреждениям и по армии следующую телеграмму:

«ОБ'ЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.

«... Русские люди!

«Великая родина наша умирает.

«Близок час кончины.

«Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство, под давлением большевистского большинства Советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережьи, убивает армию и потрясает страну внутри.

«Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне в эти грозные минуты призвать всех русских людей к спасению умирающей родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит в бог[а,] в храмы, молите господа бога об об'явлении величайшего чуда, спасения Родной Земли. Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и клянусь довести народ — путем победы над врагами — до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни.

«Предать же Россию в руки ее исконного врага — германского племени — и сделать русский народ рабами немцев я не в силах и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама Русской Земли.

«Русский народ! в твоих руках жизнь твоей Родины!

Генерал *Корнилов*».

27 августа 1917 г.

В числе документов лицемерия, которые знает история, это воззвание должно занять видное место.

Кто действовал — *вопреки* давлению «большевистского» большинства Советов — в согласии с планами германского генерального штаба? Генерал Корнилов вместе с Керенским. Кто снимал с Северного фронта корпуса и

дивизии «одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережьи»? Генерал Корнилов с согласия Керенского. Кто фактически предал Ригу и готовился предать Петроград «в руки германского племени»? Генерал Корнилов. Кто собирался одерживать «победы» над врагами не внешними, а над петроградскими рабочими? Кто готовился ликвидировать Советы и расстрелять их руководителей? Генерал Корнилов вместе с Керенским. И когда все провалилось из-за боязни жалкого адвокатишки поехать в ставку (где его ожидала тоже «ликвидация»), — предателю-генералу не осталось ничего, как истерически, по примеру своего компаньона по заговору, кричать всем: «кто верит в бога и храмы, чтобы молились о ниспослании величайшего чуда — спасения родной земли»!

Прошло семь лет.

«Родная земля» спасена. Но спасена она не теми, кто «верит в бога и храмы», а рабочими и крестьянами. Спасена не по призыву генерала Корнилова, а под руководством Советской власти. Спасена потому, что трудовое население России и соединившихся с нею советских республик не пошло за генералом Корниловым, Деникиным, Врангелем, Колчаком, Юденичем и им подобными, старавшимися не за страх, а за совесть продать все наши земли, богатства, заводы, фабрики, железные дороги англичанам, французам, немцам, кому угодно, кто только соглашался помочь низвергнуть Советскую власть...

XVI. Ликвидация корниловщины.

Приведенное мною воззвание Корнилова было ответом на разосланное Керенским по радио обращение «всем, всем, всем» о том, что Корнилов пред'явил правительству требование передать власть в его руки, а Керенский приказал ему сдать должность. Ни слова о продвигающихся к Петрограду воинских частях! Ни слова о корпусе генерала Крымова, дикой дивизии и предстоящей попытке военного разгрома петроградского пролетариата и его органов!

Причина этого умолчания понятна: ведь говоря об этом, Керенский должен был сказать, по чьему же именно приказу Петроград очутился накануне осады, каким образом «глава правительства» проглядел реальную угрозу военного разгрома и Совета, и самого Временного правительства? А, как мы уже знаем из документов, все это готовилось при деятельнейшем участии самого Керенского... Говорить об этом, — значило выдавать самого себя...

Впоследствии, в своих показаниях по делу Корнилова, Керенский поставил себе *в заслугу*, что в этот момент он вовсе не обратился к ЦИК Советов и к органам революционной демократии. И в то время, когда на Петроград надвигались полчища контр-революции, «Известия» великолепного меньшевистско-эсеровского ЦИК Советов писали об угрозе выступления большевиков!!!

А Корнилов не дремал. 27 августа в войска, шедшие к Петрограду, на ст. Дно Багратиону была послана следующая телеграмма:

«Главковерх приказала комкорам 3 конного, начдивам 1 Уссурийской, Донской и туземной дивизии высадиться между ст. Гатчина и Александровская и в конном строю двигаться к Петрограду в полном боевом порядке к Нарвской, Московской и Невской заставам. В случае обстоятельств, мешающих выполнению плана, главковерх приказал старшему генералу в чине принять на себя командование корпусами и дать бой войскам Временного правительства».

В ответ Багратион телеграфировал начальнику штаба верховного главнокомандующего:

«27 августа, 24 часа, погрузка дивизии и отправление эшелонов продолжаются, 3 эшелона уже находятся в пути. Сейчас... получено распоряжение прекратить отправку эшелонов. Телеграмму эту не исполняю, продолжаю отправку эшелонов».

В этот же день Керенский телеграфировал в ставку: «Приказываю все эшелоны, следующие на Петроград и в его район, задерживать и направлять в пункты прежних стоянок». На этой телеграмме, полученной в ставке, имеется надпись Корнилова: «Приказания этого не исполнять, двигать войска к Петрограду» (телеграммы эти заимствую из книги Веры Владимировой «Контр-революция в 1917 году»).

Корнилов получил телеграммы с извещением о поддержке его против временного правительства от Деникина, Валуева, Щербачева, Ванновского, Эльснера, Селивачева, Черкасова и Каменского. С Корниловым выступили главнокомандующие всех фронтов. Деникин рассказывает, что многие иностранные военные представители являлись к Корнилову с пожеланием успеха...

Буржуазные круги и лидеры кадетской партии развили бешеное давление на Керенского в целях передачи им власти... генералу Алексееву, который-де бескровно уладит конфликт с Корниловым. Заседание совета министров под председательством Керенского обсуждало самым серьезным образом этот вопрос... В кабинете у Керенского толклись Милюков, ген. Алексеев, Кишкин...

Что же делал в это время соглашательский ЦИК? Как реагировал на грозную минуту опасности для революции?

Он занимался «кризисом власти». Как же! Из правительства ушли кадеты! В этом для Церетели, Дана, Чернова, Чхеидзе и компании был весь центр угрозы! Правда, о продвижении к Петрограду войск они и не подозревали.

Днем «бюро» ЦИК вынесло полное одобрение решениям Временного правительства и мерам, предпринятым Керенским. Дело, вероятно, шло только об отставке Корнилова.

Ночью на 28 августа ЦИК узнал обо всем и... продолжал обсуждать вопрос о кризисе власти.

Было постановлено большинством меньшевистско-эсеровских голосов: «Предоставляя товарищу Керенскому сформирование правительства, центральной задачей которого должна явиться борьба с заговором ген. Кор-

нилова, ЦИК обещает правительству самую энергичную поддержку в этой борьбе».

Однако ЦК и ПК большевиков уже вмешались в это дело с совсем другой — единственно правильной — стороны. Они обратились к населению с воззванием, в котором призывали солдат и рабочих дать вооруженный отпор помещичье-реакционной клике генерала Корнилова и клеймили поведение Временного правительства. А ночью 27 августа состоялось заседание делегатов почти всех воинских частей, входивших в состав военной организации большевиков. Отозвался Кронштадт. На заводах состоялись тысячные митинги... В полках выносили резолюции о готовности к воруженной борьбе...

Опасность разгрома революции была настолько очевидна, что ЦИК согласился на предложение создать «комитет для борьбы с контр-революцией», в который вошли и представители большевиков. В дальнейшем этот комитет принял название «военно-революционного». С ним вступила в контакт уже организованная большевиками особая комиссия для организации обороны.

Военно-революционный комитет начал с обследования петроградских баз корниловского восстания: юнкерских училищ и офицерских организаций. Одновременно — по его приказу — железнодорожниками были разрушены все железнодорожные пути к Петрограду, чтобы помешать движению корниловских эшелонов. Были приняты меры к вооружению рабочих, начала создаваться Красная гвардия, мобилизованы все продовольственные органы, уменьшен — ввиду грозящего кризиса — продовольственный паек до полуфунта хлеба, произведен по ордеру военно-революционного комитета обыск в корниловском гнезде — гостинице «Астория» и арестовано 14 офицеров... Словом, фактическая власть перешла в руки военно-революционного комитета.

Что же делал в это время Керенский? Как готовился он к отпору корниловских отрядов?

«Я никогда не забуду, — писал Керенский, — мучительно долгие часы понедельника и особенно ночи на вторник. Какое давление мне приходилось испытывать в это время, сопротивляться и в то же время видеть против себя растущее смущение. Эта петербургская атмосфера крайней психической подавленности делала еще более непереносным сознание того, что безначалие на фронте, эксцессы внутри страны, потрясение транспорта могли каждую минуту вызвать непоправимые последствия для и без того скрипевшего государственного механизма. Ответственность лежала на мне в эти мучительно тянувшиеся дни поистине нечеловеческая. Я с чувством удовлетворения вспоминаю, что не согнулся я тогда под ее тяжестью, с глубокой благодарностью вспоминаю тех, кто тогда просто по-человечески поддержал меня» (цитирую по Суханову, т. V, стр. 299).

Действительно, в этот день и последующую ночь он сделал все, чтобы «задушить» контр-революцию: он пригласил в правительство Савинкова, Терещенко и Кишкина. Потом назначил Савинкова же генерал-губернатором Петрограда и его окрестностей. Он беседовал с Милюковым и генералом Але-

ксеевым и потом, в показаниях по делу Корнилова, заявил: «Тогда, в 3 часа дня, 28 августа, мне и в голову не приходило, что передо мной сидят единомышленники...». Словом, предпринял решительно все, чтобы раздавить Корнилова... за исключением только тех мер, которые нужно было предпринять...

На призыв большевиков и военно-революционного комитета о ликвидации корниловского наступления откликнулось все население. Мало того, согласно директивам большевиков и комитета действовали тысячи людей, никогда этих директив и не видевшие, и ничего о них не слышавшие!

Продвижение корниловских войск к Петрограду было остановлено путем разборки железнодорожного пути. Среди них появилось множество солдат, по собственной инициативе начавших раз'яснять, с какой целью Корнилов послал войска на Петроград. К дикой дивизии ЦИК выслал делегацию черкесов и мусульман, которая, хотя не была допущена корниловскими офицерами к общению с дивизией, но успела сказать многим из своих соплеменников, чинов дивизии, о происходящем обмане, об отсутствии каких бы то ни было беспорядков в Петрограде, подавлять которые их везли... Среди «самых надежных» корниловских войск началось разложение.

К вечеру 28 августа пути к Петрограду были уже преграждены войсками, находившимися в подчинении у военно-революционного комитета.

А утром 29 августа к Керенскому уже явилась депутация от корниловских казачьих полков с повинной...

Керенский ободрился и издал приказ об увольнении от должности с преданием суду за мятеж генералов Корнилова, Деникина, Лукомского, Маркова и Кислякова и о смещении генерала Клембовского. А остальные, которые заявили о поддержке Корнилова и отказались повиноваться Временному правительству? Им была (секретно) об'явлена амнистия. Они ведь не большевики, вроде тов. Троцкого, продолжавшего сидеть в тюрьме!..

Перед Керенским встал серьезнейший вопрос: кого назначить в верховные главнокомандующие? Самым желательным кандидатом для него был генерал Алексеев. Ведь он чуть не согласился даже уступить ему портфель министра-председателя. Но как быть со Смольным? Там ведь теперь, пожалуй, даже Чхеидзе и Церетели станут протестовать...

Здесь пришла на помощь всегдашняя гениальность этого необычайного присяжного поверенного. Он назначил верховным главнокомандующим... самого себя, а начальником своего штаба — генерала Алексеева. Фактически это было равносильно назначению Алексеева верховным, но поди-ка, подкопайся!..

Это решение, конечно, вызвало восторг Дана, который не упустил случая опубликовать в «Известиях», что «решение А. Ф. Керенского взять на себя командование армией является в настоящий момент, когда необходимо с корнем вырвать и подавить мятеж, организованный командным составом, решением, вполне отвечающим интересам революционной демократии. Безусловно, это решение внесет успокоение в ряды солдатских масс, так как явится гарантией того, что никто из виновников этого мятежа не избежит заслуженной кары».

Неужели и ныне не краснеют, читая эти свои строки, те бывшие руководители соглашательского ЦИК'а, которые теперь документально знают, что их доверенное лицо — Керенский — только что имел намерение предоставить вечное «успокоение» ЦИК'у и вождям Совета при помощи корниловского третьего корпуса и дикой дивизии?

Керенский стал «с корнем вырывать мятеж, организованный командным составом» Он начал... переговоры со ставкой о сдаче, т.-е. не он сам, а генерал Алексеев по его поручению. Вы, может быть, думаете, что Керенский издал приказ об аресте мятежных генералов? Ничего подобного! Он приказал Алексееву «уговорить» их сдаться без всяких условий...

Вспоминаются строчки из рассказа Тургенева:

«— Антропка-а-а! — кричал один деревенский мальчик другому на лугу, с упорством и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

— Чего-о-о? — с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ.

— Иди-и сю-юда-а-а, чорт, леши-и-й!

— Заче-е-ем?, — ответил тот, спустя долго время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-ит, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся...»

Генерал Алексеев принял назначение на должность начальника штаба верховного главнокомандующего, чтобы спасти Корнилова и компанию.

Генерал Деникин в своих «Очерках истории русской смуты» (т. II, стр. 64 — 65) так описывает настроение этого старого реакционера:

«29 августа ротмистр Шапрон, один из участников организации (корниловской. *Д. С.)*, застал его в крайне угнетенном состоянии. Старый генерал сидел в глубоком раздумьи, и из глаз его текли крупные слезы. Он сказал:

«— Только что был Терещенко. Уговаривают меня принять должность начальника штаба при верховном — Керенском... Если не соглашусь, будет назначен Черемисов... Вы понимаете, что это значит? На другой же день корниловцев расстреляют. Мне противна предстоящая роль до глубины души, но что же делать? Неужели нельзя связаться с Крымовым и вызвать сюда хоть один полк? Ведь у вас тут есть организация... Отчего она бездействует? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить к действиям...»

«Главного руководителя петроградской военной организации, полковника С., разыскивали долго и безуспешно. Он, как оказалось, из опасения преследования, скрылся в Финляндию, захватив с собой остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей...

«Ночь на 30-е послужила решительным поворотным пунктом в ходе событий: генерал Алексеев, ради спасения жизни корниловцев, решился принять на свою седую голову бесчестие — стать начальником штаба у «главковерха» Керенского...

Итак, то доверенное лицо, которому Керенский поручил «ликвидацию» мятежа, начало свои действия с того, что связалось с одним из членов

петроградской корниловской организации и убеждало его начать восстание в Петрограде!.. Великолепно!! Предсказание «Известий» во главе с Даном начало осуществляться прежде, чем просохла краска статьи, в которой решение Керенского называлось «отвечающим интересам демократии»...

«— Антропка-а-а!! — кричал со слезами на глазах старый Алексеев.

«— Генерал Корнилов поручил мне передать следующее, — отвечал Лукомский: — 1) если будет об'явлено России, что создается сильное правительство, которое поведет страну по пути спасения и порядка, и на его решения не будут влиять различные безответственные организации, то ген. Корнилов немедленно примет меры к тому, чтобы успокоить те круги, которые шли за ним... 2) приостановить предание суду ген. Деникина и подчиненных ему лиц, 3) считаю недопустимым аресты генералов... 4) немедленный приезд в ставку ген. Алексеева... 5) ген. Корнилов требует, чтобы правительство прекратило немедленно дальнейшую рассылку приказов и телеграмм, позорящих его, Корнилова. С своей стороны, ген. Корнилов обязуется не выпускать приказов войскам и воззваний к народу, кроме уже выпущенных» (В. Владимирова, стр. 187).

Вы удивлены? Подождите удивляться.

«В ответ на это последовало распоряжение Керенского всем, всем, всем, что оперативные распоряжения генерала Корнилова, отдаваемые его именем, обязательны к исполнению...» (там же, стр. 187).

Как? Отстраненного от должности с преданием суду генерала? Подлежащего по подобранным министром юстиции Зарудным статьям закона расстрелу за мятеж на фронте? Да, да! Не удивляйтесь! Разве вы забыли, что дело идет не между противниками, а между вчерашними друзьями и заговорщиками. из которых один пойман другим, но поймавший боится разоблачений?..

Конечно, Корнилов воспользовался предоставленным ему правом отдавать оперативные распоряжения, чтобы стянуть к Могилеву верные ему войска с целью продолжения заговора... Советам в Смоленске, Витебске, Минске и др. городах пришлось организовывать отряды для взятия Могилева, становившегося новой угрозой революции!..

30 и 31 августа и 1 сентября генерал Алексеев все кричал по телеграфу «Антропка-а-а!». Он говорил не только с чинами Корнилова, но вызывал к аппарату и других заговорщиков: председателя главного комитета союза офицеров и т. д., рекомендуя им «пока» полное спокойствие.

Такой образ действий вызвал решительный протест со стороны Советов и волнение в армии и городах. К Керенскому посыпались телеграммы с возмущением действиями ген. Алексеева. Тогда Керенский послал Вырубову (помощнику ген. Алексеева по гражданской части) 1 сентября следующую телеграмму:

«Необходимо сегодня же арестовать пять — шесть человек, о чем широко оповестить ввиду быстро распространяющегося слуха о нашем бездействии и даже некоторой сознательной мягкости. Слух этот вызывает разложение в войсках и массе. Убедительно прошу вас, чтобы нужное существо не вкладывалось бы в неприемлемые для демоса формы...» (В. Владимирова, стр. 193).

Последняя фраза требует расшифровки. Думаю, что перевести ее на русский язык можно только так: «Убедительно прошу вас, чтобы наша мягкость и бездеятельность по отношению к заговорщикам не били в глаза демократии». Думаю, что против такого перевода не сможет возражать даже сам Керенский, ибо другого толкования этим словам придать нельзя.

Но Алексеев вовсе не желал арестовывать своих друзей, и Керенскому пришлось поставить Алексееву ультиматум: если через два часа приказ об аресте не будет выполнен, то он, Керенский, будет считать Алексеева пленником ставки и пошлет войска для его освобождения.

Это тоже не помогло, и через два часа Керенский приказал послать Алексееву телеграмму, которую тов. В. Владимирова правильно называет «слезной», словом, «слезограмму»:

«А. Ф. Керенский поставил генералу Алексееву срок два часа, который истек в 19 час. 10 мин., до сих пор ответа нет. Главковерх требует, чтобы генерал Корнилов и его участники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления Советов и большевиков ожидается не только в Петербурге, но и в Москве и в других городах. В Омске арестован командующий войсками, и власть перешла к Советам. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя: или промедление и гибель всего дела спасения родины, или немедленные действия и аресты указанных вам лиц. Тогда возможна еще борьба. Выбора нет. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет генералу Алексееву решение, и он примет его немедленно: арестуйте генерала Корнилова и его соучастников. Я жду у аппарата вполне определенного ответа, единственно возможного, что лица, участвующие в восстании, будут арестованы... Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Нельзя дольше так разговаривать. Надо решиться и действовать» (там же, стр. 193).

Слезограмма подействовала, и Корнилов с его компанией решил арестоваться. «Антропка» пришел... получив гарантии, что его сечь не будут...

В ставке Алексеев очень сурово отнесся к войскам, оставшимся на стороне Временного правительства, и чрезвычайно благосклонно к корниловским, в особенности к командному составу последних...

Керенский получил от «революционной демократии» в лице Чхеидзе, Дана, Чернова и компании полномочия для «решительной» борьбы с контрреволюцией. И воспользовался этими полномочиями «беспощадно»!

Он послал для производства следствия над взбунтовавшимися генералами комиссию во главе с прокурором Шабловским. Следственная комиссия прежде всего отказалась от допроса... генерала Корнилова. По заявлению членов следственной комиссии, «ей тяжело допрашивать Корнилова»... Сам Керенский пишет по поводу этой комиссии («Дело Корнилова», стр. 173): «Сознаюсь, я был раздражен... чрезвычайной беспристрастностью членов комиссии, которая переходила уже в явную склонность не видеть ничего

преступного в деятельности лиц, привлеченных к ответственности по делу Корнилова»...

Словом, Керенский как будто бы жалуется на комиссию. Но жалоба эта не стоит многого. Ведь комиссию-то назначал не кто иной, как Керенский!..

С другой стороны, мне хочется высказаться в защиту комиссии. Она вынуждена была иметь «явную склонность не видеть ничего преступного в деятельности лиц»... Ведь иначе ей пришлось бы начать с ареста самого Керенского!..

Арестованные генералы устроились чрезвычайно комфортабельно. Бо́льшую часть их выпустили, оставшихся перевели в Быхов. На вокзале они свободно разгуливали с офицерами ставки, пришедшими их проводить. Забрали с собой массу вещей для «необходимого комфорта» в новом месте заключения. Захватили лучшего повара из гостиницы «Бристоль» (В. Владимирова, стр. 195).

Лукомский вспоминает (т. I, стр. 261):

«Внутри здания (в Быхове) мы пользовались полной свободой и ходили, когда захотели, один к другому... Из ставки в Быхов был прислан повар (еще один! *Д. С.)* и нас кормили вполне удовлетворительно. Сношение с внешним миром официально было воспрещено, но так как комендантом был назначен помощник командира Текинского полка, человек вполне преданный Корнилову, — он докладывал о всех приезжавших в Быхов и желавших нас видеть, и к нам допускались все те, которых мы хотели видеть. Вследствие этого очень скоро наладилась прочная связь с Петроградом, Москвой и Могилевым, и мы были в курсе всего того, что происходит, и вели переписку с нужными нам лицами... Штаб верховного главнокомандующего также осведомлял нас по всем нас интересующим вопросам...»

— Позвольте, — скажут мне. — Но ведь верховным главнокомандующим в это время уже был Керенский! Неужели он посылал доклады «по всем интересующим вопросам» арестованным генералам?

На это я могу попросить только еще раз прочитать цитированные мною строки генерала Лукомского. Значит, да...

О, конечно, без тени краски стыда на лице Керенский говорил несколько дней спустя: «Корниловщина своевременно и до конца вскрыта мной»... Конечно, он заслуживал бесконечного доверия и полнейшей поддержки, за которую распинались Церетели и Чернов, и, конечно, нужно было быть только такими ослепленными, как большевики, чтобы протестовать против этого, чтобы громко заявлять, что ликвидацию корниловщины надо начать с Керенского!

Конечно, все арестованные генералы были в конце концов выпущены на свободу, при чем ставка им заготовила и переслала необходимые документы, и, конечно, никакого суда над ними не было. Но последняя группа их в 5 человек — надо это отметить — была освобождена ставкой 27 октября, уже после Октябрьской революции в Петрограде.

(Продолжение следует.)

Роль рабочих в Пугачевском восстании.

(К 150-летию со дня казни Пугачева).

С. Г. Томсинский.

10 января, 150 лет тому назад, в Москве на Болоте четвертовали Емельку Пугачева. Пугачевский поток, заливший больше половины тогдашней России и едва не смывший холопью кабалу, представляет большой интерес для нашей революционной эпохи.

Наша задача — выяснить участие и роль рабочих в этом революционном потоке. Такой попытки в нашей литературе еще не было.

I.

Процесс первоначального капиталистического накопления затянулся в России на целое столетие. Предварительное накопление капитала в Англии происходило не только за счет «огораживания» мужика, но и за счет колоний, которые зверски расхищались различными торговыми компаниями. В России же двести тысяч помещиков грабили исключительно 25 миллионов своих мужиков и незначительное число «инородцев». Происходила медленная и упорная война двух хозяйственных систем — капитала, уже начавшего организовывать производство, и кочевых орд восточных окраин, едва затронутых налетом простого товарного хозяйства. Торговый капитал энергично завоевывал берега морей, новые торговые пути и создавал мощный централизованный аппарат. Каждое его торжество сопровождалось постройкой новых мануфактур и заводов, т.-е. экспроприацией новых десятков тысяч мужиков... Беглые, сироты, «не помнящие родства», бродяги, нищие, проститутки, пленные, солдатские дети, ссыльные с распоротыми ноздрями, «инонационалы», за участие в восстаниях, рекруты, рабочие, знающие заводское дело, — все ссылались на каторжные горные рудники, живыми погребались в шахтах и гибли по дороге из центральной России в Сибирь.

«Капитал не знает другого метода решения вопроса, кроме насилия, которое является постоянным методом накопления капитала, как общественного процесса».

Средняя ежегодная добыча в России (в пудах) [1].

	Чугуна.	Железа.	Меди.
1701—1725 годы.	2.100.000	1.000.000	12.000
1726—1730	3.000.000	1.500.000	35.000
1731—1740	3.100.000	2.000.000	40.000
1741—1760	4.200.000	2.500.000	101.000
1761—1762	5.000.000	2.500.000	115.000
1763—1796	6.500.000	3.000.000	180.000
1797—1801	7.000.000	4.500.000	217.500

До восьмидесятых годов XVIII в. Россия добывала вдвое больше чугуна, чем Англия, и вывозила за границу половину своего производства. Еще в 20-х годах XIX в. Россия получала чугуна в 1½ раза больше Франции, в 4½ раза больше Пруссии, в 3 раза больше Бельгии.

В 1784 году в английском парламенте констатируется, что Англия не может обойтись без русского полотна и что русское сырье вообще существенно необходимо для английской промышленности и торговли. По данным конца XVIII в. (1788 г.), Россия ввезла во Францию больше товаров, чем Северо-Американские Штаты, и больше, чем Пруссия, Швеция, Дания с Норвегией, Швейцария, Милан и Венеция вместе взятые.

В конце XVI в. Англия ежегодно добывала до 6 милл. пуд. чугуна, а в 1740 г. — не больше 1.080.000 п. Безграничные лесные богатства обеспечивали за Россией гегемонию в этой области до 1784 года, т.-е. до того времени, когда пудлингование открыло новую эру в металлургии. По количеству своей добычи Россия шла впереди Англии, но значительно отставала от нее своей техникой. Благодаря вольнонаемному труду, одна английская домна в 1740 г. давала 22.040 пудов чугуна [1]), а одна русская через 27 лет давала в год только 4.643 пуда. Для того же, чтобы держаться даже на таком низком уровне, капитал должен был беспощадно расхищать живую рабочую силу: не все заводы пользовались более дорогой рабочей силой — лошадиной. С 1734 г. к доменной печи прикрепляли от 100 до 150 крестьянских дворов, к каждому молоту — 30 дворов, к медному заводу — по 50 дворов на тысячи пудов выплавляемой меди. Через двадцать лет число прикрепленных к одной печи уменьшилось, а выплавка увеличилась. За 32 года (1745—1777 г.г) число печей, домен и молотов увеличилось в пять раз (с 215 до 1.055), а число рабочих — только втрое (с 87.253 до 243.452). Производительность труда одного рабочего увеличилась на 166%. Этот успех был вызван не техническим оборудованием, а нажимом на рабочего. Заводчики получили право в 1736 г. приписывать к заводам не целые деревни, а отдельные семейства на выбор. Заводские щупальцы выхватывали отборные, лучшие крестьянские хозяйства. Это дало благоприятные результаты. Крестьянская семья была разрушена: среди «собственных» рабочих частных заводов было к концу XVIII века 49.372 мужчин, 60.474 женщин и немалое количество детей, с де-

---

[1]) Боголюбский, Опыт горной статистики, СПБ. 1878 г., стр. 117, 125.

[2]) См. Пам. кн. для русских горн. людей, 1863 г.

пятилетнего возраста и моложе. В 1725 г., на заре горнозаводского дела, к частным заводам было приписано 30.000, а накануне пугачевщины их было 243.452!

На заводах «мануфактур-коллегий» было в то время от 33 до 67% вольнонаемных рабочих[1]), но на горных заводах вольнонаемные рабочие почти не были заметны. Заводчикам было невыгодно увеличивать вольнонаемных рабочих, которых было трудно достать за низкую заработную плату.

Металлурги пользовались почти неограниченными монополиями и привилегиями. «Протекционная система была искусственным средством фабриковать фабрикантов»... Заводчики были настоящими феодалами. Акинфий Демидов оставил детям в 1745 году: до 21 железных и медных завода, 2 солеваренных, 2 кожевенных, 29.740 душ крестьян, 24 каменных и деревянных дома. Строгоновы имели в 1763 г. 11 заводов, 117 медных и 17 железных рудников. В их распоряжении находилась целая империя, не уступавшая по своим размерам Австро-Венгрии, со всеми минеральными богатствами Урала. Мясниковы, имевшие за собой при открытии заводов до полумиллиона рублей долгу, в течение 28 лет не только полностью уплатили весь долг, а еще приобрели 8.000 душ крестьян, построили несколько заводов и скопили 2½ миллиона тогдашних рублей чистого капитала[2]). Известный авантюрист Шемберг, ставленник Бирона, захватил в свои руки все Гороблагодатские заводы, Лапландские рудники и приписал к ним еще 3.000 крестьян. Таких примеров можно было привести очень много. С 1754 по 1762 г.г. были розданы в частные руки почти все казенные Уральские заводы со всеми приписанными к ним крестьянами. Исключительные привилегии получили компанейщики по добыче золота и серебра. Нарушение их привилегий наказывалось конфискацией имущества, кнутом с вырезанием ноздрей и каторгой.

Концентрация заводов быстро росла: в 1777 году десять фирм имели 87 заводов, 37 заводов было в руках 26 фирм и только 23 осталось в распоряжении казны. Металлургическая промышленность уже в то время представляла собою крупное производство. В 1767 г. было 28 заводов с количеством рабочих до 1.000, 24 завода с количеством рабочих до 5 тысяч и восемь заводов с числом рабочих до 14-ти тысяч. Накануне пугачевщины концентрация усилилась. Число приписных к отдельным заводам достигало 30—40 тысяч и больше.

Большинство заводов было открыто в 40—60 годы XVIII в. За первые 49 лет существования горнозаводского Урала (1700—1749) было открыто столько же заводов (79), сколько (78) в течение последующих 19 лет (1750—1769). Утроенный темп развития заводов, в связи с заграничным экспортом, вызвал обостренную борьбу за рабочие руки. Заводчики жаловались, что «дело приносило бы гораздо бо́льшую прибыль, если было бы достаточное число рабочих». На многих заводах не всегда производилась работа из-за не-

---

[1]) В. И. Семевский, Крестьяне в царствование Екатерины II, т. I.

[2]) И. Боголюбский, Горная статистика России, стр. 62.

достатка рабочих рук. Из-за этого были даже проданы некоторые крупные заводы. Заводчикам приходилось посылать за рабочими вербовочных агентов во внутреннюю Россию. Незначительный круг вольнонаемных рабочих вербовался из среды местных инородцев за такую плату, «которая с избытком награждала труды заводчика» [1].

Вольнонаемные рабочие поэтому убегали, но оставшиеся были связаны за беглых круговой порукой. Крупные Демидовские Колывано-Воскресенские заводы, увеличившие свое рабочее население за 24 года (1747—1771) почти в 13 раз (с 3.121 до 40.016), хотели прикрепить к заводам не только крестьян, но и купцов из государственных крестьян, городских купцов и ремесленников и требовали производить для них специальные рекрутские наборы. Заводы в данном направлении встретили отпор со стороны казенных соляных контор. Главная соляная контора предложила в 1769 г. отобрать рабочих у частных заводчиков и передать их в распоряжение соляного ведомства [2]. Одна сила каторжан была недостаточна для ломки соли: только для доставки соли из Астрахани в Саратов требовалось для каждой станции по 500 рабочих, а для вывоза соли из Симбирской губернии нужно было ежегодно не менее 120.000 подвод! [3]).

В борьбе с побегами и восстаниями рабочих, заводы превратились в территорию, охваченную беспрерывной гражданской войной. Они окружались деревянными укреплениями, рвами, башнями, вооруженными пушками. Вне заводского строения ставились батереи с артиллерией. На многих заводах на каждые десять рабочих приходился один солдат. На работу и с работы рабочих часто сопровождал вооруженный конвой. От «лености» вылечивали шпицрутенами, батогами, плетьми, кнутами, кандалами, бритьем головы, истязанием, денежными штрафами, вычетом из жалованья, взятками, военной дисциплиной, оковами во время работы, постройкой плотин зимой, заключением в исправительной камере, навязыванием на шею колодки, сверхурочными работами, перемещением на работу, «где какая есть тягостнее и подлее, чтобы перед другими порядочными людьми, будучи в презрении чинимые им за продерзости наказания более чувствовали» [4]).

Богословские заводы представляли собой ссыльный округ, где люди гибли, как мухи. Одна попытка не отдавать заводам своих детей усмирялась вооруженной силой [5]).

В Екатерининском Архиве сохранилась жалоба на приказчика, который, вымазав рабочему зад смолой, водил его по заводу, прижаривая у горнов. Рабочие жаловались не на свирепость такого наказания, а на то, что они ему подверглись безвинно [6]).

---

[1]) Журнал дневник путешествий капитана Рычкова в 1769—1770 г.г., стр. 13.

[2]) Дела Гос. архива, разряд XIX, № 191 за 1761—1771 г.г.

[3]) Дела Гос. архива, разряд XIX, дело № 195, 1773 г.

[4]) Герман, Сочинение о Сибирских рудниках, 1809 г.

[5]) Труды Пермской Учен. Арх. Ком., т. II, 1893 г., стр. 75.

[6]) Екатеринбург за 200 лет, изд. 1923 г.

Неисправных дровосеков часто «положа на рубленный пень так плетьми немилосердно секли, приговаривая при битье: за то бьем, что твой де пень не гладок и как тот пень до земли брюхом своим загладишь, то и сечь перестанем!». В Невьянском заводе Демидова двор был устлан чугунными плитами, и под ним был целый лабиринт переходов и тайников. В одном нашли скелеты, прикованные цепями...

В военных казармах жилось гораздо привольнее, но правительство распорядилось «не брать рекрут из мастеровых и рабочих, дабы они не разбежались к башкирцам и калмыкам».

Рабочий находил единственный отдых в пьянстве. Заводчики констатировали, что «мастеровые люди от всегдашнего пьянства в совершенное безумие приходят», дерутся и «друг друга до смерти убивают» [1]).

На этом заводчики зарабатывали. Заводский Устав предписывал «за один день за пьянство вычитать за месяц жалованья, держать скованным при работе целый месяц, а «ежели они от этого пьянства не уймутся, велеть их держать всегда скованными при работе, а на пропитание давать только один хлеб сухой, да квас» [2]).

Не меньшую каторгу представляла работа. Заводы из-за экономии освещались не свечами, а лучинами. В рудниках работали по пояс в воде. Не проходило ни одной зимы, чтобы «на заводах многие работники не помирали или возвращались домой инвалидами» [3]).

При обжигании руды распространялся такой едкий дым, что «курицы во множестве от судорожных припадков околевали», а рабочие умирали в возрасте 30—40 лет. После работы приходилось спать под открытым небом, так как не везде были казармы для ночлега. Рабочим давались такие большие задания, что «едва самый прилежнейший и довольно силы имеющий работник исправить оное мог». Поэтому им приходилось вместо себя нанимать рабочих и платить втрое и вчетверо больше того, сколько они сами получали.

Крестьяне и собственные мастеровые жили от заводов на расстоянии сотен (300—700—800) верст. Между заводами были непроходимые дороги, болота, реки, леса. «С великою трудностью на завод доезжаем, — жаловались крестьяне,—а обратно лошадь пропадает». Заводы не имели никаких мостов и переправ. Часто заводчики нарочно не исправляли дорог, чтобы рудоискателям и проезжающим гостям отбить охоту путешествовать к чужим рудообильным местам» [4]). При выходе из домов крестьяне обязаны были иметь с собой хороших лошадей. «Кто оных не имел, того наказывали. Поэтому крестьяне должны были за одну лучшую лошадь отдать своих двух худых». Крестьяне своего фуража завести не могли, так как при заводах не было лугов. Они должны были покупать заводское сено по дорогим ценам, а покупать у частных торговцев дешевле они не имели право [5]).

---

1) Н. Попов, Татищев и его время, 1861 г.

2) Архив Истории Труда, № 5.

3) Палас, Дневник путешествий, стр. 300.

4) Паллас, т. II, стр. 288.

5) Гос. Архив, XIX разряд, дело № 115.

Приходить на заводы назначено было три раза в году. При расстоянии в 800 в. пеший крестьянин тратил на проход три раза в оба конца 192 дня. Вместе с 120 рабочими днями это составляло 312 дней. С 1760-х годов стали привлекать к заводам все дальше живущих крестьян. Дошло до того, что крестьян Казанской губернии приписывали к Оренбургским заводам. Работы приписных всегда совпадали со временем посева и уборки хлебов. Из-за неотложных дел рабочих вовсе не отпускали. А таких работ было не мало: плавильное дело, ремонт построек, плотин, водопроводов, горнов, молотов и т. д. Семейства ушедших крестьян не справлялись с полевыми работами, потому что на завод уходило все мало-мальски трудоспособное население. А за переход на заводы рабочие ничего не получали. Своим каторжным трудом они зарабатывали ничтожные гроши. Заработная плата, установленная в 1724 г., не повышалась до пугачевщины, а поборы и налоги значительно возросли. Цены на хлеб поднимались, так как заводы скупали весь хлеб у земледельческого населения, которое катастрофически уменьшалось. За десять лет до пугачевщины хлеб вздорожал от 100 до 300%. Чрезвычайно вздорожала соль под влиянием войны с Турцией (с 30 до 75 коп. пуд), вследствие прекращения вывоза крымской соли. Положение рабочих значительно ухудшилось благодаря военным налогам. Рабочий за свою дневную заработную плату мог бы быть сыт хлебом, но он ее никогда не получал. Рабочий должен был платить подати не только за себя, но и за больных, инвалидов, стариков, детей, младенцев и умерших [1]). Налоги вносили не сами рабочие, а заводчики, вычитавшие их с заработной платы. Бесконечные вычеты и штрафы производились не по книгам, а по памяти и по произвольным срокам. Ведомости, собранные Семевским по отдельным заводам, показывают, что заработная плата рабочего составляла лишь часть штрафов и податей. Борьба рабочих за самостоятельный взнос подушных никаких результатов не дала. «Наш хозяин, — жаловались рабочие одной фабрики, — на пять месяцев задержал нам уплату жалованья и хлеба. Он привел нас, безгласных, со всем нашим семейством скитаться по разным жительствам и кормиться мирским подаянием, и мы помираем все голодной смертью. Когда ни придем в его дом с просьбой, он велит нас, безгласных, из двора своего палками сгонять. От голоду пришли мы ныне в отчаянное житье и помираем со всем семейством голодной смертью» [2]).

Сенат был против увеличения заработной платы, так как «всякое возвышение платы неразрывно влечет за собой на изделия дороговизну, то и опасно, чтобы повышением платы цены на российские продукты увеличились так, что оные нельзя будет отпустить за границу». Сенат разрешил бы увеличить заработную плату на одну копейку, но, «чтобы заводские крестьяне, воспользовавшись такой прибавкой, не взяли себе его за повод и впредь отваживаться на такое же непослушание, и тем же средством вымогать еще такой же прибавки, для этого сенат рассудил их оставить ныне в прежнем положении без всякой прибавки. Это доказывается тем, что прибавка 1769 г.

---

[1]) Гос. Архив, XIX разряд, № 191, 1766—1771.

[2]) Панинский архив, д. № 15, л. 54—56.

не могла их успокоить. Опасно, что и впредь, какую бы прибавку им ни сделать, они все бунтовать будут». На частных заводах рабочих гораздо больше эксплоатировали. На казенных заводах рабочие отрабатывали в 60-е годы подушный оклад 1 р. 12 к. на душу, а на частных — 1 р. 72 к. К частным заводам крестьяне часто приписывались без земли и принуждены были для своего прокормления нанимать земли у башкирцев [1]). Этим об'ясняется тот факт, что рабочие частных заводов принимали более энергичное участие в восстании, чем рабочие казенных заводов.

Итак, вопрос о том, быть или не быть, жить или умереть, во всей своей остроте встал перед рабочими и крестьянами в 70-е годы XVIII века, когда интенсификация барщины и расхищение туземных земель для горнозаводского дела достигли своего апогея. Горнозаводский район и «инородцы» ответили пугачевщиной.

II.

Буржуазные историки не мало потрудились над тем, чтобы создать превратное представление о пугачевщине.

Палач стоял у дворянского порога... Мужицкий топор замахнулся над троном императрицы. Еще секунда... и оборвалась бы жизнь господствовавшей клики. «Чернь ежеминутно ждала восстания в Москве. Дворяне не могли полагаться на своих слуг, первых и злейших врагов, так как крайнее безрассудство и глупость подлого народа была известна» [2]). Дворянство понимало, что «Пугачев, прозевав Москву, потерял не только второй город империи, но и армию в сто тысяч рабов, которые его там ждали и разбили бы свои оковы при его приближении» [3]).

Изображая пугачевщину, как бессмысленную мужицкую стихию, дворянско-буржуазные историки лишь отражали настроения своего класса. Под портретом Пугачева дворянский поэт мог написать лишь одно: «Я к ужасу привык, злодейством раз'ярен, напоен варварством и кровью обагрен».

На самом деле армии Пугачева вырастали буквально из-под земли. Екатерининские генералы совершенно растерялись, когда они пришли в соприкосновение с восставшими. В их глазах Пугачев был какой-то волшебной шапкой-невидимкой. «Злодей в одном месте, — донес кн. Щербатов, — делает разорение. В то же время в природном своем крестьянском виде пробирается в другое и опять начинает в новых местах замешательство». На другой день после одного жаркого боя главком Михельсон увидел 2.000-ую толпу мятежников в пяти верстах от своего отряда. Получив известие, что Пугачев разбит, он никак не мог себе представить, что это были пугачевцы. Он думал, что идет корпус генерал-поручика Деколонга. Восставшие, по данным правительственных офицеров, держались в бою с тем отчаянным зверским упорством, которое дается безвыходным положением, когда приходится думать

---

[1]) Гос. архив, XIX разряд, д. № 115.

[2]) Русский быт в XVIII в., изд. 1923 г., вып. 2, стр. 206.

[3]) Анналы, № 3, стр. 168.

уже не о спасении, а только о том, чтобы возможно более дорогой ценой продать последние мгновенья своей жизни. Из домов выбивали восставших штыками, прикладами, из улиц — картечью и чем попало... Один генерал сообщил, что после крупного боя он с трудом мог захватить двух пленных. «Каждый из сих варваров кричал, что лучше умрет или желает живым быть зарытым в землю, нежели сдаться».

На местные гарнизоны правительство не могло надеяться. «Сия негодница, — писал главком Бибиков, — довольна, что ее не трогают и, до первой деревни дошедши, остановясь, присылают рапорты, что окружены и итти далее нельзя. Они ободрили злодеев настолько, что осмелились в самые им лезть глаза». Население было уверено, что войско не пойдет против «царя», и народ явно говорил, что солдаты драться не будут. Бибиков слышал эти рассказы по пути в Казань. Солдаты Владимирского пехотного полка говорили, что положат оружие перед появившимся «царем». Известие о походе на восток вызвало у них большую радость [1]).

Пугачев начал действовать в середине сентября 1773 года. Наступая на Яицкий городок с отрядом в 300 человек, он уже через четыре дня имел тысячный отряд. В конце сентября с трехтысячной армией он подступил к Татищевой крепости. Взяв ее, Пугачев овладел не только укрепленным пунктом, лежавшим на пути между Оренбургом, Самарской линией и Яиком, но и уничтожил высланный против него отряд из лучших войск края. Движение его к Сакмарскому городку имело большой смысл. Захват этого пункта ставил Оренбург в осадное положение. В Сакмарском городке Пугачев имел возможность наблюдать за подкреплениями, идущими к Оренбургу с двух сторон: с Самарской линии и Московской дороги или с Верхнеисецкой линии и из Сибири. Обойдя Оренбург, пугачевцы непосредственно действовали и на Башкирию и на русское заволжское население. Одна армия повстанцев блокировала Оренбург, другая — Уфу, в Пермской и Оренбургской губерниях поднялись горнорабочие, в южной части последней губернии — киргизы, в Ставропольском районе — калмыки, во всем Закамском крае — башкиры и т. д. В начале осады Оренбурга пугачевская армия состояла из 104.000 башкир, 17.000 горнозаводских рабочих, 300 калмыков. В декабре она возросла до 140.000 человек. Весною 1774 г. в восстание было втянуто не меньше 300.000 человек. Разбитые в одном месте, революционные армии воскресали в другом. Весною 1774 г. пугачевцы потерпели тяжкое поражение под Оренбургом и Татищевой крепостью, а в июне месяце, опираясь на горные заводы, Пугачев с 20.000-й армией подходил к Казани. Хотя под ней он был трижды разбит, однако его переправа через Волгу немедленно вызвала восстание в Нижегородской, Казанской, Пензенской, Симбирской, Тамбовской, Саратовской и Воронежской губерниях. За ним гнались три правительственные армии: одна — по его следам, другая — наперерез, третья — на Пензу. Угроза Москве заставила екатерининское правительство снять всю армию с турецкого фронта и бросить на Пугачева 7 полков, 3 роты пехоты, 9 лег-

[1]) Дубровин, История Пугачевского бунта, II, 248.

ких полевых команд, 18 гарнизонных баталионов, семь полков и 11 эскадронов регулярной кавалерии, четыре донских полка, 1.000 малороссийских казаков, казанский и пензенский дворянские корпуса, большие отряды кн. Долгорукова и Деколонга. Безотчетный страх усилился от того, что ни один из генералов не знал, куда из Казани направилась главная пугачевская армия. «Сам сей тиран проклятый с лучшими его разбойниками ушел, но в которую сторону, о том еще нет известия». Главком полагал, что «злодей, утомив преследующие его отряды, внезапно бросится на Москву». Правительство имело основание беспокоиться. Под Казанью Пугачев потерял почти все свое войско. Трехтысячная башкирская армия его покинула, как только он перешел Волгу. А в Саранск он прибыл уже с 800, в Пензу — с 3.000 и, наконец, в Саратов—с большой 10.000-й армией и 18 пушками! После поражения под Саратовом его армия снова сказочно выросла. В бою под Царицыном в августе 1774 г. Пугачев потерял 19 пушек, 4 единорога, весь обоз, 2.000 убитыми и 6.000 пленными. «Самозванец шел везде, где только желал, подкрепляя свою толпу разорением и разграблением великих и многочисленных богатств как казенных, так и партикулярных. Ослепленная невежеством чернь везде сего изверга рода человеческого с восклицанием встречала». Вместо того, чтобы итти через Нижний на Москву и поднять великорусского крепостного мужика, Пугачев бежал вниз по Волге, надеясь на помощь Донского казачества. Он приглашал в свою армию донцев, желающих «оказать ревность и усердие для истребления вредительных обществу дворян. Он обещал казакам, на первый случай, не в зачет жалованья по десять рублев награждения».

Не случайна такая тактика пугачевских вождей. Яицкие [1]) казаки ставили себе ограниченную задачу — освободить родной Яик от великорусского торгового капитала. Если же они стали во главе движения, которое выходило из рамок их задач, то в этом они были меньше всего виноваты — их нес поток. «Дерзость и буйность подлого народа до самого высшего градуса доходили», когда получались царские манифесты, призывавшие «к уничтожению и искоренению дворян, которые привыкли всею Россией ворочать, как скотом». Восставшие толпами валили к «царю», который «как гостинец посылал свои поздравления заблудившимся и изнуренным, находившимся в печали». Своим сиротам он даровал «земли, воды, леса, рыбные ловли, жилища, покосы, хлеб, веру, закон, посев, питание, рубашки, жалованье, свинец, порох» и т. д.

В XVIII в. беглый холоп и вождь холопьей рати — Болотников, именем названного Дмитрия, поднял восстание крепостных. Спустя сто лет, когда административный пресс был снова завинчен «до отказа», вновь появились нелегальные и гонимые цари, с которыми рабская Россия связывала свои надежды. Рабочие и крестьяне ежегодно посылали в Питер ходоков за «справедливыми собственноручными грамотами императорского величества». Когда

[1]) Яик, столица казачества, имел 3.000 домов. Кроме большого числа иностранных купцов, которые имели множество приказчиков и рабочих, в городе постоянно жило 15.000 казаков, татар и калмыков (Палас, Путешествие, I. 412).

иссякало терпение ждать, то заговаривала артиллерия... Неожиданная смерть Петра III, запретившего заводчикам покупать деревни, нашла живейший отклик среди горнозаводского населения, выдвигавшего своих царей. «Емелька Пугачев, — вор и обманщик» — уничижительное официальное прозвище мужицкого царя, — в каждом манифесте старался юридически обосновать, что он «истинный Петр III, который был лишен престола «недоброжелателями и завистцами общего покоя». Он взывал «к верноподданным рабам», которых дворяне хотели, как «младенцев осиротить», уповал «на всемогущего бога», рассказывал о своем «отеческом великодушии», обещал «всемилостивейше прощать подчиненным», поступать с противниками его короны по всей строгости «монаршего правосудия» и приказывал «встретить его с надлежащею церемониею, как долг присяги повелевает», остаться верными ему «сладоязычному, мягкосердечному благодетелю, прощающему обиды народу и животным» и искоренять «извергов рода человеческого — дворян и господ».

Восставшая армия даже все названия слепо заимствовала из правительственного лексикона. Верховный Совет Пугачева получил название «военной коллегии». Даже пугачевские главкомы присвоили себе имена екатерининских генералов: Чика — стал графом Чернышевым, Шигаев — графом Воронцовым, Овчинников — графом Паниным, Чумаков — графом Орловым и т. д.

Яицкое казачество, ведшее торговлю с иностранцами и часто бывавшее в походах, сознательно выдвинуло царя именно в это время: как раз тогда на юге велась война с Турцией, на западе — бурлило в Польше, на севере опасались войны со Швецией, с востока армия была уведена на юг.

Максим Горшков, секретарь пугачевской военной коллегии, показал на допросе, что «после многих совещаний и разговоров казаки приметили в Пугачеве проворство и способность и решили сделать его над собою властителем и восстановителем своих притесненных и почти упадших обычаев». Они назвали его Петром III, дабы он восстановил все прежние наши обряды, какие до сего были, а бояр, которые нас разоряют, всех истребить, надеясь на то, что сие наше предприятие будет подкреплено, и сила умножится от черного народа, которые также от господ притеснены и под конец разорены» [1]).

Казак Мясников, у которого руки, ноги затряслись, когда он увидел на груди Пугачева «царские знаки», говорил, потом: «Мы из грязи сумеем сделать князя. Если он не завладет Московским царством, так мы на Яике сделаем свое царство». Распределив роли, казаки клятвами положили, чтобы «где кто ни попадется, не щадя живота своего, о том не доносить». Они очень умело разыгрывали свою роль: в честь Пугачева устраивались специальные парады, в главную ставку посылались делегации для того, чтобы убедиться, что «Петр III — истинный сладоязычный царь», горячо полемизировали с дворянами и доказывали, что «Емелька Пугачев не самозванец, а уцелевший Петр III, которого преследуют дворяне».

---

[1]) Дело Государств. архива, № 421, л. 1—2.

В разгаре восстания почти каждая деревня выдвигала своего царя. Крестьяне с. Чердаки, Пензенской губ., пошли за отрядом из 15 человек, во главе которого стоял один, называвшийся государем Петром Третьим. Крестьяне знали, что этот царь был беглый помещичий дворовый человек «Иванов», но вышли ему навстречу с хлебом «и, став на колени, присягу учинили, что веруют государю Петру Федоровичу»... Такие сцены повторялись в каждой деревне.

Идеология монархизма соответствовала интересам той части восставших, которая была передовым застрельщиком движения. Новые исследования устанавливают, что Пугачев был не беглый казак, а атаман Терского казачества, а атаманы, как известно, выбирались из среды богатого казачества. Не последнюю роль в руководстве движением на местах играли однодворцы, т.-е. мелкие помещики и государственные крестьяне. Можно перечислить сотню однодворцев, которые у Пугачева занимали места воевод и атаманов. Падуров, видный участник движения, был депутатом от оренбургских казаков в екатерининской законодательной комиссии. Один из главных помощников Пугачева, башкирский старшина Баим Тархан, имел от 5 до 6 тысяч лошадей. Салават Юлаев, вождь башкирского народа, был крупный землевладелец, имущество которого было экспроприировано русскими заводчиками. Одним из секретарей военной коллегии был Дубровский, мценский купец. Иностранной корреспонденцией Пугачева заведывал пленный Шванович, поручик второго гренадерского полка, сын крупного дворянина. Восставшие в своих приговорах неизменно предлагают выбирать начальников из среды «лучших», т.-е. зажиточных. Сама екатерининская комиссия должна была констатировать тот факт, что активной участницей движения была богатая часть населения. Недаром правительство при подавлении революции возлагало столько надежд на тептярей, т.-е. на бобылей и арендаторов «инородцев», относившихся к восстанию либо пассивно, либо враждебно.

Правительственный чиновник, сообщавший о движении в некоторых селах Пензенской губернии, с презрением отзывался о крестьянах: как, мол, богачи осмелились так поступать?.. Кто стоит во главе движения? Крестьянин Бударин, имеющий 3-х лошадей езжалых, 3 молодых, 1 корову, 11 овец и 3 свиней. Мир его выбирает в качестве разведчика. Он ярче других выделяется энергией и настроением. Войдя в соприкосновение с пугачевцами, он быстро отходит от остальной крестьянской массы и начинает смотреть на нее как бы со стороны. В то время, как остальные держатся пассивно и чего-то выжидают, он решительно действует. В беднейшей из деревень Борисоглебской группы, Пензенской губернии, в с. Карповке, произошел бунт, но выступавшие крестьяне сами не принадлежали к беднякам. Когда уехали пугачевцы, и старая власть приступила к сбору оброка, богатые крестьяне (один имел 4 лошадей, 1 корову, 13 овец, 2 свиней; другой — 7 лошадей, 4 коров, 3 телят, 10 овец, 2 свиней, третий — 14 лошадей, 25 овец, 4 свиней и т. д.) призывали к революционным действиям [1]).

---

[1]) Сб. „Века", 1924 г., ст. А. Заозерского.

Самыми неутомимыми в трехтысячной армии под г. Керенском были однодворцы, которые с женами и детьми «таскали из дворов солому, конопли и куделю, стараясь зажечь Керенск» [1]. «Злодейская толпа и намерения уже не имела итти обратно к городу, если бы к тому оную керенские однодворцы не поощрили и так для того нарочно еще к ним в деревню Кормоленку ездили, чтоб оные обратно к ним возвратились» [2].

В г. Нижнем Ломове однодворцы никакой помощи правительственным войскам не дали и «все без остатку в пугачевскую толпу перешли». В Воронежской и Нижегородской губерниях однодворцы действовали очень активно. Мобилизованные пензенские однодворцы перешли на сторону Пугачева и активно сражались с правительственными войсками. Пугачевские воеводы Пензенской губ. имели по 8—20 крепостных душ. Застрельщиками в Саратове были... купцы, которые имели конкурентов в лице дворян. «Купцы, бобыли и пахотные надеялись быть защищены и пожалованы, ото всех податей избавиться и вольность получить [3]. Саратовский магистрат добровольно мобилизовал для пугачевцев купцов не старше 40 и не моложе 15 лет. Таких купцов оказалось 150, которых на лодках по Волге отправили в «злодейскую» толпу. Купечество г. Темниково встретило «злодеев» «со святыми образами, и священники со всем церковным причтом, стоя на коленях, присягали». Также и духовенство великорусских губерний принимало некоторое участие в движении. В одном г. Саранске за участие в пугачевщине были наказаны шесть сельских попов. «И монашеские чины делали всему государству возмущения, возмущая нечувственной народ, поминая злодейское и варварское имя, которое уже святейшим синодом на анафеме проклятое».

Кулачество, ведя борьбу с помещиками, пыталось наступать и на бедноту. В приказе на имя атамана Арапова, стоявшего на Самарской линии, военная коллегия предложила не брать в революционную армию тех, «которые, забрав у верноподданных под работу деньги, во избежание чего будут от них бежать, таковых не уваживать на то». Революционная армия закрывалась для той части бедноты, которая попала в кабалу. Кулачество боялось вооружить бедноту.

Пугачев сначала предлагал, не щадя, вешать дворян. Затем он предложил «писать их в казаки», т.-е. зачислять в революционную армию раскаявшихся дворян. Аграрный вопрос он рекомендовал разрешать таким образом: «от дворян деревни отнять, но назначить им больше жалованья» [4].

От Пугачева, как от головешки, летели отдельные искры, и каждая из них становилась новым Пугачевым. Самое имя Пугачев сделалось нарицательным. Кроме настоящего Пугачева, появилось еще много Пугачевых, Петров III, за которыми следовала масса.

Крестьянская партизанщина, сметая со своего пути помещиков, нарастала и таяла, как снежный ком. Она была так же дерзка, как и нереши-

---

[1]) Панинский архив, д. № 2.
[2]) Панинский архив 1774 г., № 6. л. 182.
[3]) Там же, д. № 5, л. 355.
[4]) Гос. архив, д. № 506, л. 355

тельна. За десять лет до Пугачевщины большая крестьянская армия в течение двух лет блокировала Далматовский монастырь и была разбита только благодаря своей выжидательно-нерешительной тактике.

Жакерия, лишенная организованности, не выдерживавшая и слабого напора регулярной армии, началась только после поражения Пугачева под Казанью, когда была уничтожена заводская база. Главная революционная армия катилась вниз по Волге, и восставшие крепостные в Великороссии были предоставлены сами себе.

Пугачевцы издали манифесты «к находившимся прежде в крестьянстве и подданстве у помещиков» с призывом быть «верноподданными рабами нашей короне». За это они «награждались вольностью и свободой, землей, лесными и сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброка, освобождались от злодеев-дворян, взяточников-судей, рекрутских наборов, подушных». В заключение манифесты призывали «противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей дворян — ловить, казнить, вешать и поступать с ними так, как они, не имея в себе христианства, поступали со своими крестьянами. Только по истреблении злодеев-дворян сможет каждый почувствовать тишину, спокойную жизнь, которая вечно продолжаться будет».

Как только поднималась деревня, вооруженная чем попало, туда тотчас приезжали представители соседнего «мира» с предложением грабить и вешать помещиков. «Злодейскую» команду встречали все от старого до малого в поле с образами и колокольным звоном. «Злодея» все мужики поздравляли, называя его государем Петром Федоровичем, «сказывая о нем, де думали, что умер, а он жив». «В'ехав же те злодеи в господский двор, весь тот двор разорили, двери и окна без остатка побили, напитки распили, а хлеб мужики по приказу злодейскому по себе разбирали. Злодейский полковник мужикам об'явил, что государь жалует «вас волею, и вы де помещичьи не будете, а будете все государевы и, сверх того, чрез семь лет от подушного оклада и от рекрутского набору освобождает, а соль велят отпускать по двадцати копеек пуд. Спрашивал у мужиков: нет ли им от господских служителей каких обид? Из них некоторые закричали, что дворецкий их обижал. Тут же по приказу злодейскому на кухне и повешен». Потом злодейский полковник забрал хороших господских лошадей и служителей, обрезав у них волосы по-казачьи. Весь господский экипаж, состоящий в платье и в с'естных припасах, полковник отвез на подводах в свое село к своей жене и детям. «То, чего с собой какой пожити и взять не могли, то изрубили и изломали» [1]).

Напавшие на богатое село Усолье, Симбирского у., захватили фамильную печать с гербом кн. Орлова. С помощью печати, они стали фабриковать «надлежащие паспорта» и снабжали ими жаждавших свободы крестьян.

Испытав «счастье» еще в нескольких местах, крестьянская толпа расплывалась при первом сражении.

---

[1]) **Арх.** гр. Панина, 1774 г., № 6, л. 182.

Городская жакерия ничем не отличалась от деревенской. «В город Темников приехала группа от соседнего села и потребовала встретить пугачевцев с колокольным звоном и иконами. Городские жители немедленно повесили поверенного питейного дома, выкатили две бочки вина, поставили на площади и велели пить безденежно, а на другой день раздавали соль без весу и безденежно» [1]).

III.

До лета 1774 г., т.-е. до крестьянского восстания в Великороссии, в революции боролись две тактики: «инородческая» и горнорабочая. Башкиры стремились уничтожить заводы и колонизацию Приуралья российским торговым капиталом. Киргизы хотели остаться хозяевами на торговом пути Востока с Великороссией. Калмыки боролись за окончательный уход из России, в которой им жить стало невмоготу. Татары воевали с миссионерами, которые именем православного бога дочиста грабили «иноверца». Свою задачу туземцы разрешили так, что они изводили не только помещиков, заводчиков и попов, но рабочих и крепостных. Налетая своей кавалерией, башкиры проносились, как разрушительный ураган, уничтожая все на своём пути. Союзы между горнозаводским населением и инородцами были непрочны. Как только восставшие уничтожали общего врага, так инородцы принимались уничтожать своего союзника.

Пугачевщина как раз тем и отличается от предыдущих революций в России, что в ней впервые выступают р а б о ч и е, и основой движения становятся горные заводы. Если бы не горнозаводская помощь артиллерией и снарядами, то революция немедленно потерпела бы поражение. Крестьянская жакерия в Великороссии, будучи лишена этой помощи, продержалась только несколько месяцев.

Благодаря 230.000 заводского населения, среди которых 30% было совершенно лишено земли, революционной армии удалось создать боевую организацию. Хотя крепостной порядок одинаково угнетал все трудовое население, но заводская работа уже тогда выделяла из общей массы рабочих, как поставленных в особые социальные условия. Сама заводская работа, даже ручная и даже в крепостных условиях, давала больше пищи для ума, чем земледелие, и должна была умственно поднять рабочих над массой крепостного крестьянства. Дворянская публицистика того времени пыталась изобразить рабочую массу, как городскую накипь, разгульную и пьяную, но вместе с тем буйную и социально-опасную.

Фабричный рабочий отличается от крестьянина всем своим бытом — таков вывод, к которому приходят наблюдатели крестьянской жизни со второй половины XVIII в. [2]). Это значит, что на-ряду с образованием безземельного пролетариата начиналось его социальное отложение, та «выварка в фабричном котле», которая в будущем привела к окончательному офор-

[1]) Тот же арх., 1774 г., № 10, л. 11—13.

[2]) М. Балабанов, Очерки по истории рабочего класса в России, ч. I.

млению рабочего класса. Это социальное отложение наложило свой отпечаток на пугачевщину.

Продолжительная коллективная работа на заводах под жесточайшим произволом выковала у рабочих железную волю к согласованным выступлениям. Рабочая масса выделила из своей среды организаторов и вождей восстания.

Хлопуша был прекрасный агитатор, лучший оратор, талантливый полководец, каких, по отзывам екатерининских генералов, было очень мало в императорской армии. За участие в горнозаводских бунтах он был трижды сослан на каторжные работы и четыре раза наказан кнутом. Палач вырвал у него ноздри до хрящей. Он формировал армии на заводах и соляных пристанях со сказочной быстротой. Заводы его встречали, как своего вождя, давали ему артиллерию, людей и лошадей. Стоило только появиться в какомнибудь месте Хлопуше, как тысячи рабочих восставали, как один человек. Выдающуюся роль в восстании сыграл другой пугачевский полковник Иван Наумович Белобородов, рабочий медеплавильного завода Осокина в Оренбургской губернии и Охтенского порохового завода в Петербурге. Удрав с военной службы, он стал заниматься торговлей. С небольшим отрядом он появился в начале 1774 г. на пермских заводах, в короткое время собрал рабочий отряд, который брал завод за заводом, окружил Екатеринбург и долго держал его в тесном кольце обложения. Рабочие окрестных заводов, узнав о приближении Белобородова, выслали ему пушки и людей с казенными заводскими деньгами. Будучи разбит на одном заводе, он внезапно появлялся на другом. Разбитый под Екатеринбургом, он вновь успел собрать значительные отряды.

Крупные заводы феодальных магнатов Демидова и Твердышевых восстали прежде появления самого Пугачева. С октября 1773 г. до мая 1774 г. поднялось более полусотни заводов в Оренбургской и Казанской губерниях.

Небольшие заводы немедленно присоединялись к восстанию, как только приезжал представитель от восставшей армии. Рабочие некоторых заводов, не осмеливаясь действовать, «неотступно просили появившихся в соседних селах злодеев о разорении заводов, и к чему они сами помощниками быть утвердились и вооружались приготовлением сабель, копий и другим оружием» [1]).

Жители Кунгурского уезда «начали бога славить, что красное солнце, давно скрывшееся под землю, опять восходит на всю вселенную и сможет обогреть их, нижайших сирых рабов. Они надеются, что восставшие избавят их от лютых зверей и переломят острые когти злодеям боярам, офицерам и заводчикам» [2]).

А многие заводы брали на себя инициативу и пересылали от имени «злодейской партии письменные виды о заготовлении провианта и фуража». Очевидцы следующим образом рисуют обычную картину восстания:

---

[1]) Лефортовский архив. Дело Пугачевское, л. 6, стр. 270—275.

[2]) Дело Пугачевской экспедиции, № 416/18, л. 1.

«Крестьянин Матвеев с другими лицами, в том числе и прежде бывший выборный — привезли с собою указ называемого императора. В то время для расчета при конторе было много заводских крестьян. Матвеев, подойдя к конторе, закричал: «Слушайте третьего императора указ». Прочтя этот указ, спросил крестьян: «будут ли они государю служить?». Все заводские крестьяне единогласно отвечали: «готовы служить головами!». Потом Матвеев приказал заводского приказчика и конторщика схватить. Крестьяне их сковали и посадили под караул, а затем, по приказанию Матвеева, прекратили заводские работы, порешив итти на службу к третьему императору» [1]).

В горнозаводском Кунгурском районе распространялась подробная прокламация о положении рабочих. «Не иное что к вам, — писал к рабочим пугачевский атаман Грязнов, — приятные церкви святой сыны и простираю руку мою и на писание сего господь наш Иисус Христос желает и произвести соизволяет своим святым промыслом Россию от ига работы. Говорю я вам, всему свету известно, сколько во изнурение приведена Россия! От ког ж? Вам самим то не безызвестно! Дворянство обладает крестьянами, но хотя в законе божеском и написано, чтобы они крестьян содержали, как и детей, но они не только за работника, но хуже почитали собак своих, с которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работою утрудили, что в ссылках того никогда не бывало, да и нет! А напротив того, с женами и детьми малолетними не было ко господу слез? И чрез то услыша, яко израильтян, от ига работ вас избавляет».

Когда весною 1774 г. Пугачев был разбит под Татищевой крепостью, важным стратегическим пунктом под Оренбургом, горные заводы стали единственным прекрасным убежищем для Пугачевского штаба. Главной силой Пугачева во второй период восстания, с весны 1774 г., были почти исключительно рабочие. Со взятием Ижевского завода дорога на Казань была открыта. Решение итти на Казань могло состояться лишь после того, как Пугачев обеспечил себе тыл взятием таких заводов, как Воткинский и Ижевский. Казанское заводское начальство, боясь мести, задабривало рабочих обещаниями, наградами и даже волей, если они выступят против Пугачева. Даровая выдача водки и калачей соблазнила только стариков, а рабочая молодежь энергично выступила на помощь Пугачеву. Казань сгорела, но большая часть рабочей «Суконной слободы» уцелела...

Пестрая партизанская масса была вооружена самым разнообразным оружием: дреколием, косами, посаженными на длинных рукоятках, топорами, медвежьими рогатками, железными вилами, дубинами и проч. С такой вооруженной массой регулярная армия могла бы легко покончить, если бы не рабочее ядро, которое доставляло артиллерию. Так, например, под Оренбургом пугачевцы имели 80 пушек, у Челябинска — 17, у Казани — 30, у Кунгура — 30, под Бердой — больше 100 и т. д.

---

[1]) Дм. Мамонов, Пугачевщина в Зауралье и Сибири.

Иностранные инженеры и военспецы считали, что «разбойничьи» отряды превращались в хорошо дисциплинированные, действующие по принципам военного искусства. Они сравнивали военное искусство военной коллегии Пугачева с искусством Вобана, знаменитого французского военного инженера, руководившего 53 осадами, построившего 33 новых крепости и исправившего 300 старых. Они восхищались меткой стрельбой пугачевских артиллеристов, которые вербовались из среды горняков. Царских офицеров поражало единодушие восставших. Когда правительственная армия предлагала выдать зачинщиков, то рабочие отвечали «единым криком, что у них нет зачинщиков, что все они одной думы в том, чтобы не итти на заводы, что они никого из них не дадут», и если правительство может всех их взять головами, то они пойдут «от мала до велика» [1]).

Восставшие рабочие беспощадно обращались не только со своими классовыми врагами, но и со своими колеблющимися товарищами. Революционные рабочие Рождественского завода были смущены подозрительным поведением рабочих казенного Воткинского завода. Поэтому они потребовали от них определенного ответа. В противном случае «они подвинутся на них со всею артиллериею и силою и поступят с ними, как с сущими законными преступниками и возмутителями» [2]).

Восставшие заводы выбирали особое управление. Согласно инструкции рабочего Белобородова, руководителем движения должен быть «по общему согласию верный, смелый, из верных рабов, а не из льстецов, в нужных случаях не робкий человек, ибо армия всегда распоряжением храброго человека против неприятеля ободрена бывает».

В наказе рабочие поручали выборному начальнику «до самовольства и озорнических поступков не допускать и ослушников наказывать плетьми без всякого милосердия».

Управление руководило движением, устанавливало связь со штабом армии, заботилось о вооружении, обучало армию и т. д.

«Сей мой именной указ в завод и всему миру мое именное повеление,— обыкновенно писала коллегия от имени Пугачева, — как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно, неизменно, до капли своей крови исполняйте мои повеления; исправьте вы мне, великому государю, две мортиры и с бомбами и со скорым поспешением ко мне представьте, за что будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями и денежным жалованьем и хлебным провиантом, и свинцом и порохом и вечною вольностью. И повеления мои исполняйте с усердием, ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобретя можете и себе монаршескую милость. И если вы моему указу противиться будете, то в скорости восчувствуете над собою праведен мой гнев и власти всевышнего создателя нашего избегнуть не можете. Никто вас от сильные нашея руки защитить не может».

---

[1]) Панинский архив, д. № 10, л. 593.

[2]) Лефортовский архив, кн. 7, л. 413.

Кроме ряда мелких заводов, Пугачевская коллегия отвела крупный Авзяно-Петровский [1]) завод для литья орудий. Поэтому домой большею частью отпускались лишь приписные крестьяне, а мастеровые, как квалифицированная рабочая сила, совершенно лишенная земли, оставались для литья орудий. Наиболее активной частью восставших были мастера, которые уже начали «вывариваться» в заводском котле.

Готовясь к восстанию, рабочие укрепляли завод, строили новые батареи, устанавливали на наблюдательных пунктах пикеты, снабженные ружьями и артиллерией. Зимой завод окружался валом из хвороста. Для большей безопасности вал покрывался снегом, который обливался водой. Рабоче-крестьянское население было готово нести большие жертвы для того, чтобы победить. Свои тяжелые обязанности они выполняли «почти без чувствования тягости, надеясь на обещанные льготы и вольности».

В среде военной коллегии, состоявшей из представителей казачества, башкир, крестьян и заводских рабочих, существовали разногласия по вопросу о тактике движения.

Заводы дочиста сметались башкирами. Припасы из магазинов растаскивались. Дома уничтожались, уголь сжигался, плотины разрушались, фабричные меха портились, вода из прудов выпускалась. Рабочие и крестьяне постоянно жаловались, что башкиры приводят их в крайнее разорение и убожество. Поэтому многие заводы оставались пассивными зрителями или даже активно выступали против пугачевцев. Подсчитывая число разрушенных заводов, мы видим, что большая часть заводов была разрушена не рабочими, а башкирами. По мере разрушения заводов, суживалась база восстания, и уменьшались шансы победы.

Пугачевские вожди, оперировавшие в рабочих районах понимали, какую опасность для восстания представляет мародерство башкир.

Полковник Творогов приказал: «От идущих армий никакого жителям притеснения, разорения, обид, налоги и бесповинного кровопролития не чинить, а если кто в таковых обращениях и противных развратных сыщется, то тот не избегнет от полновластной его величества власти смертной казни».

Охтенский рабочий Белобородов приказал не принимать от мародеров никаких оговорок и немедленно «чинить» смертную казнь. Белобородов так энергично боролся с мародерами, что даже осмелился «заковать в кандалы» представителя Пугачева, который, приехав к Белобородову для установления связи, занялся грабежами. Арестованный грабитель донес Пугачеву, что Белобородов хочет от него отложиться.

---

[1]) Авзяно-Петровский железный завод, на реке Авзяне, был построен в 1753 г. Он находился от Оренбурга в 330, от Уфы в 250 и от Табынска в 100 верстах. Сначала завод принадлежал графу А. П. Шувалову, а потом дворянину Евдокиму Демидову. К заводу было приписано: крестьян из Казанского уезда 3.708 душ, из черносошных крестьян 1.002 души, да собственных Демидова, переведенных из его вотчин, всего на заводе было до 4.784 душ рабочих и приписных.

Такая стойкая борьба обошлась Белобороду недешево: его отряд был Пугачевым значительно уменьшен [1]).

Белобородов приказал «русские и татарские команды содержать во всякой строгости и крайне соблюдать, чтобы все были в единодушном усердии к службе», «озорников наказывать плетьми без всякой пощады, а дезертиров — смертной казнью».

Заводские рабочие, оторванные от сельского хозяйства, старались наладить производство, брошенное хозяевами. Рабочие Юговского завода просили отдать им в пользование две заводские мельницы, обещав «чинить их и вести приходно-расходные книги». Рабочие Рождественского завода указывают, что они «беспахотные», а разойтись с завода «для сыску себе пропитания не смеют». Они уже чувствуют себя настоящими пролетариями, во время восстания сохраняют завод и работу не прекращают, но башкиры увезли всю казну без остатку, деньги были предназначены для раздачи мастеровым и работным людям за заводскую работу. Казна была уже не господская, а их мирская [2]).

Коллегия повстанцев решает дело в пользу рабочих: из казенных сумм покрывается заработная плата.

Рабочие сыграли немалую роль в составлении манифестов. Военная коллегия, при составлении манифестов, очутилась в первое время в большом затруднении, так как не было грамотных людей. «Заводский крестьянин Петров написал доношение на одного башкирца в грабеже, — показывает секретарь военной коллегии, — и то доношение показалось нам разумно написанным, то я, призвав оного Петрова, показал ему написанное, чтобы он выправил». Рабочий Петров написанное зачеркнул и сам составил манифест. Пугачев его похвалил, «что хорошо написано». С этого времени горнозаводский рабочий выправляет некоторые «царские манифесты».

Впервые в истории России крепостные рабочие выделяют из своей среды грамотного рабочего, который составляет прокламации к народу.

А. С. Пушкин характеризует «возмутительные» воззвания пугачевцев, как действительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более действовало, что правительственнные «публикации» писались вяло.

Пугачевцы в первые месяцы восстания организовали военную коллегию, которая руководила восстанием, разрабатывала стратегические и тактические вопросы, формировала отряды, снабжала команды продовольствием и военными припасами, старалась производить равномерные обложения между жителями, отпускала семействам мобилизованных провиант из казенных и общественных магазинов. Нуждаясь в деньгах, военные коллегии не всегда бесплатно раздавали соль, а отпускали ее гораздо дешевле казенной цены. Восставшая армия делилась на полки по национальному признаку. Во главе национальных полков стояли знающие родной язык восставших. Переписка

---

1) Гос. архив, VI разряд, Дело Белобородова.

2) Дело Гос. арх., д. 416 зı 1774 г.., л. 28—29.

велась на местном языке. Грамотными людьми дорожили. Пугачевцы неоднократно щадили пленных иностранцев и русских офицеров, которые использовывались для походной канцелярии.

В армиях горных районов была суровая дисциплина. За самовольную отлучку из армии наказывали палками, за побег — смертною казнью и даже уничтожением имущества. От военной службы освобождали только с особого разрешения. В сомнительных случаях даже подвергали медицинскому осмотру. «В селе К... на двух дорогах, — приказала военная коллегия, — крепкий караул учредить для того, чтобы из здешней армии без письменных билетов в домы свои не разошлись. Если же ныне, кто из здешней армии без билетов или хотя с билетами — оных отнюдь не пропускать, а посылать обратно в здешнюю команду» [1]).

Атаман, уезжающий для осмотра своего района, приказывает своему помощнику «иметь за время своего отсутствия наблюдение за его командой, артиллерией, так и городу чинить неусыпную предосторожность, все караулы осматривать чаще».

Революционная армия стремилась наладить хозяйство и организовать жизнь тыла. Атаман выбирался на общем собрании жителей, которые давали ему диктаторские полномочия. «Изба», общественное самоуправление, брала на учет покинутое имущество помещиков и казны. «Поручается Вам смотрение иметь — дан был приказ осинской «избе» — как над казенными капиталами, так и продажей солью, а деньги принимать под свое хранение, записывая в приходно-расходную книгу без всякой утайки» [2]). Военная коллегия приказывает атаману Арапову по Самарской линии хлеб немолоченный молотить, и намолоченный молоть, и, смоловши, прислать в армию. Подводчикам деньги будут выданы из казны, и провожатые не должны — под страхом казни — чинить населению никаких обид. Вождь рабочего района, казак Кузнецов, идет дальше и приказывает «иметь обстоятельное смотрение, дабы в соли обвесу, а в вине обмеру и подмесу чинено не было, под опасением штрафа» [3]).

Классовое расслоение среди восставших не могло не влиять на ход революции. Беднота стала выдвигать свои задачи. Одна попытка разрешить их могла бы оказаться смертельно опасной для революции. Руководители, осознав это, поспешили принять некоторые меры, которые облегчили бы положение бедноты. Атаманы распорядились выдать из казенного магазина ржаной муки бедным татарам [4]). Через два месяца, в апреле 1774 г., яицкие казаки решаются на большой революционный акт. «В вашем ведомстве, — пишут казаки калмыкам, — имеются неимущие люди, которым по своим недостаткам пить, есть нечего, то мы, рассуждая, приговорили: если имеются достаточные люди, у кого десять скотин, у того взять одну и немедленно снабдить бедного, а девять ему оставить, а теперь у вас по многим недо-

---

[1]) Гос. арх., д. № 416, л. 50.
[2]) Гос. арх., № 46, л. 81.
[3]) Гос. арх., д. 416, 1774 г., л. 6.
[4]) Гос. арх., 1774 г., д. № 416, л. 10, февраль-март.

статкам друг у дружки воровством грабят скот, отчего междоусобные делаются ссоры» [1]).

Теория часто отстает от практики. Новая практика борьбы уже овладела массам, но они еще не успели обобщить своих действий и притти к новым выводам. Массы сражались именем Петра, но революционная тактика радикально порывала с установившимися устоями. Борьбой были воодушевлены старики, женщины, дети. Вешали не только помещиков, заводчиков, приказчиков, но и попов. Уничтожались не только заводы, но и церкви. Издевались не только над пленным врагом, но и над иконами. Рабочие-раскольники стали применять даже новые формы крещения детей. Когда приносили ребенка, то пугачевский полковник обращался к нему со словами:

— Цураешься барина и всех дел его?

Мать должна была отвечать: Цураюсь.

— Будешь бить помещиков?

— Буду!

— Целуй саблю и пистолет!

Но на совершенно новой экономической основе должна остаться старая надстройка, в лице своего антидворянского царя. «Народная русская революция была — не будем пугаться этого слова — монархической. Мистический царизм был революционным идеалом, ибо его торжество в народном воображении отождествлялось с полным крушением всего социального строя, таким тяжелым грузом лежавшего на русском крестьянине» [2]).

Характерно то, что уже тогда передовая часть восставшей массы была готова итти не только за Петром III, но и за обманщиком Емелькой. Иностранные послы сообщили своим правительствам, что в марте 1774 г. дух возмущения витал над Москвой. Открыто высказывались в пользу Петра III. Весь город был в волнении, и во всех кварталах пороли кнутом, но это суровое наказание никого не устрашало. Граф Толстой был вынужден своих людей передать в руки полиции, но и под кнутом они кричали: «Да здравствует Петр III!». Для успокоения умов распространили слух, что Пугачев окончательно разбит. Несмотря на ряд предосторожностей, 6 марта вечером раздался всеобщий клич: «Да здравствует Петр III *и Пугачев!*», и несколько раз возобновлялся по кварталам [3]).

«Работная» масса крупного города уже тогда приветствовала не только Петра III, но и Пугачева. Даже крестьяне к концу восстания были готовы итти уже не за Петром III, а за какими-то Политайлой и Метлиным, звавшими их ко вторичному восстанию.

Уже в ту эпоху, когда закладывалась основа промышленного капитализма, формировавшийся рабочий класс пытался взять в свои руки руководство движением крестьян и инонационалов. Рабочие крупных предприятий пытались ввести стихию в известное русло.

---

[1]) Там же, д. № 416, л. 1—2.

[2]) М. Н. Покровский, Царизм и революция, ст. в сб. «Ист. освобождения России», 1908 г., стр. 12.

[3]) Анналы, том III, стр. 147.

Революция не могла победить 150 лет тому назад. Она даже не сумела ревратить крепостного раба в пролетария. После подавления восстания арщинное хозяйство достигло высшего расцвета.

Сельское население еще больше, чем прежде, экспроприировалось, изгоялось, клеймилось каленым железом только ради того, чтобы заставить его одчиниться дисциплине рабского труда.

События, которые обратили крестьянина в горнозаводского раба, средства его существования в вещественные элементы капитала, создали ля последнего почву. Открытие Уральских и Сибирских серебряных, золотых, едных и железных горных рудников, истребление, порабощение и погреение в рудниках туземного населения, завоевание и опустошение Башкирии и Киргизии, все эти события для России имели то же значение, что открытие Ост-Индии и Африки для Западной Европы. Но Прикамье и Приуралье были эраздо беднее Ост-Индии и Африки, — поэтому было у нас гораздо беднее слабее капиталистическое накопление. Не даром у нас надолго затянулись рикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техики, даровой труд, преобладание ручного производства, примитивная и хищическая первобытная эксплоатация природных богатств края, монополии и теснение конкуренции.

Вопрос о «свободном» пролетарии был поставлен в порядке дня только ерез 86 лет после казни Пугачева.

Брак - покупка.

М. Косвен.

Человечество в своем культурно-историческом развитии прошло через такую форму брака, которая представляет собой чисто торговую сделку, где женщина продается и покупается, как товар, и переходит от одного собственника к другому.

Существование такого покупного брака, или купли-продажи женщины под видом брака, обнаруживается сейчас в самой чистой форме у очень большого числа современных полукультурных народов и явственно проступает в весьма характерных пережитках в быту всех народов, стоящих даже на самых высоких ступенях культурно-хозяйственного развития.

По очень любопытной странности, многие авторы, занимавшиеся историей брака и семьи, нередко как-то обходят вопрос о покупном браке, подчас совершенно о нем даже не упоминая, а иногда затушевывают или затемняют простую сущность этого порядка. В этом отношении особенно любопытна позиция известного исследователя истории брака Вестермарка, который в прежних изданиях своей капитальной работы, признавая существование покупного брака, уделял ему сравнительно очень незначительное внимание, отнюдь не подчеркивая его характеристики, — в новейшей же трехтомной переработке своего труда [1]) обнаруживает еще большее колебание в этом вопросе. С одной стороны, Вестермарк местами принуждается фактами признать существование покупного брака, с другой стороны, правда, довольно расплывчато, заявляет: «эта форма брака обычно называлась «браком-покупкой», но во многих случаях вовсе нет оснований для такого термина, а в других случаях он может быть употребляем, только если подразумевается, что девушка не продается своими родичами, как собственность» [2]). Наконец, многократно пытается Вестермарк опровергнуть существование покупного брака как у некоторых исторических народов, так и у современных полукультурных племен.

Такое положение вопроса в существующей литературе дает лишнее основание для специального исследования с возможной ясностью этой формы брака в ее основных чертах.

---

1) Westermarck, E., History of the human marriage, 5 edition, L. 1921.
2) II, 393.

I.

Несмотря на все усилия научной мысли, характер и развитие наиболее примитивных форм брака и семьи остаются до сего дня чрезвычайно спорными. Это в особенности относится к формам тех брачных соединений, которые заключаются внутри одной и той же по происхождению группы. Более уловимы формы соединений между мужчинами и женщинами, принадлежащими к различным кровно-родственным группам. Заключение такого вида экзогамного брака, или получение чужих женщин, примитивно сводится, повидимому, либо к похищению, либо к мирному обмену незамужними, свободными женщинами.

Довольно широко распространенный у многих полукультурных народов обмен женами, совершаемый мужьями на известный срок или навсегда, представляет собой явление совершенно иного порядка, на котором мы здесь не имеем надобности останавливаться.

Отличительная черта обмена свободными женщинами, о котором мы говорим, — его не только вообще мирный характер, но то совершенно особое обстоятельство, что такой обмен женщинами, как и всякий вообще первобытный хозяйственный обмен, представляет собой одно из важнейших материальных выражений заключаемого между двумя чужими группами мирно-дружественного союза.

Общепринятый порядок обмена женщинами между различными группами представляется, повидимому, характерной чертой быта каменного века. Так, австралийцев мы застаем как раз самым широким образом практикующими такой обмен и, повидимому, остановившимися на этой стадии экзогамного брака. Точно так же обмен оказывается единственным способом получения мирным путем чужих женщин у других племен, не вышедших из каменного века. В некоторых местностях Новой Гвинеи, если молодой человек не имеет сестер, то не может и получить жену. На Торресовых островах бессемейный остается без жены, пока его дядя не сжалится и не даст своей дочери для обмена.

Но и у народов, стоящих на более высоких ступениях развития, обмен женщинами сохраняется как общепринятая форма и имеет громадное значение в народном быту. Мы находим подобный порядок обмена даже у таких сравнительно высоко стоящих скотоводов и земледельцев, какими являются многие негры, урало-алтайцы, кавказцы, океанийцы и проч.

Свойственный прошлому и всех культурных народов порядок обмена женщинами оставил здесь следы в языке. Как арабы называют один из свадебных обрядов б е д е л или б а д а л, что значит буквально «обмен», так и у болгар помолвка называется «мена».

С переходом человечества к устойчивому и организованному хозяйственному строю, брак и семья становятся прямым выражением экономического быта, одной из форм хозяйственной деятельности человека. Каковы бы ни были предшествующие формы брака и независимо от того, имеем ли перед собой так называемый «групповой» или индивидуальный брак, экономи-

ческие факторы обращают семью в хозяйственную ячейку, единое и в известной мере самостоятельное хозяйство.

Из такого характера семьи вытекает, что она прежде всего не может не быть прочным и длительным соединением входящих в нее членов. Далее расширение ее численного состава означает одновременно и увеличение и укрепление ее хозяйственной мощи, а размножение семьи в нисходящих поколениях оказывается необходимым условием прочности и непрерывности хозяйства, смены ее трудовых сил, обеспечения судьбы ее старших, лишающихся трудоспособности, поколений. И библейский завет «плодитесь и размножайтесь» есть, конечно, чисто хозяйственный идеал.

В новой, хозяйствующей семье каждый ее член представляет собой рабочую силу, к которой прикрепляется идея хозяйственной ценности. А особую ценность приобретают, повидимому, чужие женщины, входящие не только в качестве новой трудовой силы, но и приносящие новую кровь, оживляющую воспроизводительную способность группы.

Отсюда брак приобретает ясно выраженный хозяйственный характер, имеет отныне чисто-хозяйственную цель — приобретения для семьи новой работницы и производительницы нового поколения. На этом основании складывается и надолго закрепляется идеал женщины. На этой же почве, в последующем развитии семьи, вырастает идея брака, как долга каждого мужчины. «Тот только совершенный человек, говорит древний индусский кодекс Ману, который состоит из своей жены, его самого и своего потомства» (IX, 45) [1]). «Жениться скорее—в дому прибыльнее», настаивает русская пословица. А холостячество, совершенно неизвестное примитивным племенам, и у более культурных народов оказывается предосудительным, позорным или даже наказуемым.

Наконец, существует или нет многоженство на более низких ступенях развития человечества, — новый хозяйственный быт может лишь закрепить порядок, по которому число жен зависит только от материальной возможности их приобретения. Потому что, чем больше женщин в семье-хозяйстве, тем больше работниц-производительниц, тем шире разрастается это хозяйство, тем сильнее оно внутри и во вне.

Общее развитие хозяйственного обмена обращает все блага в меновые ценности, все получает свою цену и свое место в обменном обороте, все начинает продаваться и покупаться [2]). В этот общий поток вовлекается и женщина, которой также сообщается определенная меновая ценность, которая также становится своего рода товаром. На этой стадии экономического развития человечества женщина, став ценностью, становится и довольно распространенным платежным средством. В быту очень многих полукультурных народов женщина нередко идет в уплату за долги, в покрытие уголовной

---

[1]) Эльманович, С., Законы Ману, перев. с санскритского, П. 1914.

[2]) Косвен, М., Происхождение обмена и меры ценности. — «Красная Новь», 924. №№ 6 и 7.

пени, в уплату дани, наконец, в возмещение других ценностей, т.-е. в обычный обмен и продажу.

Тот общий закон, по которому развивающееся экономическое сознание вырабатывает требование точной оценки каждого хозяйственного блага и соблюдения равноценности в обмене, оказывает свое влияние и в сохраняющемся обмене женщинами. И здесь сознанию хозяина противоречит неравенство простого обмена двумя женщинами: не всякая женщина по возрасту, своим трудовым и воспроизводительным способностям равноценна другой. Отсюда впоследствии корректив такого обмена — доплата. Вот, что гласит, например, старинная запись об обмене женщинами у бурят: «Если у одного дочь взрослее, а у другого летами гораздо той моложе, в таком случае, от малолетней к преимущественной возрастом приговаривается наддача скотом или деньгами, на каком количестве могут согласиться» [1]). Такие же приплаты при обмене женщинами известны из быта многих урало-алтайских народов.

Но, помимо неравноценности двух обмениваемых женщин, вообще требование непременного обмена женщины именно на женщину представляется всегда затруднительным. С общим развитием оборота, рядовым явлением его становится простая покупка женщины, эквивалентом которой могут быть любые платежные средства. Отныне брак принимает форму сделки купли-продажи женщины, при чем здесь в этой сделке имеют свое место и значение все необходимые акты заключения и исполнения имущественного договора.

Покупной брак может считаться социально-экономическим порядком, которого, как было сказано, не миновал в своем развитии ни один из исторических и современных народов. Мы застаем его еще и в настоящее время в полной силе у множества народов и племен самых различных этнических ветвей, а пережитки его в большей или меньшей степени пропитывают быт и обряды всех современных народов.

Утверждение семьи как чисто хозяйственной организации и введение покупного брака становится экономическим основанием, которое совершенно преображает смысл и значение целого ряда явлений, сопутствующих совершению брачной сделки, и если даже многие стороны брачных отношений по своему происхождению относятся к совершенно иным областям примитивного быта, они получают здесь новое значение, облекаются новым содержанием. С этим явлением мы будем встречаться в дальнейшем описании различных сторон и моментов совершения брачного договора.

С утверждением покупного брака молодая женщина—дочь—в каждом хозяйстве становится продажной ценностью — ἀλφεσίβοια — «приносящей быков», как говорит Гомер. И очень хорошо выражает идеал первобытного хозяина-отца ответ одного негра племени баниаига на вопрос, зачем ему три жены: «Если у одной будет четыре, у другой — три, у третьей, может быть, пять детей, — у меня будет много денег, и я буду богат», — потому что сыновья будут приносить отцу свой заработок, а дочери будут проданы.

---

[1]) Самоквасов, Д., Сборник обычного права сибирских инородцев, Варш. 1876.

Многоженство и многодетность оказываются системой хозяйства.

У многих народов язык прямо отражает представление о браке, как о простой торговой сделке. У татар Казанской губ. выражение «свадьба» означает буквально «оценивать девушку». Кабил никогда не скажет, что он женился, а выразится так: «вчера я купил женщину». У вотяков отец говорит «я продал дочь», а муж — «я купил жену». Поздравляя жениха, армяне говорят: «Пусть твоя покупка будет счастливой». Крестьяне-великоруссы говорили в старину: «покупаем невесту», «платим за невесту». Наконец, в средневековых германских письменных памятниках брак означается выражениями uxorem emere (покупать жену) или feminam vendere (продавать женщину).

II.

Поскольку брак есть дело хозяйственное, а хозяйство воплощается в родственной группе, сторонами при заключении брачной сделки оказываются две группы в целом. В чистом своем виде покупной брак есть для одной стороны — хозяйственная мера, предпринимаемая в общем интересе всей группы и за счет общесемейного имущества, для другой — продажа одной из своих женщин, — лишение хозяйства рабочей единицы за определенное вознаграждение.

Поэтому обе стороны, обе группы в целом и каждый из их членов прямо заинтересованы в заключаемой сделке и имеют свой голос в выборе женщины, установлении размера вознаграждения, выработке условий исполнения договора и проч. Но, по общему порядку, представительство интересов и распоряжение делами группы закрепляется за одним лицом при большем или меньшем, решающем или совещательном участии других членов группы. Чем больше укрепляется единоличная власть главы группы, тем более сокращается значение ее членов, обращаясь из фактического в обрядовое.

Сюда прежде всего относится то замечание, которое сделано выше, о превращении различных социальных явлений под влиянием экономических факторов и преобразовании их в чисто хозяйственные: если участие рода в заключении брака ведет свое происхождение из других областей примитивных отношений, то в системе покупного брака оно становится ярким выражением общего характера брака этой эпохи как общесемейного хозяйственного предприятия.

Эти начала получают вполне явственное и реальное проявление при заключении брачной сделки, однако от характера структуры родственной группы в ту или иную эпоху и внутренней ее эволюции зависят те формы, в которые облекается участие родственного коллектива в отдельных моментах и актах брачного соглашения. Во всяком случае, и до сей поры еще у очень многих культурных народов держится взгляд на брак, как на дело не личное молодых, а общесемейное.

Участие членов группы проявляется как со стороны формальной, т.-е. в обсуждении, заключении и исполнении сделки, так и материальной — уплате и получении цены. Как было сказано, и в том и в другом отношении

участие всей группы в целом и отдельных ее членов обнаруживает переход от фактического к пережиточному или обрядовому. Участие это начинается с предварительного обсуждения сделки, переходя и здесь от вполне реального к выражению лишь согласия всех или важнейших членов старшего поколения.

Совет родственников, обсуждающий предстоящую сделку, — бытовое явление, широко известное почти всем народам. Для чуваш введение в семью новой женщины — дело общесемейное, совершающееся с соблюдением интересов всех членов семьи; поэтому выбор невесты, обсуждение всех условий брака и проч. принадлежат семейному совету. У киргизов в большой семье невесту выбирает не отец жениха, а глава семьи. Точно так же у арабов сваты обращаются прежде всего к начальнику племени, который отводит их к отцу невесты; но и последний не решает дела самостоятельно, а собирает на совет ближайших родичей. Так и у сербов в старину жених и его родители собирали всех родных и спрашивали согласия на предполагаемый брак. Согласие старших родичей требуется и у индейцев. У великороссов, например, в Самарской губ., в старину на брак требовалось согласие главы семьи невесты, а не ее родителей. Лопарь-жених получал в старину предварительное разрешение на женитьбу у всей своей родни; как родичи жениха, так и родичи невесты собирались на общие советы, а на сговоре вся родня вновь публично давала свое согласие на брак.

Наконец, требование согласия рода сохраняется и в законодательстве более культурных народов. Старый японский кодекс Тайхо требовал согласия на брак деда и бабки, родителей и других родных, да и новый гражданский кодекс, в ст. 751, постановляет, что старший глава рода имеет право исключить из семьи того члена, который вступит в брак без его согласия; равным образом, отец или мать могут требовать признания недействительным брака, заключенного без их согласия.

С распадением рода и падением авторитета родовых властей, в малой семье, заключение брачной сделки принадлежит всецело родителям жениха и невесты: они и являются подлинными юридическими сторонами сделки, действительными покупателями и продавцами. И сейчас, можно сказать, у большинства человечества заключение брака есть дело родителей: ни мнения, ни согласия молодых не спрашивается и не принимается во внимание

Поскольку родственная группа сохраняет свою цельность, она играет и самую действительную роль во всех иных актах заключения и исполнения брачной сделки, и оба рода являются, собственно говоря, настоящими действующими лицами во всех главных обрядах свадебного цикла. В пережитке, это фактическое участие рода обращается в универсально распространенную обязательность приглашения на свадьбу всей родни.

Но наиболее реальная сторона участия рода в совершении брака состоит, конечно, в том, что самая покупка примитивно совершается на общие родовые средства, а полученная плата распределяется так или иначе между членами невестиной группы. И сейчас все члены рода жениха у юкагиров, чукчей и др. наиболее сильных родовым строем племен участвуют в уплате

калыма. По чувашскому обряду, жених сажает родных за стол, кланяется и собирает помочные деньги на выплату калыма. Точно так же у многих негров плата за невесту распределяется между всеми ее родичами-мужчинами. У папуасов невестина сторона торгуется о размере брачного платежа с таким расчетом, чтоб все родные что-нибудь получили. И на Соломоновых островах вся родня жениха участвует в платеже, и вся родня невесты делит в известных долях полученное. Таким же образом у многих кавказских народов, семитов, урало-алтайцев и проч. фактически сохраняется родовое начало при внесении и распределении брачного платежа. Наконец, русская кладка вносится отцом жениха или старшим в семье, но ни в коем случае не самим женихом, — отцу, матери или старшему в доме невесты.

Вполне соответствует характеру разбираемой нами сделки то обстоятельство, что в ряде реальных актов ее совершения и в их обрядовых пережитках сами брачущиеся, жених и невеста, либо вовсе не участвуют, либо участие их носит чисто пассивный характер.

Как у многих индейцев, так и у многих тюркских племен, например, у туркмен и ногайцев, молодые при совершении брака вовсе не присутствуют. Точно так же у многих татар молодые не принимают почти никакого участия ни при заключении брачного договора, ни во всех торжествах, а у бурят постороннему даже трудно узнать жениха в толпе зрителей. Якуты, пируя на свадьбе, как бы совершенно забывают о молодых, не говорят с ними и даже не упоминают их имен, да и сами якутские молодые стараются возможно меньше обращать на себя внимание.

И на другом энтическом полюсе — у некоторых папуасов — жених и невеста не принимают никакого участия в переговорах о заключении брака и ведут себя так, как будто это их совершенно не касается — жених отправляется удить рыбу, а невеста собирает раковины. У народов, выделивших в качестве особого обряда «сговор» как главный именно торговый акт заключения сделки, молодые, по широко распространенному обычаю, здесь никогда не присутствуют.

В частности, поведение невесты в свадебном церемониале во многих отношениях остается, как это мы увидим еще раз, совершенно пассивным: она подвергается осмотру в родительском доме, затем ее перевозят или иным способом препровождают в новый дом, здесь принимают, вновь осматривают и т. д. Это — товар.

Групповый характер покупного брака сказывается достаточно выразительным образом в случае смерти невесты или жениха в процессе заключения сделки. Тот факт, что самый предмет договора, так сказать, уничтожен, — факт, по общегражданскому праву обычно влекущий за собой расторжение сделки, — здесь имеет совершенно иные последствия: договорные отношения между сторонами по данной сделке сохраняются и исполнение сделки все же наступает.

У киргиз в случае смерти невесты, за которую уже уплачено полностью, отдают взамен ее сестру или другую девушку рода, и только если свободной женщины не оказывается, полученный «калым» возвращается.

Точно такой же обычай принят у очень многих урало-алтайских народов, как и у многих негрских племен.

В случае смерти жениха, купленная женщина, оставаясь собственностью группы, переходит к одному из родичей покойного. У тунгусов невеста передается одному из братьев или ближайших родственников жениха, у качинских татар невесту берет себе отец умершего; у негрского племени мосси, если жених умирает до полной уплаты всей следуемой суммы, выплата продолжается, и невеста числится за другим родичем. Точно так же и в этом случае может, конечно, последовать и расторжение сделки с возвратом уплаченных денег.

III.

Заключение брачного соглашения в форме купли-продажи, повидимому, всегда представляло собой акт, не лишенный и сам по себе некоторой сложности, да еще осложненный пережитками в различных проявлениях прежних брачных отношений. Самая брачно-торговая сделка необходимо распадалась на несколько составных актов, из коих главные сводились, прежде всего, к предложению сделки, предварительным переговорам о цене и различных условиях осуществления договора, далее, осмотру предмета покупки, затем исполнению сделки — внесению покупщиком платежа и передачи женщины в собственность новому ее владельцу.

Развитие торговых форм вносит и сюда свойственные всякой купле-продаже некоторые дополнительные акты — скрепление заключенной сделки, выделение момента вступления ее в силу, обеспечение исполнения, а равно и различные видоизменения способа ее заключения. Все эти моменты облекаются в форму особых обрядов и, сохраняясь в качестве пережитков, располагаются по всему протяжению той длинной цепи разнообразных церемоний, которая образует свадебный цикл, порой самым причудливым образом изображающий различные моменты и акты брачного соглашения как акта заключения между двумя группами союза мира и дружбы, с одной стороны, и совершения чисто торговой сделки купли-продажи, с другой. Наконец, здесь же сохраняются и пережитки предшествующих форм половых отношений, отражая таким образом весь путь, пройденный историей брака [1])

Обращаясь к изучению именно актов заключения брачно-торгового соглашения, мы прежде всего видим, что предложение сделки исходит всегда от покупателей и неизменно, по универсально распространенному обыкновению, представляющему собой чрезвычайно характерный для истории торговли вообще порядок, связано с посредничеством. В то время, как продавцами женщины выступают всегда сами ее хозяева, со стороны покупателей, в качестве посредников для предварительных переговоров, являются особые лица — сваты, и весь первый акт сделки составляет специальную церемонию «сватовства».

[1]) Превосходное описание цикла славянских свадебных обычаев в работе: **Piprek J.**, Slavіche Brautwerbungs - und Hochzeitsgebräuche. Mit einem Vorwort von V. Jagic (Zeitschr f. österreichische Volksunde, B. XX, Erg - heft 10), St. 1914.

Повидимому, сваты-посредники избирались первоначально из числа третьих, нейтральных лиц. Такой порядок действует и сейчас у очень многих племен, как урало-алтайцев, так и океанийцев, как негров, так и кавказцев и проч., бытовал в старину и у многих других народов. Затем сваты избираются уже обязательно из среды членов родственной группы жениха, и, наконец, новейшая культура создает профессиональный тип свата или свахи. В поведении и формах обращения сватов к владельцам женщины очень много пережитков иных, прежних брачных отношений. Широко распространен, однако, обычай сватов прямо называть себя покупателями, прибывшими за товаром. «Мы купцы и люди подорожные», говорят сваты у словенцев. «Мы купцы из далекой страны, ищем товаров, вам продавать, нам покупать», обращаются сваты к родителям невесты у чувашей. На латышском языке слово «сват» означает буквально «купец». Любопытная особенность этих околичностей, с которых часто начинают сваты, — манера говорить не о невесте, а о каком-нибудь домашнем животном: «Не имеете ли телушки на продажу?» — спрашивают белорусские сваты, и точно так же у эстов или у якутов разговор сватов с родителями невесты идет все время о покупке теленка; «у нас есть купец, а у вас птица, продайте ее нам», говорится у лопарей.

Родимый мой батюшко!
Что у тебя за пиры были,
Что за беседушки?
Что за купцы были,
Что за торговые?
— Уж сама я знаю, ведаю,
Уж сама-то я догадалася:
Торговали, закупали
Буйную мою головушку...

причитает великорусская невеста.

Содержание предварительных переговоров сводится к получению согласия продавцов, выяснению размера цены, установлению порядка ее выплаты, срока исполнения договора и т. д. Но во всякой торговой сделке купли-продажи стороны должны иметь в виду определенный товар. Покупателю надлежит ознакомиться с предметом сделки, а на продавце лежит обязанность не вводить покупателя в заблуждение, дать возможность видеть и достоинства и недостатки продаваемого, а затем передать именно тот предмет, который имел в виду покупатель. При наличии таких условий продавец устраняет от себя обвинение в обмане, покупатель лишается права ссылаться на свою ошибку. Эти общие юридические нормы воспроизводятся и брачным правом.

Но раньше всего следует предположить, что в известных случаях покупатели, очевидно, не имели в виду приобретения определенной женщины, а являлись к чужой группе с более общим намерением высмотреть и купить какую-либо одну или даже несколько женщин. Пережитком такого выбора при купле считается широко распространенное у индо-европейских народов шуточное предложение сватам или жениху не настоящей невесты, а какой-

либо другой девушки или женщины. У белоруссов, например, свату приводят двух девушек, он просит показать получше, приводят еще пару и, наконец, только показывают невесту.

Продающий обязан, пред'являя невесту, об'явить ее недостатки и затем выдать ту самую женщину, которая была осмотрена. По сообщению Котошихина, обманная выдача замуж увечных и пред'явление на смотринах подставных здоровых дочерей или слуг было не редким явлением в московском обществе XVII века[1]). По киргизскому праву, неизлечимая болезнь или увечья, скрытые и ставшие известными впоследствии, служат основанием для отказа от невесты; если жених откроет подобные недостатки, он может получить другую дочь того же отца или другую девушку того же рода, либо получить обратно уплаченные деньги. У осетин, если при заключении брака были скрыты пороки, болезнь, физические недостатки или нецеломудрие невесты — сделка может быть расторгнута.

Гарантия продавца формулируется следующим образом кодексом Ману: «Кто выдаст девушку замуж, предварительно об'явив ее недостатки, будет ли она безумной или пораженной проказой или потерявшей девственность, не подлежит наказанию» (VIII, 205). Так и белорусс — отец невесты — выводит дочь к сватам и говорит: «Добрый вечер вам, сваты, веду вам товар — не слепой, не хромой, дай бог и мне такой. Даю вам, говорю вам, чтоб вам не было обиды на наш товар».

Предварительный осмотр невесты, производящийся при сватовстве, либо выделяющийся в особый обряд — общеизвестные у всех индо-европейцев «смотрины» или у славян «показ» — имеет в сознании сторон вполне определенное практическое и юридическое значение и сохраняет нередко самые реалистические черты. «Кота в мешке не купляюць», произносят белорусские сваты обычную торговую поговорку, требуя показать им невесту. Украинские сваты очень тщательно рассматривают девушку и, взяв ее за руку, обводят по комнате, чтоб удостовериться, нет ли у нее физических недостатков. Столь же действительную роль играл предварительный осмотр невесты в старину у якутов, при чем сваты, по разным приметам, определяли, будет ли она рожать детей.

Нечего и говорить, что все эти показы и осмотры имеют сейчас чисто пережиточный и обрядовый характер, — осматриваемая невеста на самом деле почти всегда хорошо знакома сватам или вообще жениховой стороне, отлично знающим, есть или нет у нее физические недостатки, болезнь и проч. Эти обряды возвращают нас таким образом к более отдаленным временам, когда покупатели действительно совершали чисто торговую сделку, приобретая совершенно незнакомую женщину и, быть может, впервые являясь к чужому роду.

Не менее распространен осмотр невесты уже после заключения брачной сделки в обряде, приуроченном к моменту вступления молодой в новую семью. В этом случае показ имеет, повидимому, значение осмотра купленной

---

[1]) Котошихин, Г., О России в царствование Алексея Михайловича, П. 1840.

женщины широким кругом родичей, не участвовавших в заключении сделки. В Курской губернии свекор подходит к молодой и говорит: «Дайте посмотреть, что это привезено — не хрома ли, не слепа ли?» и, подымая платок, закрывающий молодую, заявляет: «Слава тебе, господи, все хорошее и все доброе». Точно так же у кафров в Африке привезенная в новый дом невеста осматривается женщинами-родственницами жениха, которые тщательно исследуют все части ее тела, после чего невеста показывается и всем присутствующим гостям, также удостоверяющимся в ее здоровьи.

Тот же обряд широко распространен у всех индо-европейских, семитических и многих монгольских народов в весьма сходной форме — открытия лица невесты. Так, в Ленинградской губ. после прибытия свадебного поезда в дом жениха, дружка кнутом подымает платок, закрывающий невесту, и кричит: «Хороша молодая!». Точно так же у чуваш, как и у киргиз, ближайший родственник жениха снимает или приподымает покрывало невесты веткой или палочкой. И у арабов сидящую под покрывалом невесту открывают и показывают почетным гостям; этот обряд так и называется «показывать молодую».

IV

После того, как путем предварительных переговоров через сватов достигнуто соглашение, в более примитивном церемониале, очевидно, должно было следовать непосредственное исполнение сделки. Так и бывает посейчас обычно у многих полукультурных народов, у которых осуществление сделки сводится к простому внесению платежа и увозу женщины. Так, у многих океанийцев, негров и индейцев после уплаты денег женщина забирается покупателями без всяких церемоний и обрядов. То же, видимо, выражает и русская поговорка «Денежки на стол и девушку за стол».

В развитом и усложненном свадебном цикле особо выделяется специальный акт нового и окончательного установления размера платы за невесту, который исполняется либо, по-прежнему, третьими лицами, либо уже непосредственно обеими сторонами. Это индо-европейский обряд «сговора» или «обручения». Существенное содержание этой части брачного соглашения составляет самый обыкновенный торговый спор, в котором одна сторона назначает свою цену, другая торгуется, одна уступает, другая набавляет и т. д. «Клади, сват, клади, — говорит болгарин, отец невесты, отцу жениха,— корова хороша».

Любопытное описание молчаливого брачного торга у самоедов в старину дает Иславин. После предварительного визита свата и получения принципиального согласия отца невесты, «сват снова едет в чум будущего тестя, берет одну бирку и молча подает ее будущему тестю, который намечает на ней столько рубежков, сколько желает взять за дочь свою оленей, песцов и т. д., и отдает ее свату; сват, если уполномочен, срезывает с бирки то число рубежков, которое ему кажется лишним. Условившись, наконец, в цене, каждый из них на обоих концах палочки кладет клеймо свое, раскалывает бирку надвое, и тот и другой берут каждый по половинке. В продолжение

всей этой сделки не говорится почти ни слова и только действуют посредством знаков»[1]).

Далее, особо выделяется акт обычно-правового скрепления заключенной сделки, состоящей из общепринятых в торговых обычаях способов скрепления договоров. Такова, прежде всего, публичность. У белоруссов, как и у очень многих народов, главное условие «змовин» — присутствие родственников и соседей, призываемых обеими сторонами в качестве свидетелей. Тут, далее, общеизвестные торговые приемы — взаимное битье по рукам и совместная выпивка, откуда соответствующие названия брачных обрядов—«рукобитье», «пропой» или «запой». Как у лопарей заключение брачного договора сводится к обсуждению условий, затем отцы подают друг другу руки, свидетель их разнимает, после чего следует взаимное угощение, и на том договор считается заключенным, так и у белоруссов, лишь только сваты и отец невесты придут к соглашению, они ударяют по рукам, а кто-нибудь третий разнимает. К этим церемониям иногда присоединяется, как результат уже совершенно иных влияний, скрепление договора взаимными клятвами или совместной молитвой.

Наконец, брачная сделка знает и самую совершенную гражданско-правовую форму скрепления заключенного соглашения — письменный договор; такова, например, русская «рядная запись». Такой же письменный контракт совершается у китайцев, где он подписывается отцами или родоначальниками обеих сторон; у евреев подписание брачного контракта совершается самими брачущимися.

В цикле брачных обрядов обнаруживается в пережитках и общеупотребительное для обозначения и закрепления права собственности наложение знака или тавра. Как армянин-крестьянин имеет обыкновение накладывать свое клеймо на купленную вещь, так и обручение у армян называется н е ш а н е л ь—буквально «наложение знака». Точно так же у сирийцев Ливана имеется выражение для обручения, означающее дословно: «он наложил свой знак на нее». Пережитком того же акта мы склонны считать известное как славянский обычай, но найденное нами и у других народов, обрядовое подрезание волос невесты. Так белорусские сваты, рассказывая в свадебной песне, как они нашли невесту, говорят, что хоть не взяли ее, но «знак наложили» — «русу косыньку подрезали». Точно так же, по китайскому обычаю, жених подымает палкой покрывало невесты и подрезает ей косу, а у негрского племени мосси (в зап. Судане) на сговоре родственники жениха выбривают кружок волос на голове невесты.

Равным образом не чужды брачно-торговой сделке и общие гражданско-правовые способы обеспечения исполнения договоров — задаток и неустойка. Южно-русские болгары при первом посещении сватами родителей невесты дают разные вещи, носящие общее название л и ш а н, что означает дословно «задаток». У латышей сваты, после сговора приезжают на так называемое «большое пиво» и вносят «задаточные деньги». Подобное же обык-

---

[1]) И с л а в и н, В., Самоеды в домашнем и общественном быту, П. 1847.

новение вносить задаток находим у многих других народов: армян, сванетов, русских, езидов, горских евреев и проч. Наконец, необходимой принадлежностью рядной записи в древней Руси было назначение неустойки «заряда».

С тех пор, как исполнение брачной сделки отделилось от заключения условия и между этими двумя актами лег известный промежуток, брачно-торговому праву потребовалось установить момент заключения сделки. Здесь еще раз сказалось происхождение этой формы брака. В былые времена сила сделки, ее крепость заключалась в том дружественном союзе, который устанавливался между сторонами после имеющих особое значение совместного пиршества и обмена дружественными подарками. Самое заключение такого союза знаменовало необходимость для обеих сторон точного и неуклонного исполнения соглашения, а противное было актом недружелюбия и поводом к началу вражды. Это обстоятельство и сказалось на взглядах различных народов на момент и силу заключения брачной сделки, которые приурочиваются к совместному питью или обмену подарками. С перенесением исполнения брачных актов на самих брачущихся, по универсально принятому обычаю, принятие невестой подарка жениха означает формальное заключение брака. Старинная запись тунгусских обычаев так выражает общий принцип: «Буде кто с кем договорились сватовством и при договоре, по нашему обыкновению, вино уже пили, то никак уже не могут от договора отказаться» [1]). Аналогично у негров баганда принятие родичами невесты посылаемого жениховой стороной туземного пива считается моментом заключения сделки. Древний китайский кодекс законов Та-тсинг-лу-ли гласит: «Принятия брачного дара достаточно для доказательства согласия сторон».

Уж ты свет мое дитятко,
Моя дочка ты милая!
У нас дело-то сделано,
По рукам сватам ударено
И дарам-то задарено...

или:

Зелено вино роспито,
Что тонки дары раздарены,
По белым рукам ударено,
Мое дитятко запоручено...

отвечает великорусс — отец невесты-дочери, умоляющей не выдавать ее замуж, а короче и выразительнее формулирует пословица: «Пропита — продана».

V.

Исполнение брачно-торгового договора по существу ничем не отличается от исполнения всякой иной купли-продажи движимости: покупатель вносит условленную цену, а продавец передает проданный предмет. Эти основ-

---

[1]) Самоквасов Д., цит. соч.

ные моменты находим и в брачных обрядах, и чем, так сказать, цельнее и примитивнее сохраняется покупной брак, тем упрощеннее его церемония сводится к этим исчерпывающим сделку актам.

Как известно, примитивно переход права собственности должен был формально ознаменоваться реальным завладением рукой соответствующим предметом (у римлян — mancipatio). Отсюда, между прочим, римское manus, древне-немецкое munt, как и русское р у к а, означают не только руку как часть тела, но выражают одновременно и понятие владения или права собственности. Точно так же простейшая церемония перехода женщины из власти одних ее собственников к другим сводится примитивно к простому, но вполне реальному вручению купленной женщины. Так, еврейский брак состоит, собственно говоря, из двух коренных актов — э р у с и н (обручение), т.-е. внесения платы, и н и с с у и н — дословно «взятия».

Церемония передачи невесты продавцами покупателям составляет широко распространенный свадебный обряд. Но, подобно очень многим актам, действующими лицами которых были примитивно представители групп, как мы уже видели, исполнение и этого акта индивидуализируется, и вручение невесты производится уже непосредственно жениху.

Большую близость к первичной форме сохранил старинный мордовский обряд: отец невесты берет ее за руку и вручает родителям жениха, а затем брат невесты, в свою очередь, выводит ее за руку из дому, передает свите жениха, и невеста увозится. Весьма редкостный и выразительный вариант белорусских «заручин», записанный Добровольским, состоит в том, что двое отцов выступают друг против друга, держа за руку один жениха, другой невесту; подступая к отцу невесты, отец жениха с каждым шагом произносит: «Я к тебе раз, я к тебе два, я к тебе три, подай девку сюды!». Затем отцы подают друг другу руки, сводя одновременно молодых, которые также берутся за руки [1]).

Иные варианты такого же вручения невесты бесконечно разнообразны. Таково известное еще Ведам, общепринятое у индо-европейцев и распространенное у некоторых других народов, например, монголов, некоторых негров и проч., завладение рукой невесты или, в преобразованной форме, обряд соединения рук брачущихся (славянское «обручение» или «заручины») как полу-реальное, полу-символическое утверждение приобретенного права. Отсюда, между прочим, и свойственные всем индо-европейским языкам выражения «просить руки», «получить руку». По распространенному славянскому обычаю, братья невесты передают ее в руки шаферов жениха; у зырян невеста подает руку жениху, а родные разнимают; у некоторых негрских племен родители невесты сами отводят ее к жениху и при свидетелях кладут ее руку в руку жениха; у негров баганда, брат невесты берет ее за правую руку и передает в руку сестры жениха. Несомненно, впрочем, что, по общей для многих обрядов судьбе, на смену первоначальному значению завладения, на-

---

[1]) Д о б р о в о л ь с к и й В., Смоленский этнографический сборник, 3 части (Записки Рус. Геогр. Общ. по Отд. Этногр., т.т. 20 и 23), П. 1891—1894.

родное творчество облекло «заручины» символическим значением соединения жениха и невесты в брачном союзе.

Как известно, реальное завладение покупаемой вещью при переходе права собственности в древнем Риме принимает позднейшую форму, состоящую в том, что покупатель только касается рукой вещи в присутствии свидетелей, произносит установленную формулу, ударяет куском меди или монетой по весам и передает этот кусок меди или монету, как древле самую плату, продавцу. Точно так же и римский брак в его гражданской форме (coemptio — покупка) совершался, как и покупка движимости, церемонией, называемой per aes et libram (при посредстве меди и весов): жених в присутствии свидетелей накладывал руку на невесту, произносил обычную формулу, ударял куском металла по весам и передавал этот кусок родителям невесты.

Своеобразным пережитком такого касания невесты мы об'ясняем довольно распространенный обычай обрядового битья невесты для символизации перехода права собственности; у одних народов этот обряд сохраняется в более явственном виде, и невесту бьет сначала ее отец, как первоначальный собственник, а затем жених, как его правопреемник, у других — только жених. В старину у великороссов отец невесты ударял дочь плетью, а затем передавал плеть жениху. Точно так же у феллахов и сомали отец невесты и жених поочередно слегка бьют ее. У чуваш или у македонских болгар молодой трижды ударяет невесту после свадьбы. В Кроации молодой слегка дерет невесту за ухо для обозначения того, что отныне он ее хозяин. И в данном случае народное творчество толкует этот обряд символически — в смысле перехода не столько права собственности, сколько власти. Жених-малоросс, при от'езде из дома невесты, слегка ударяя трижды по спине девушки палкой или кнутом, говорит: «Кидай батькови норови, та бери мои».

Исполнение покупщиком своего обязательства — уплата договорной цены в брачной сделке не облекается очевидно в чистом своем виде какой-либо сложностью. И здесь обряд индивидуализирует примитивный порядок, и внесение платы продавцам женщины переходит в пережиточный платеж самой невесте. Возможно, что другое пережиточное ответвление того же акта составляет обычный и широко распространенный подарок невесте. Такой пережиток реальной платы мы уже могли видеть в куске металла или монете римского свадебного обряда; точно такой же пережиток сохраняется в древнем еврейском брачном ритуале. Наконец, несомненно, такой же осколок древней брачной платы — индо-европейское обручальное кольцо. Надо только вспомнить, что металлические деньги обращались первоначально именно в форме колец. Старинный обряд состоял в поднесении кольца женихом невесте и позже принял форму обмена кольцами. И здесь основной смысл затемняется народным творчеством, обращающим кольцо в символ соединения молодых в брачном союзе.

А все же невинное кольцо, которое многие из нас носят на пальце, составляет одно из звеньев цепи, соединяющей нас с первобытным прошлым человечества.

VI.

Существующие в различных языках термины для обозначения платы за невесту ничего иного не обозначают, как именно и только «цена». Таковы, например, юкагирское у о л е н, у мордвы п и т н е, малайское beli, означающие «цена», или вотяцкое й ы р д у н — буквально «цена головы». Таково же и славянское в е н о, означающее первоначально «плату» вообще, как в е н и т ь значит «продавать», «покупать» или «оценивать», — и остающееся только термином брачного платежа.

Означая и разумеясь первоначально как возмещение стоимости женщины, брачная плата, с повышением культурного уровня народа, принимается как некое вознаграждение родителей невесты за отнятую у них рабочую силу или как вознаграждение за труды и расходы по ее кормлению или воспитанию. Так, у древних евреев брачная плата—м о г а р считалась вознаграждением за отнятую рабочую силу, у русских к л а д к а или у якутов к а л ы м (буквально: «деньги») — как возмещение родителям расходов по кормлению и воспитанию девушки.

С обще-экономической точки зрения, цена женщины или ее стоимость зависит в основе от качеств ее как работницы и производительницы. Естественно влияние здесь, конечно, спроса и предложения, зависящих в свою очередь от соотношения числа женщин и числа мужчин. Так у туркмен, после покорения их русскими и гибели за это время большого числа мужчин, цены на женщин упали. Но и до последнего времени на базарах Туркестана можно было услышать: «Женщины стали дешевле, а верблюды подорожали». Вообще говоря, цена женщины обычно бывает, сравнительно с ценами иных хозяйственных благ, весьма велика. Купить жену не редко, с разложением родового строя, без материальной поддержки родичей, не всякому доступно. «Для многих мужчин, — говорит Леонтович об орочонах, — жена является заветной и несбыточной мечтой подчас в течение целой жизни. Тем не менее, каждый такой вынужденный бобыль не покидает своей мечты. Ценой долгой трудовой жизни, полной лишений и мытарств, копит он свои соболя для выкупа и, накопив их, иногда вместе с седыми волосами, приобретает, наконец, лет в 60 молодую 16-летнюю жену» [1]). Точно так же и в Меланезии мальчики с раннего детства начинают копить раковинные деньги на покупку жены.

Вообще говоря, в каждом отдельном случае, как во всякой торговле, цена продаваемой женщины зависит от соглашения сторон и устанавливается иногда, например, у многих негров, после очень долгого торгования. Ценность женщины как работницы определяется ее возрастом, физической силой и хозяйственными способностями. Любопытно, что эта цена может колебаться еще и в зависимости от сезона: очевидным отголоском этого звучит шуточное заявление подруг великорусской невесты, выпрашивающих подарки при особом обряде выкупа невесты: «Сватушка любезный, мы за такую плату не согласны:

---

[1]) Л е н т о в и ч С., Природа и население бассейна р. Тумни Приморской области,— „Землеведение“ 1897, 3/4.

теперь лето, не зима, теперь работницы дороги!». Естественно, что у очень многих народов больные, слабые девушки нередко остаются незамужними. Красота играет существенную роль, правда, не всегда, при оценке женщины. Но идеал женской красоты, столь различный у разных народов, в конце концов иногда довольно явственно сводится к здоровью, физической силе и способности к деторождению.

Наконец, самым резким образом сказывается у очень многих народов оценка женщины как производительницы. Поэтому иногда женщина, уже доказавшая свою способность к деторождению, оценивается даже выше девушки, поскольку есть основание ожидать от нее нового потомства. Такая оценка женщины совпадает с своеобразным отношением к ее прошлому. Тукулеры в сев.-зап. Африке оценивают женщину, бывшую уже в браке, дороже девушки. В старину в Архангельской губ. уже рожавшая женщина скорей находила жениха, чем сохранившая невинность. Точно так же и на острове Ротума в Полинезии женщине, имеющей ребенка, легче выйти замуж, ибо на-лицо доказательство ее плодоносной способности. У негров вагого вдова или разведенная, имевшая уже детей, стоит дешевле, но если она молода, сильна и красива, стоит столько же, что и девушка. И посейчас у вотяков, если женщина до выхода замуж забеременела или даже имела детей, она предпочитается девушке, потому что от нее вернее можно ожидать потомства, и получает массу предложений. Так и по мнению мордвы, женщина, рожавшая до брака, только доказала, что не будет бездетной.

На том же основании у многих народов муж охотно берет жену с уже имеющимся приплодом, что только повышает ее стоимость. Так, пермяки, ценя очень низко девичью невинность, с особым удовольствием берут женщин, имеющих «миренов» — мирских детей или находящихся в последнем периоде беременности. «Еще когда, — говорят они, — своего наживешь, а тут, глядишь, через год другой и барноволок (работник) есть» [1]. Для черемиса странно предпочтение невинных: добрачный ребенок — лишний работник, который принимается с удовольствием. В былые времена и лопари оказывали предпочтение женщинам забеременевшим потому, что они доказали свою производительную способность и приносили с собой готовое потомство, при чем предпочитались девушки, забеременевшие от приезжих иностранных купцов. И последовательно проводят точность расчетов в брачной сделке негры пангве, у которых жених очень охотно берет и добрачных детей, потому что каждый ребенок составляет существенное приращение его имущества, но вносит за них особую доплату.

По обычаям некоторых народов, платеж за жену производится вообще лишь после рождения ребенка. У алеутов брак считается заключенным после рождения ребенка, после чего только и производится платеж. Так и негры вандороббо платят за бездетную вдову только после рождения ребенка. Наконец, по другим обычаям, бытующим у негров вашамбала и вапаре, а также у некоторых индейцев, муж дает особую доплату после рождения ребенка.

---

[1]) Янович В., Пермяки, — „Живая Старина“ 1903, 1/2.

Что касается валюты, в которой производится платеж за женщину, то и здесь нет никакого отличия от иных торговых сделок, и платежными средствами служат все ходячие в данном обороте ценности. Однако при продаже женщины сказывается то явление, которое известно из истории обмена: такая крупная ценность, как женщина, может быть покрыта на низших ступенях развития примитивного денежного обращения, когда нет привычки и возможности производить платеж большим количеством однородных предметов, — только целым набором различных благ-ценностей. И лишь с утверждением в обороте одной платежной единицы плата за женщину производится и фиксируется в этой общепринятой «монете». Повидимому, первоначальная необходимость составлять плату за женщину из набора разных предметов удерживается в качестве обычая.

У негров пангве, за одну невесту было уплачено: 600 штук местной денежной единицы — необработанных железных полосок, 12 ружей, 3 боченка пороха, 70 кабанов, 2 овцы, 2 железных горшка, 10 кусков ткани, 5 шляп, 13 горшков соли, 2 связки бус, 2 трубки, да и на том список не кончается. У иных народов этот набор все же гораздо ограниченнее: у туземцев одного из Торресовых островов обычная цена девушки — лодка и браслет из раковин, у индейцев нутка — 2 лошади, ружье и пачка табаку; у негров валаре плата за невесту составляет 3 коровы, 2 козы и некоторое количество меду, а после рождения ребенка доплачивается еще 2 козы.

Наконец, цена фиксируется уже в одной ходячей платежной единице: у индейцев навахо — это 5-6 лошадей, у племени банаро на Нов. Гвинее — 10 горшков, у туарегов — 6 верблюдов, у киргиз в старину 47 лошадей, у древних саксов цена жены, определяемая законом — Саксонской Правдой, составляла 300 солидов (Lex Sax, XL).

Совершенно особый способ платежа практикуется у некоторых негрских племен: у ба-ронга, если плата не внесена своевременно, родители жены получают первого родившегося ребенка. Точно так же у племени латука в Восточной Африке, если жених не в состоянии уплатить за жену, отцу ее отдается первый ребенок. Так и у зулусского племени тонга в Южной Африке первая родившаяся дочь идет в платеж: дочь составляет плату за собственную мать.

Говоря о брачном платеже, необходимо раз'яснить одно недоразумение. Очень часто эта плата, имеющая, как можно убедиться из всего духа разбираемого порядка и из конкретных форм его применения, вполне реальное и чисто торговое значение, изображается не как внесение определенного денежного эквивалента стоимости женщины, а как добровольный подарок стороны жениха родичам или родителям невесты. С другой стороны, с брачным платежом смешиваются различные обрядовые подарки, даваемые во время заключения брака тем же порядком. Правда, то обстоятельство, что денежными средствами брачного платежа служат, как мы видели, разные блага, даваемые обыкновенно и в качестве подарков, что об'ясняется, как мы уже знаем, отсутствием в данном обороте единой платежной единицы, — может ввести в заблуждение наблюдателя.

На самом деле должно быть проводимо явственное различение самой платы за женщину и этих установленных обычаем подарков, и это различение дается без труда при внимательном изучении всего свадебного цикла. Надо только еще раз вспомнить, что экзогамный брак носит характерные и ярко проявляющиеся черты заключения мирнодружественного союза между двумя группами, а необходимой принадлежностью соответствующей церемонии всегда бывает обмен подарками. Вот подобное взаимное одаривание мы и находим в свадебном цикле, на всем своем протяжении переплетенном принесением подарков, которые дают друг другу все участники свадьбы: жених всем членам семьи невесты, главным образом, конечно, ее ближайшей родне, в частности, родителям, и самой невесте, затем родители и прочая родня жениха опять-таки тем же родичам невесты и ей самой. В свою очередь, и невестина сторона, ее родители и другие родичи дают подарки жениху, его родителям и родне. Любое описание свадебных обрядов дает примеры таких бесчисленных именно взаимных подарков обеих сторон. Правда, подарки жениховой стороны или самого жениха постепенно оказываются ценнее и обильнее ответных подарков невестиной стороны, но это — прямое следствие изменения самого содержания и характера брака. Наконец, помимо всего, многие обрядовые подарки представляют собой пережитки иных отношений между сторонами или обрядовое замещение иных форм брака.

Во всяком случае, во многих свадебных циклах очень нетрудно обнаружить полную независимость и раздельность настоящей платы за невесту и свадебных подарков, и многие народы очень точно и ясно различают в своих представлениях и на практике то и другое. Как было уже упомянуто, возможно считать, что с отмиранием покупного брака брачный платеж переживается, в свою очередь, в подарке, приносимом родителям невесты или ей самой, однако без того, чтоб обрядовые свадебные подарки, носящие строгий характер взаимности, следовало или можно было смешивать с самой платой за невесту и ее пережитками.

VII.

Сплошь и рядом цена женщины составляет столь большую по данному обороту сумму, что единовременная ее уплата оказывается совершенно непосильной покупателю. Поэтому брачная сделка знает различные формы и способы производства брачного платежа.

Отсюда раньше всего покупка женщины на выплату: условная цена выплачивается постепенно, нередко в течение очень долгого времени. Этот порядок вообще очень широко распространен. Негры большей частью покупают жен на выплату, при чем жена поступает в пользование мужа немедля по заключении сделки. Вместе с тем, по негрскому праву, пока вся сумма не выплачена, родившиеся дети считаются принадлежащими отцу женщины. У мазаи, например, при такой форме сделки, отец женщины может во всякое время отобрать ее обратно, вернув мужу полученную часть платы.

Подобным же образом, у негров вашамбала, если муж не выплачивает всего долга, отец жены забирает ее вместе с родившимися детьми.

У тюркских племен принят иной порядок: по выплате части калыма, жених приобретает право пользования, но не право собственности. У якутов, например, невеста остается у отца до полной выплаты калыма, при чем, если выплачена половина, жених посещает ее на правах мужа, будучи обязан лишь каждый раз привозить подарок; когда весь калым выплачен, наступает водворение жены в дом мужа. У башкир при заключении брака отец жениха обязан уплатить отцу невесты калым в половинном размере, остальное выплачивается нередко в течение нескольких лет; и здесь после уплаты половины калыма жених посещает невесту в доме ее отца на правах мужа до окончания выплаты. Точно такой же порядок действует у киргиз, вогул и др.

Существует и иной способ покупки жены на выплату, имеющий, однако, столь своеобразный характер, что смысл и значение его, в особенности со стороны генетической, оказываются весьма спорными. Но если даже эта форма заключения брака и имеет иное происхождение, то нет никакого сомнения, что вместе с общим переустройством быта на хозяйственных основаниях и данная форма брачного соглашения принимает достаточно определенно выраженный экономический характер.

Мы говорим о совершенно универсально распространенном и очень часто практикующемся обычае сговора малолетних. Дело сводится к тому, что двое отцов или иных представителей двух групп договариваются о браке их детей еще тогда, когда эти дети оба не вышли из младенческого возраста или даже вовсе еще не появились на свет, оба или один из них. Сюда же относится случай, когда родители взрослого жениха, или он сам, засватывают малолетнюю девочку, либо договариваются, что им будет отдана первая девушка, которая родится. Существенная для нас черта всех этих брачных форм сводится к тому, что все эти сделки представляют собой неприкрытую или прикрытую куплю-продажу женщины, при чем уплата обусловленной цены начинается обычно при заключении договора и продолжается, во всяком случае, до наступления возмужалости жениха и невесты, после чего женщина переходит к покупателю.

Следует думать, что такой порядок мог создаться на почве недостатка женщин вообще, с одной стороны, и дороговизны их, с другой, что вызвало стремление покупателей, опять-таки, как закрепить за собой заблаговременно будущую жену, так и создать себе облегченные условия расчета в виде постепенной выплаты. Как только у меланезийца рождается сын, отец начинает подыскивать ему жену и, договорившись, сразу начинает выплачивать условленную сумму. Поэтому же, быть может, у андаманцев практикуется следующий порядок: после сговора малолетних детей девочка переходит в дом своего будущего свекра, и дети остаются вместе в течение нескольких месяцев для того, чтоб факт их сговора стал общеизвестным; затем девочка снова возвращается в родительский дом и лишь по достижении зрелости и уплаты следуемой суммы становится женой. Точно такой же порядок широко

распространен в Меланезии. На Малайском полуострове более распространен обычай, по которому девочка-невеста берется сейчас же после заключения договора в семью покупателей, и брачные отношения начинаются тогда, когда дети достигнут зрелости. У тюркских народов, например, у якутов, малолетняя невеста остается в своей семье, калым начинает выплачиваться, когда будущим супругам по три-четыре года, и если ко времени возмужалости обоих выплачена уже половина, жених получает право пользования, а с уплатой всего следуемого брак считается вступившим в силу. Заметим еще, что сговор малолетних следует также рассматривать как предлог, способ или форму заключения родства и союза дружбы.

Совершенно особую форму составляет покупка родителями взрослых женщин для своих малолетних сыновей. Этот распространенный, насколько мы знаем, славянский и урало-алтайский обычай возник, вероятно, в связи с ограничением или упразднением многоженства: не имея возможности купить лишнюю жену, отец мальчика использует здесь иное основание для приобретения в хозяйство новой женщины. Не следует только считать, что такая покупка производится исключительно в целях сожительства свекора с своей снохой, так называемого у русских «снохачества». У чуваш, например, где покупка взрослых жен для малолетних сыновей не редка, снохачество почти совершенно не встречается.

Наши замечания относительно сговора малолетних могут быть повторены и по поводу происхождения другой формы заключения брака, которую мы также рассматриваем, — в том виде, как она сейчас проявляется, — как своеобразный способ возмещения стоимости приобретаемой женщины. Мы говорим о широко распространенном порядке, по которому жених отрабатывает у будущего тестя определенное количество времени, после чего получает невесту в собственность и забирает ее к себе.

Нет сомнения, что в этом порядке имеется иногда явно проступающий элемент испытания будущего зятя в его хозяйственных способностях. Однако не менее явственно сказывается характер такой отработки, как, именно, компенсации отца женщины личным трудом жениха взамен денежного платежа. У очень многих народов срок отработки точно определяется заранее: у чукчей, как и у некоторых индейцев, срок этот равняется году, у некоторых отсталых племен Сев. Индии — семи годам. В Бирме срок отработки — три года, и если невеста после того отдается другому, полученная за нее плата идет первому жениху. У некоторых индейцев Южной Америки жених либо работает в доме невесты в течение года, либо обязывается исполнить ряд определенных работ — расчистить участок земли, срубить деревья и т. п. Бывают случаи, что отработка идет в возмещение только части платы за невесту: у негров ваниамвези, как и у вандороббо, если жених беден, то часть стоимости невесты он отрабатывает у тестя.

Повидимому, порядок отработки распространен вообще скорее у бедных племен, — так, например, из урало-алтайцев у вогулов, остяков, тобольских самоедов, орочей, — тогда как у киргиз, например, никогда не бывает;

у иных же племен он практикуется, как это было замечено уже Постом [1]), на-ряду с покупным браком, но только бедными людьми. Судя по этому, отработку надо считать, повидимому, позднейшей формой приобретения жены.

И от этого порядка отработки стоимости женщины необходимо отличать, как совершенно иной по происхождению и месту в истории семьи порядок перехода мужчины в семью жены навсегда, с полным включением такого зятя в состав новой семьи.

Реальная плата за женщину претерпевает, с изменением всего социально-экономического строя, характерное эволюционное превращение. Распад большой семьи и выделение из нее малых семейных ячеек ведет к необходимости для каждой молодой пары создавать свое отдельное хозяйство, а для этого в новых экономических условиях необходима посторонняя помощь. Переходная форма, которая создается новыми отношениями в покупном браке, сводится к тому, что родители невесты, получив за нее плату, в свою очередь, дают дочери приданое, стоимость которого, однако, значительно ниже полученной суммы. Затем входит в обычай, что стоимость приданого должна полностью покрывать сумму брачного платежа (якуты, армяне, буряты, чуваши, великороссы). Наконец, покупной брак отмирает, брачный платеж обращается в обрядовый пережиток, тогда как приданое не только остается, но приобретает еще большее социально-экономическое значение.

Развитый капиталистический строй, сохранив уродливое положение женщины, изменяет его лишь так, что женщина в браке не продается, а сама нуждается в приплате. Приданое приобретает новое значение как средство для выравнения классовых и имущественных различий, иногда как придача, необходимая женщине, физически слабой, плохой работнице.

VIII.

Поскольку в покупном браке женщина представляет собой товар, становящийся собственностью покупателя, от простого желания мужа-собственника всецело зависит расторжение такого брака. Действительно, у всех народов, практикующих эту форму брака, муж простым волеиз'явлением может во всякое время прогнать неугодную ему жену. В конце концов, это всегда лишь дело только хозяйственного расчета: жаль мужу потерять работницу и уплаченные за нее деньги, он оставляет жену, не жаль — прогоняет ее. Легкость расторжения брака зависит еще от относительной стоимости женщин: где за жену уплачена крупная сумма, расторжение брака реже, где женщины дешевы, как, например, у некоторых негрских племен, жены отсылаются с большей легкостью.

Но вместе с тем уже очень рано здесь создаются известные нормы, определяющие такие основания для отсылки жены, которые связываются

---

[1]) Post A H., Studien zur Entwicklungsgeschichte d. Familienrechts, O.—L. 1890.

с сохранением ответственности продавца. Раньше всего, нечего и говорить, что в случае самовольного ухода жены, — что, между прочим, бывает довольно часто у полукультурных народов, — и нежелания родных ее вернуть, муж имеет безусловное право на компенсацию. Далее, пестрое обычное право различных народов создает самые разнообразные основания для расторжения сделки: здесь и дурное поведение, и леность, сварливость и вороватость, и даже дурной запах. При наличии всех таких оснований муж имеет право на возврат уплаченных денег или выдачу ему другой женщины взамен, в случае отсылки жены без оснований — это право теряет. Если произошел обмен женщинами, то при расторжении сделки бывает, например, у бурят, что женщина, отданная на промен, также возвращается обратно.

Однако существенное значение для определения последствий расторжения брачной сделки и решающее влияние на расчеты между сторонами имеет вопрос, имеются ли уже к моменту расторжения брака дети. Вообще говоря, по универсально распространенному у полукультурных народов обычаю, дети при расторжении брака всегда остаются у отца. Например, у негров банака и бапуку дети остаются у отца, и только малолетние, до пяти лет, идут с матерью, однако до того момента, пока отец их не потребует к себе. Точно так же у микронезийцев на острове Иап дети при расторжении брака остаются у отца, а если имеется грудной ребенок, жена должна ежедневно являться кормить; и только если матери далеко ходить, она берет ребенка с собой и выкормив, возвращает отцу.

По не менее универсально распространенному порядку, если муж, отсылая жену, оставляет у себя детей, — он теряет право на получение обратно брачного платежа или замену жены. Так, у очень многих негров, если жена уходит от мужа, не принеся детей, деньги возвращаются, но если дети остались, муж не может требовать компенсации; у папуасов Соломоновых островов, если жена уходит самовольно или если ее отсылает муж, при отсутствии детей, плата возвращается полностью; если дети остались, муж получает лишь незначительную часть уплаченного.

По обычаям многих индейских племен, муж может отослать жену и требовать обратно уплаченное, но за каждого ребенка, которого он оставляет себе, делается особый вычет.

Нет ничего удивительного, что, по чрезвычайно широко принятому обыкновению, бесплодие жены составляет безусловное основание для расторжения брачной сделки с соответствующими имущественными последствиями, т.-е. возвратом денег или заменой бесплодной женщины другой. Вместе с тем, и в случае смерти бездетной жены, муж, по неизменно присущему покупному браку порядку, имеет право на возврат уплаченной суммы либо на выдачу ему другой женщины. Даже у крестьян Ярославской губернии в старину в случае смерти жены, не оставившей детей, кладка возвращалась мужу обратно. У всех негров, например, в таких случаях муж получает обратно деньги, либо отец умершей выдает бесплатно другую дочь. У гиляков в этом случае муж получает лишь часть калыма.

И на более высоких ступенях культурного развития, и с исчезновением покупного брака, бесплодие жены остается основанием развода, при чем устанавливаются лишь различные сроки для признания женщины бесплодной. Древний индусский кодекс Ману гласит: «Жена, не рождающая детей, может быть переменена на восьмом году, рождающая детей мертвыми — на десятом, рождающая только девочек — на одиннадцатом, но, прибавляет мудрый Ману, сварливая — немедленно» (IX, 81).

Наконец, и по многим гражданским и церковным законам капиталистического общества бесплодие жены считается одним из оснований развода.

З А Р У Б Е Ж О М

Интернационал г-на Бармата.

К. Радек.

История жестоко играет немецкой социал-демократией. Какая злая шутка: буржуазные партии, печать Хугенберга, обвиняют ее сегодня в продажности. Освободительница народов, международная социал-демократия, беспощадный обличитель буржуазного общества, посаженная на скамью подсудимых не за свою борьбу с этим капиталистическим обществом, но за собственное свое капиталистическое вырождение. Социал-демократия, которую капитал корит и попрекает заразой, нажитой благодаря мирному сожительству с капиталистическим обществом! В России для борьбы с проституцией и распространением венерических болезней, от времени до времени, устраиваются показательные процессы, где обеим сторонам — публичной женщине и потерпевшему «потребителю» — дана возможность выступить в защиту своих прав. Для социал-демократии — выступи она сегодня на подобном процессе в Германии перед своей буржуазной публикой — есть только одно средство самозащиты: это скромный и чистосердечный рассказ о том, как произошло ее грехопадение. Господин Хайльман, этот немецкий Золя, сделавший добродетель Юлиуса Бармата предметом своей пламенной защиты, повидимому, не успел продумать этот единственный план спасения своей партии. Мы позволим себе заполнить этот пробел, по возможности просто и точно восстановив историю болезни. Немецкая социал-демократия защищала отечество. Она убеждала миллионы немецких рабочих, которых империализм гонял по всем полям сражений всего мира, своими костями отметивших границы германского влияния в далеких песках Месопотамии, Китая и на Дунайских берегах — что они умирают не во имя интересов немецкого капитала, но за родину, за дело рабочего класса. Но могли ли Шейдеманы и Эберты, пожертвовавшие немецкому капитализму всем своим прошлым, своим пролетарским именем и пролетарской честью — могли ли они успокоиться, взвалив все бремя обороны на чужие плечи?

Разве не было их священным долгом поддержать империалистскую войну всеми средствами, находившимися в распоряжении партии? Признанные непригодными к военной службе, эти забракованные стали лучшими немецкими пропагандистами войны. Ллойд-Джордж сказал на-днях в одной из своих речей, что Германия была разбита, имея самых плохих политиков. В этом

сть большая доля истины. Но, если, несмотря на этих своих отвратительных олитиков, немецкая буржуазия оказалась в состоянии четыре года проержать в огне порабощенных ею и одураченных пролетариев — это всецело аслуга великолепной политической пропаганды социал-демократов, достававших капиталу такой кредит у немецкого народа, какого ему никто другой оставить не мог. Но империалистская Германия нуждалась в агитации не только у себя дома, но и за границей. То, что она сама пыталась делать в этом направлении через своих официозов — было так бездарно и бессмысленно, что только питало анти-немецкую пропаганду. Какую пользу могла принести империи жалкая газетка, издававшаяся в Риме Эрцбергером, стоившая огромных денег и никем не читаемая по причине явной продажности? На лбу у нее было напечатано «Made in Germany». Или писания известных своей тупостью, агентов немецкого посла Ромберга, ради оправдания германского нашествия на Бельгию обстрелявших печать нейтральной Швейцарии целыми пачками своих статей, где идея нейтралитета в войне осыпалась кровавыми насмешками. Но величайший недостаток немецкой пропаганды во время войны состоял даже не в том, что вели ее люди, совершенно не понимавшие духовного своеобразия стран, общественное мнение которых они должны были обработать, — но в том, что агитация их всегда оставалась импортированной, извне навязанной. Немецкая дипломатия не сумела в каждой отдельной стране опереться на местные силы, которые бы работали на нее у себя дома, изнутри. Вот тут-то и сказали себе патриоты немецкой социал-демократии: уж если господь бог для чего-то создал Второй Интернационал — то пусть он, по крайней мере, послужит на пользу немецкому отечеству. Правда, Интернационал этот разбит вдребезги — черепки могут на что-нибудь пригодиться». Так немецкая социал-демократия пришла к мысли об использовании иностранных социал-демократических партий «для блага немецкого дела». Кто не помнит Брауна, явившегося в Швейцарию с чемоданом, полным мудрых книг о том, как Германия не хотела войны, — или фигуру Альберта Зюдекума, посетившего Бухарест, чтобы устроить с румынским правительством кое-какие нефтяные дела и попутно доказать румынским социал-демократам, что под обликом германского льва скрывается невинный ягненок. Но немецкие социал-демократы недаром прошли школу марксизма. Они научились высоко ценить роль экономического фактора. Их исторический материализм оказался несколько первобытного свойства — его легко формулировать немногими словами: «не подмажешь — не поедешь». И таким образом германская социал-демократия приступила к растлению и подкупу братских партий в интересах германского империализма.

Вспомним знаменитую историю с датским углем. Германия поспешила ограничить вывоз угля, необходимого ей самой для продолжения войны. На этой почве в Дании возник острый угольный голод, которым Англия воспользовалась, чтобы поставками антрацита усилить свое политическое влияние. Немецкая демократия решила вмешаться. Парвус, только что перекочевавший из Константинополя в Копенгаген, только что превратившийся из революционера в военного спекулянта, заключает с датскими профсоюзами особое

соглашение, в силу которого Германия поставляет рабочим организациям уголь по более низкой цене. Профсоюзы наживают огромные деньги — датская социал-демократия, теснейшим образом связанная с ними, закрепляется за англофильской партией. Собственно говоря, немецкая верность старика... или папаши «Стаунинга» и без того не внушала никаких сомнений — но «прошитое дважды, носится лучше» — их чувства получили крепкий фундамент в виде нескольких миллионов крон, приобретенных датскими профсоюзами на угольных поставках. Перенеся, таким образом, защиту отечества на датскую почву, Парвус стремится проникнуть в самое сердце врага. Шведская социал-демократия была известна своими французскими симпатиями. Г. Брантинг любил два отечества с одинаковым пылом — и шведское, и галльское. Здесь не место углубляться в природу этих чувств — под которые проворный Парвус решил подкопаться. В 1917 г. он и с шведскими профсоюзами успевает заключить небольшое угольное соглашение. «Профсоюзы ближе к реальной действительности, чем политические партии» — это знали еще старые оппортунисты.

Золото в волшебном само-наполняющемся мешке никогда не теряло для них своего значения — и Парвус очень искусно подвел свою золотую мину под престол, на котором восседал пышноусый друг французов. Не знаю, насколько в дальнейшем успел этот делец, так как в октябре 1917 года я уехал в Петроград и не имел возможности до конца наблюдать за этими махинациями. Да это и не важно.

Стратегия учит: тот, кто окружает, подвергается опасности быть окруженным. В применении к данному случаю можно сказать: «Кто подкупает, рискует быть подкупленным». Можно быть о германской социал-демократии какого угодно мнения — но несомненно, что в начале войны ее вожди, при всем своем политическом разложении, еще не извлекали никаких материальных выгод из своего политического грехопадения. В 1914 году руководящая верхушка партии уступила империализму и по любви, и из страха. Но постепенно втянувшись в растление рабочих масс, как у себя дома, так и за границей, и она протянула руку за грешной наградой.

Первые случаи личного подкупа неизбежно вытекают из сделок, подобных знаменитому угольному делу датских профсоюзов — не говоря уже о том, что сам Парвус орудовал в качестве правоверного германского социал-патриота и спекулянта одновременно. Вожди немецкой социал-демократии участвовали в его барышах, хотя и не в такой грубой форме, как это позже вошло в практику между Барматом и государственным канцлером Бауэром. Не подлежит сомнению, что между Парвусом и Эбертом, Шейдеманом, Хэнишем — и как их всех зовут! — после дележа добычи не было заключено никакого определенного условия. Достаточно, однако, того, что Парвус стал благодетелем и меценатом немецкой социал-демократии, что половина партийных журналистов пошла работать в «Колокол» — орган, основанный на его спекулянтские доходы, с непомерными гонорарами которого не могла соперничать ни одна партийная газета. В скудные годы войны построчные эти становятся важным подспорьем в бюджете правящей верхушки германской социал-де-

мократии. Вот маленький образчик того, как высоко этот литературный промысел ценился крупными писателями партии. Конрад Хэниш — до войны порядочная растяпа, а впрочем честная шкура, после долгих усилий занял редакторское кресло «Колокола». Ноябрьская революция сделала его своим министром вероисповеданий — однако Хэниш благоразумно сохранял за собой пост редактора. Он справедливо полагал, что гонорары «Колокола», во-первых, крупнее, а, во-вторых, надежнее доходов прусского министра народного просвещения. Министры, увы, испаряются во время революции, как роса на солнце, только «Колокол» мог стать тем гранитом, той бронзовой скалой, на которой Хэниш полагал воздвигнуть здание своего благополучия. На-ряду с гонорарами «Колокола» и издательства Социальных Наук, которые стали одной из форм участия немецкой социал-демократии в спекулянтских барышах — Парвус изыскал новые способы, чтобы доставить вождям социал-демократов вещественные доказательства своего дружеского благоволения. Война заставила товарное хозяйство временно вернуться к формам хозяйства натурального. Так гласят все экономические трактаты о войне и о временах инфляции... Если кому-нибудь некогда перелистывать пыльные книги — пусть вспомнит, что в любой блокированной стране за 2 фунта сливочного масла можно было купить самую безукоризненную женскую добродетель — ибо масло в те дни являлось товаром редкостным, чем целомудрие. Парвус же доставлял не только превосходное масло, но и бесподобный сыр. Его компаньон Склярц, снабженный дипломатическим паспортом, каждую неделю целыми чемоданами возил через границу для своих друзей-социалистов эти скромные знаки любви и дружбы. Какие бы дела ни приводили в Копенгаген Шейдемана, Эберта, Брауна или Легина, они неизменно останавливались в загородной вилле Парвуса, где умели чествовать спасителей отечества. Маститые марксистские теоретики социал-патриотизма не раз облизывали пальчики после лакомств гостеприимного парвусовского дома. Генрих Кунов, этот человек энциклопедических познаний не только в области социологии и экономики, но и на поприще кулинарного искусства, Генрих Кунов, в былые времена выходивший с кошолкой на базар, чтобы на какой-нибудь сверхурочный гонорар собственноручно купить жирнейшего гуся — сам Генрих Кунов, как некогда Фауст, говаривал за столом Парвуса: «Мгновение, остановись, ты так прекрасно».

Со Склярцем вожди германской социал-демократии познакомились за этим же щедрым столом. Если дружба с Парвусом завязалась во времена, когда сам он все-таки был одним из острых мечей социал-демократии, то со Склярцем — ничего общего, кроме надежды бесплатно пожрать и выпить за счет никому не ведомого, спекулянта. Этого достаточно, чтобы сделать берлинский дом Склярца если не политическим салоном социал-демократии, то постоялым двором и штаб-квартирой ее вождей. В дни ноябрьской революции главари немецкой социал-демократии в любое время дня и ночи находили в этом доме хорошо накрытый стол, чтобы закалить и подкрепить перед боем свое тело, истощенное в борьбе за освобождение немецкого пролетариата. Под этой крышей приютился со своим штабом Носке в январские дни. Здесь Шейдеман приходил и уходил — как у себя дома. А кто был Склярц? Спеку-

лянт — это ни для кого не подлежало ни малейшим сомнениям. Но вожди немецкой социал-демократии знали о нем гораздо больше. Знали, что он путешествует взад и вперед с дипломатическим паспортом — иначе как бы мог этот проходимец возить для них через закрытые границы целые чемоданы изысканных лакомств? С другой стороны, они могли бы задать себе вопрос: с какой стати немецкое правительство снабдило простого еврея-спекулянта дипломатическим паспортом? Ответ ясен: потому, что он служил в разведывательном отделении министерства иностранных дел или числился за военным министерством. Попросту говоря, был шпионом. И этот явный шпион — доверенное лицо вождей германской социал-демократии.

Те, которые окружали, — окружены.

А как началось дело Бармата? Как они пришли друг к другу — он и социал-демократия?

Не по об'явлению же «Амстердамской торговой газеты» — «прошу даму, так выразительно посмотревшую на меня в трамвае, сообщить свой адрес». В среде голландской социал-демократии во время войны боролись два направления: дружественное Антанте и германофильское. Первое из них возглавлял вождь голландской партии — Флиген, вторым предводительствовал старый Трульстра. Борьба велась за прессу, за отношение к войне социал-демократ. газет. Социал-демократия Голландии старая массовая партия, с большим влиянием на свою буржуазию. Немецкая социал-демократия деятельно поддерживала авторитет Трульстра, который еще в первые недели войны, когда огонь не успел потухнуть в испепеленных развалинах бельгийских городов — паломничал в Берлин, чтобы там, на Вильгельмштрассе, выслушать от некоего статс-секретаря Цимерманна благую весть о доброжелательном отношении германского империализма к малым и слабым народностям. Господин Трульстра поспешил ее передать голландскому общественному мнению. Можно ли было оставить без поддержки такого преданного бойца? Значение Голландии заключалось не только в том, что она, как лазейка, пропускала на рынки блокированной Германии иностранные товары и сырье. Бюро II Интернационала переселилось в Амстердам из разгромленной Бельгии — вот в чем лежал центр тяжести для германской с.-д-ии. Сегодня мы знаем из предварительного следствия, что сам Камилл Гюисманс, секретарь II Интернационала, разбивал свою рабочую палатку в служебных помещениях бюро Бармат, что Бармат не только безвозмездно предоставил свою квартиру в распоряжение «революционеров», но и озаботился бесплатной доставкой мебели штабу II Интернационала. Славная минута: мы видим Бармата входящим в историю II Интернационала. Но что же, все-таки, побудило маленького польского еврея и бывшего торговца луковичными растениями делать такие подарки рабочему движению?

Она все еще звучит, песенка о честном человеке! Выросший в черте оседлости — он, конечно, проникся здоровой ненавистью к царизму и известными симпатиями к конституционной Германии... Вся польско-еврейская буржуазия разделяла эти настроения, справедливо считая немецкий язык несколько ухудшенным жаргоном, ненавидя польский антисемитизм и, наконец,

дрожа в вечном ожидании погрома,—вот три причины, в силу которых биржевые маклеры еврейского происхождения во время войны во всем мире оказались германофилами. Только благодаря Германии маленькая лавочка торговца тюльпанами, Бармата, выросла в мощное предприятие, доставлявшее целой стране необходимые пищевые продукты. Таким образом любовь Бармата к новому отечеству получила некоторое материалистическое обоснование. Бармат и его люди стали, так сказать, экспонатами германской идеи за границей. К этому же времени относится начало великой дружбы, связавшей главарей немецкой социал-демократии с Юлиусом Бармат и всеми маленькими барматами, которых родоначальник постепенно извлек из глухих местечек Польши, Литвы и Волыни. Следствие с несомненностью устанавливает, что первое рекомендательное письмо к немецким друзьям Бармат получил от Трульстра. Оно сделало его виллу вторым любимым убежищем Интернационала. Приезжая в Амтсердам, чтобы войти в контакт с социалистическими партиями Антанты или Голландии — апостолы немецкие социал-демократы после совершенной работы мирно стекались под сень барматовского дома. Пусть Хайльман, ныне работающий над созданием «Легенды о Бармате» — основательным историческим трудом, который со временем станет вровень со знаменитой Меринговой «Легендой о Лессинге», — пусть этот Хайльман, бия себя в грудь и со слезами на глазах, уверяет допрашивающего его прусского следователя— что сам Бармат был чудом добродетели и высоким примером воздержания: он не только всегда честно зарабатывал свои 300%, но скромный труженик, работая не покладая рук, за несколько лет войны из ничего сколотил себе многомиллионное состояние, но даже за обедом — подумайте — даже за обедом этот пролетарий не кушал ничего, кроме селедки и ломтика жесткой говядины. Но, как известно, мудрость великих людей в том и заключалась, что они не требуют от окружающих того духа самоотвержения, воздержанности и целомудрия, которым сами проникнуты. Мудрец строг к себе и снисходителен к друзьям. Еще Макиавелли учил: разумный законодатель должен исходить из предположения, что законы пишутся не для лучших, но для самых скверных людей, — праведник и сам знает, что дозволено и что нет. Толерантность Бармата показывает, что он знал человеческую породу не хуже великого флорентийца и, питаясь прирожденной дедовской селедкой, своих пролетариев кормил более нежными сортами рыбы. За хорошей «щукой по-еврейски» и за рюмочкой доброй водки и возникла дружба, превратившая лидеров германской социал-демократии в торговых агентов фирмы Бармат. Банкир не скупился: он давал деньги на борьбу с центральным органом голландской социал-демократии, пока во главе этого германофобского листка стоял антантовец Флитен, — охотно снабжал ими основанную в Роттердаме дружественную газетку. Господин Хайльман стал ее представителем в Германии — Визель или Шмидт, сейчас не припомню, позаботились о том, чтобы эта газета, несмотря на обще-германский кризис, не испытала ни малейшего бумажного голода. Скажите, где здесь кончается дружба, и где начинается спасение отечества? — мог бы спросить на суде этот Хайльман.

Дальнейшее известно всему миру. Президент республики взял на себя заботу о визах и паспортах Бармата. Председатель германской социал-демократии Вельс бегал, как мальчишка, чтобы министерство иностранных дел как-нибудь не задержало бумаг Бармата, чтобы ему, упаси боже, не пришлось прождать напрасно ни одного дня. Канцлер Бауэр, даже в отставке имевший свободный доступ к самым секретным отделениям министерств и самым высоким должностным лицам, информировал Бармата обо всех мероприятиях правительства, так или иначе могущих повлиять на курс марки и стоимость обращавшихся на бирже государственных бумаг. Если Бауэр и подвел Бармата своими информациями, то делалось это не из подлости, а скорее по неведению. Был же Бармат в те дни столпом, главным устоем, на котором покоилось дело хозяйственного возрождения Германии. Кто, кроме него, сумел бы закупить свиное сало для республики! Без Бармата не было сырья для германской текстильной промышленности, не было топлива, не было железа. Бармат здесь, Бармат там, Бармат везде, Бармат — Фигаро отечественной промышленности.

Сегодня он сидит в моабитской тюрьме. Лучший агитатор германской социал-демократии, Г. Хайльман, в поте лица своего доказывает, что немецкий народ — неблагодарный народ и что он нехорошо поступил со своим великим другом. Бравый берлинский металлист Рихтер, с такой немецкой добросовестностью, трудом и упорством выкарабкавшийся к власти и ставший, наконец, незаменимой полицейской собакой, должен был взять отпуск по болезни, ибо и он успел стащить себе кусок колбасы с роскошного праздника войны и инфляции — увы — позволил некоей хорошенькой актрисе натурой заплатить себе за заграничный паспорт.

Opfer fallen hier
Weder Lamm noch Stier
Aber Menschenopfer unerhört...

Забвение их всех поглотит. Чтобы смягчить недовольство масс, социал-демократия, конечно, выбросит из своего стада не одну паршивую овцу. И Хайльман, если только сам уцелеет, — напишет на их надгробном камне:

О чужестранец, поди и скажи в Моабите —
Все мы, как Бармат, легли, и зловонною грязью покрыты.

Но, как говорит старый честный Отто Йенсен в «Leipziger Volkszeitung», — разыгрывающий теперь непримиримого моралиста, — хотя сам годами знал и молчал о барматиаде:—«Существует теснейшая связь между этикой и политикой рабочего класса». Поэтому мы спрашиваем: каким образом докатилась немецкая с.-д. до Бармата? Ответ прост. Она шла к Гинденбургу — и попала к Бармату. Партия, поддерживающая капитализм, партия, поставившая целью своей жизни стабилизацию капитализма, — не может не сесть за один стол с этим капитализмом. На месте барматистов, выброшенных из ее рядов, — возникнут михаэлисты, как возникали прежде стиннесовцы или склярцианцы.

Йенсен радуется: нам не надо никакой политической чистки, как устраиот ее у себя коммунисты! Нам просто следует освободить партию от отльных личностей, политическая мораль которых, с точки зрения социалиократии, не выдерживает критики. Пусть себе большевики отрывают говы, обсуждая наилучшие способы борьбы с капиталом. Это сектантство, о им одним присущая схоластика, коммунистический догматизм и московий террор! Социал-демократия подобными вещами не интересуется. Дорога ясна: она восстанавливает капитализм. На этот счет в ее среде не сущевует разногласий. Политика партии стоит перед судом ее морали чиста и колебима — лишь бы дорогие вожди не брали в подарок от Бармата свиго сала. Все дело в том, чтобы представители рабоего класса, некогда так бескорыстно служившие ролетариату, теперь с таким же бескорыстием услуали буржуазии. Так ставит вопрос пролетарий и сын дрезденского ıбочего, Отто Йенсен, ученик Розы Люксембург — и ныне присяжный теоэтик барматовской социал-демократии. Неужели он никогда не перелистыıл старых номеров «Neue Zeit», не читал или забыл памфлеты старика еринга о развале буржуазного общества, его кровавые насмешки над мелкоуржуазными поборниками буржуазной морали? В «Berliner Volkszeitung», ывшей под его редакцией самой мужественной демократической газетой,— ранц Меринг опубликовал ряд блестящих статей против коррупции. Еще гоя на распутьи между буржуазной демократией и социализмом — написал н свой памфлет по поводу инцидента с Линдау. Шаг в сторону социализма том и состоял, что Меринг понял неотделимость капитализма от присущей му нравственной грязи, как неотделима вонь от кучи навоза и черви от паали. Предательство, с позволения сказать, левой, с позволения сказать, социалемократии в том, что она считает возможной борьбу с Барматом в пределах уществующей партии. Тот, кто говорит о моральном очищении без полного азрыва со всей политикой пособничества буржуазии, — тот обманщик, хотя ы и обманутый обманщик. Коррупция так же присуща всякой оппортунистиеской партии, как и всему капиталистическому строю.

Неизменно — еще задолго до 1914 г. — как только рабочая партия рислонялась к буржуазии, оппортунистическая ее часть облизывалась с самими капиталистами. Нужно ли вспоминать, как в старые довоенные времена французская партия годами не могла заставить своих оппортунистических вождей отказаться от сотрудничества в буржуазной прессе. Годами приходилось спорить из-за такого само собой понятного вопроса — и с каким успехом?

Мыши не переставали лакомиться. А какой водораздел может провести пролетарская партия между собой и буржуазией — одновременно поддерживая общество или правительство этой буржуазии?

Ни один довод, пожалуй, с такой наглядностью не обнаруживает связь коррупции и оппортунизма, как живой пример Макдональда. Личная порядочность этого человека не подлежит никакому сомнению — ни мы, ни английские товарищи никогда не утверждали, что Макдональд был подкуплен шотландским фабрикантом, от которого он принял в подарок прекрасную

даймлеровскую машину, что Макдональд позволил себя подкупить. Но как вообще между социал-демократом и фабрикантом могла существовать такая тесная дружба, которая позволила одному — сделать подобный подарок, другому — спокойно его принять, не почувствовав в этом ничего предосудительного? Дело в том, что Макдональд никогда не был классовым врагом своего шотландского фабриканта, поэтому ничто и не мешало им быть искренними друзьями. А большая дружба подкрепляется маленькими подношениями. Там, где Макдональд берет автомобили — почему бы Бауэру, в качестве скромного младшего писца некоего стряпчего, привыкшего хватать скромные подачки, — почему бы ему не потребовать более серьезного вознаграждения за свои труды? Венская рабочая газета в своем отчете о деле Бармата меланхолически вспоминает строгость нравов старой с.-д., умевшей высоким барьером отгородить себя от буржуазного общества, о беспощадности, с которой старик Бебель отражал все попытки проникновения в партию коррумпирующих буржуазных влияний. Только строгость партийных нравов не позволяла спотыкаться более слабым характерам. По этому поводу старый морской лев, Отто Аустерлиц, по обыкновению отпускает весьма идиотскую шутку. Да ведь если Бебель на дрезденском с'езде партии с таким блеском, вместе со стулом, выкинул за дверь Бернхарда, сотрудничавшего в буржуазной «Zukunft» и «Berliner Morgenpost», то только благодаря тому, что на этом же партейтаге с полным спокойствием мог заявить рабочим: «Я был и до гроба останусь смертельным врагом буржуазного строя». Когда же теперь какая-нибудь «Wiener Arbeiterzeitung» или «Leipziger Volkszeitung» начинают декламировать: «Да, мы были и останемся врагами буржуазии» — им нечего ответить, разве только: «Офелия, иди в монастырь или ступай бриться». Левая германская и австрийская соц.-дем., ныне представшие изумленному миру в качестве неподкупных врагов капитала — слишком напоминают картину старого сатирикона: красавица, сорокалетний ветеран любви, отяжелевшая на Фридрихштрассе, скорее препятствие для уличного движения, чем об'ект любви — стыдливо шепчет на ухо размякшему провинциальному дяде: «Милый, узнай, что я люблю впервые». Верные слуги капитализма во время войны, его спасители от пролетарской революции, растлители рабочего движения, ломавшие революционные волны, где бы они их ни находили — и они называют себя смертельными врагами буржуазии! Конечно, только по своей молодости и неопытности юная германская демократия не успела вовремя захватить эту маленькую, по существу невинную, коррупционную болезнь, нажитую благодаря сношениям с капитализмом, запустила ее, — и стоит теперь перед миром с отвалившимся носом. Но вы, старые и опытные господа из других соц.-дем. партий, с вашими привычками опрятности — уменье употреблять ртуть, лизол и сальверсан еще не дает вам права свысока смотреть на бедную германскую социал-демократию. Ваша политика — ее политика. Вы одинаково продажны.

Разложение Второго Интернационала вовсе не сводится к подкупу отдельного с.-д. вождя отдельным капиталистом. Оно состоит в том, что социал-демократия в целом поддерживает капиталистический строй. Все дело

Бармата интересно только тем, что оно на грубом и ярком примере личной продажности вскрывает перед германскими рабочими несомненную связь II Интернационала и буржуазии. Мы, коммунисты, не ставим вопроса так: может или не может вождь пролетарской партии брать деньги у буржуазного спекулянта. За такие вещи просто выбрасывают в клозет. Рабочий класс спрашивает иначе: могут ли пролетарские партии поддерживать капитализм? За этот грех против рабочего класса, за эти преступления только пролетарская революция может судить в день своей победы. Но есть прегрешения, за которые пролетарская революция сама будет судить в день своей победы. Никакая комиссия прусского ландтага, никакой партийный суд не вытащат немецкой социал-демократии из болота, в которое она ушла по самые уши.

Рабочие, которых уже тошнит от морального запаха своих вождей, могут очиститься, только порвав со всей политикой своей партии. Только покончив с этой политикой, они избавятся от трупного запаха, преследующего их день и ночь Очищая себя от грязи, которой их забросала старая социал-демократия, немецкие рабочие одновременно расчистят дорогу революции, идущей судить эту партию, ногами втоптавшую в грязь и мерзость честь германского пролетариата.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Очерки.

М. Пришвин.

Волчки.

Я узнал в Талдомском краю, что из массы кустарей там и тут выбивается мастер, который делает мастерство своим призванием: он берет не количеством, а качеством. Погонный мастер и сейчас, без кулака над собой, будучи самостоятельным хозяином, делает в среднем в неделю пар двадцать, а есть мастера-художники, способные изготовить в неделю только две пары и даже одну. Эти мастера в быв. Петербурге назывались немецкими, а в Москве «волчками».

Происхождение названия немецкие мастера понятно: ремесленно техническая культура пришла к нам из Европы, наши мастера выучились у австрийцев, венцев. Но, об'ясняли мне сами мастера, в наше время ученики перегнали учителей. На вопрос мой, почему, как это случилось, мне ответили:

— Ученик всегда перегоняет учителя: выучится, все возьмет от старого и свое прибавит, получается сложение, понимаете?

Волчок, так мне рассказали в Талдоме, человек самолюбивый и шьет часто в ущерб своему хозяйству: крыша развалилась—нет ему дела до крыши! штаны износились спереди — ничего, закроется фартуком, просиделись сзади, опять ничего — надевает другой фартук сзади. Погонные мастера часто смеются над волчками: работает на красавицу, а сам ходит в двух фартуках.

И бывают из них путешественники, даже и за границу: волчок — человек легкий, поднялся и пошел. А за границей давно уже научились использовать страсть к бродяжничеству, присущую волчкам всех народов: в крупных центрах есть такие мастерские для бродячих мастеров, там волчок сделает пару башмаков и дальше пошел.

Среди таких подвижных мастеров всегда было много революционеров, многие из них участвовали в подпольных организациях и все были организованы профессионально.

Многое узнал я о волчках в Талдоме из рассказов, но одно мне было неясно, почему их называют волчками. Узнав, наконец, что лучшие волчки живут в Марьиной Роще, собрав их адреса, набрав им из деревень короб поклонов от родных, я отправился в эти Афины башмачного дела.

Марьина Роща.

В записках моих есть рассказ одного еще не совсем старого мастера о том, как он походом нес корзину башмаков в Москву, как ехал на душегубке через Поймо, как тащил лодку волоком и вообще путешествовал для сбыта обуви, совершенно как Андрей Боголюбский.

Я же сел в вагон и через четыре часа был возле памятника Пушкина. Не успел я обрадоваться цивилизации, как трамвай (минут через десять от памятника) доставил меня опять в глушь на улицу из небольших желтых домиков, от вида которых сжимается сердце каким-то особенным тараканьим страданием.

— Гражданин, — остановил я прохожего мрачного вида, — скажите мне, кто живет в этих жалких домиках?

— Фальшивомонетчики, — ответил мне гражданин и больше не стал со мной разговаривать.

Дождавшись другого, более веселого спутника, я узнал от него, что в домиках живут почти исключительно ремесленники всевозможного рода, много зеркальщиков и, между прочим, действительно, есть фальшивомонетчики. Этот спутник указал мне Веткину улицу, 3, и тут я нашел волчка Савелия Павловича Цыганова, который и посвятил меня в свое волчковое дело и раскрыл все, мне до сих пор непонятное.

Оказалось, вовсе неверно, что всякий волчок ходит в двух фартуках, и относится это только к тем, кто зашибает вином. Такой мастер садится за работу, обыкновенно, только в четверг, в субботу он выпускает пару, получает у хозяина на баню и пару белья. В понедельник мастер начинает линять, т.-е. спускает с себя все, что только можно продать, все пропивает и к четвергу, действительно, остается только в двух фартуках, и то хозяйских. Бывает, такой мастер-запивоха назлобит хозяина и тот его выгонит. Вот тогда некуда деваться, и отличный мастер бывает принужден работать в мастерской из Талдомских и Кимрских обувников, называемых в общем кимрским стадом. Само собой, такой искусник с презрением смотрит на грубую работу кимряков, и у них ему все не по вкусу, стеж дал — не годится! дунешь, и то не так: он и дунет по-своему. Держится такой мастер отдельно, сидит себе где-нибудь в сторонке от всех и ворчит: вот за это и прозвали кимряки таких ворчунов урчуны, или волчки.

Кимряки имели дело только с пьяницами-волчками и потому, наверно, изображают их так, будто все они живут без крова и ходят в двух фартуках. Верно из их рассказов одно, — что волчок работает совсем не так, как мастер погонный: волчок, бывает, прошьет только одну строчку и в трактир, выпьет бутылку пива, одумается, вернется к верстаку и небывалым способом пройдется по рантовой пятке, желтой стежой кругом под растычку — залюбуешься!

Музейный башмак.

Слышал я в Марьиной Роще рассказ про чудесную француженку, не знаю, правда ли это, или только легенда о работе русских волчков. Приехала, будто, из Парижа одна француженка в Марьину Рощу, и сделали ей тут две пары башмаков. Одну пару она тут же окунула в грязь и, будто бы, как ношеную, завернула в газету, другую надела, а свою парижскую бросила. Приезжает, будто бы, эта француженка к себе, в Париж, отчищает загрязненную пару, продает и окупает этим все расходы и на другую пару, и на поездку в Москву в Марьину Рощу к волчку Савелию Павловичу Цыганову, известному под кличкой Цыганок.

— Савелий Павлович, — говорю я, — давайте, с вами сделаем музейный башмак с социальным уклоном.

Цыганок в 1905 году был сильно избит мужиками за пропаганду революции в деревне, и все социальное ему не чуждо. Он не очень удивился моему предложению и только спросил:

— Как же это мы сделаем?

— Очень просто, — говорю, — во-первых, нужно, чтобы этот башмак был такой, каких на свете нигде не было, мы поставим его в музей, чтобы американцы, англичане, французы, венцы приходили и говорили: «у нас этого нет».

— Можно, — сказал Цыганок, — сейчас подумаем.

И послал мальчика за другими волчками Марьиной Рощи. Когда волчки собрались, и выслушали меня, то кто-то задал вопрос:

— На какую даму будем мы работать такой башмак?

Я ответил:

— На неизвестную.

Я хотел сказать: просто на женщину вообще, а вышло вроде, как у Блока, на незнакомку.

Волчки зашумели.

— Невозможно сделать башмак на неизвестную, дама должна быть с определенной ногой.

Я уступил:

— Пусть это будет рабочая женщина, например, какая-нибудь красивейшая заготовщица, — есть у вас такая?

— Есть, только все-таки надо нам знать, — сказал самый лучший мастер по коже, Николай Евдокимович Рожков, — в каком виде будет заготовщица, в рабочем, или в гулящем?

Вопрос этот всех ошеломил, все крепко задумались, то и дело повторяя:

— Никак не придумаешь, рабочая, или гулящая.

На своем полном румяном лице удалой Цыганок отер пот и, наконец, сказал:

— Товарищи, да ведь баба одна.

Все поняли усилие Цыганка обобщить распадающуюся в жизни женщину в одно существо, в женщину будущего, но ведь шить сейчас нужно, и как

об этом подумаешь, так неизменно она распадается, как незнакомка у Блока, на рабочую и гулящую.

Рожков говорил:

— Ежели она в гулящем виде, то башмак надо расшить на одном ранте тремя пряжками.

— Не хотим, — вскричал Савелий, — наша дама должна быть скромная, не хотим расшивать.

Я все время молчал, с интересом дожидаясь, чем кончится вся эта затея. После долгих споров волчки постановили: взять женщину между рабочей и гулящей, башмак с виду должен быть скромный, из темно-желтого хрома под цвет наших дорог, но все-таки сработан башмак должен быть так красиво, прочно, чтобы действительно его можно было поставить в мировой музей.

После этого начались длинные прения, кому делать музейный башмак. Спор был всех против Рожкова, все говорили, что башмак может сделать только Рожков, но он, страшно застенчивый, не брался.

— Уговорим, — шепнул мне Савелий.

И я вышел искать в Москве материал для небывалого башмака.

Под башмаком.

Кошмарную эту повесть, кажется, невозможно передать коротко, единственно разве написать в форме сценария для кино. Мне было ясно, что сработать на тему, создать свою форму сознательно, волчки не могут и в этом я должен им помочь. Но для этого мне надо было во всем разобраться, достать превосходного материала, распытать все о колодках, моделях, о технике, а известно, какая глубина открывается, когда погружаешься в бездну технических приемов, созданных, конечно, многими столетиями и не в одной только России.

И самое отвратительное, что в глазах не лица, а ноги. Хорошо иным мечтать об избранной ноге, но масса ног, мелькающих на бульварах, на Тверской, на Кузнецком, давит, сплющивает.

Гетры, полугетры, полуботики, туфли лодочкой, туфли с одним ремешком, с двумя ремешками, лодочка с фонариком, ботинок с каблучком, с пяточкой, с маленьким носком, с накладным верхом, польский ботинок выше полуботинка и пониже гетр, румынка с отрезами и цельная...

И все это мелькает, часто в загрязненном виде, на кривых каблуках, на безобразной ноге. А способностей нет таких, чтобы заниматься всем этим в меру, журналист — не приват-доцент, все хочется как бы поскорее разделаться с наседающей темой и взяться за другое, выбиться на волю из-под столичного башмака.

Журналист-исследователь должен быть как бы помешанным, но, в то же время, не терять способности использовать свое помешательство для скорейшего проникновения в жизнь.

Я доходил до того, что не мог пропустить мимо себя ни одну женщину, не посмотрев ей на ноги. Раз я так увидел пожилую даму и с ней очень изящную девушку в простеньком пальто; заглянув вниз, я увидел у пожилой и молоденькой старинные бабушкины башмаки, вмиг мне повеяло от этих симпатичных дам таким уютом, так хорошо отдохнулось.

Однажды в Столешниковом переулке мне мелькнуло на витрине что-то очень красивое, я остановился и сразу узнал волчковую работу Марьиной Рощи. Вхожу к хозяину магазина распытать, как создается фасон. Тот с презрением отзывается о волчках, как о творцах фасона: они делают, как им велят. Но кто же велит? дама с Кузнецкого моста?

— Дама с Кузнецкого моста, — отвечает хозяин, — просто овца — прежде всего велит Венский журнал, моя жена дам уговаривает, я слегка подтачиваю колодки, согласно желанию, и так получается мода.

— Мода предполагает даму-овцу?

— Овцу, потом моя жена с Венским журналом, я, а ваши волчки — просто наши исполнители.

Сильно это меня задело, потому что все издатели точно так же думают о нас, журналистах, и разве только какой-нибудь из нас особенно прославится своим талантом и начнет в отместку глушить их гонорарами и невозможными капризами. Было время, мне раз самому удалось заставить одного привезти мне на дом сигар мексиканского листа.

В эту минуту мне пришла мысль, нельзя ли приспособить волчков для самостоятельного творчества в условиях фабричного труда, и с этой целью я еду в Кожевники на крупнейшую в Москве фабрику Парижская Коммуна.

Несознательная Таня.

Заводоуправляющий фабрикой Парижской Коммуны не сразу освободился для разговора со мной, и мне пришлось подождать в конторе, на диване под стенной газетой. Накануне был праздник женщины и, потому, вся газета была посвящена именно той женщине будущего, для которой мы с волчками задумали сделать небывалый башмак. Статьи были написаны очень грамотно, и от них веяло целомудрием и холодком первого снега. Особенно растрогала меня этой своей снежной наивностью заметка, посвященная одной легкомысленной фабричной девушке Тане. Тут же была нарисована и сама девушка-франтиха в юбке, потому уже красивой, что на ней сходились все оттенки цветных карандашей, и также очень красива была шляпка на девушке бабочкой, и особенно башмаки. Рассмотрев рисунок раньше текста, я подумал-было, что это наивная попытка изобразить красоту женщины будущего, и вдруг с изумлением прочитал текст под картинкой:

НЕСОЗНАТЕЛЬНАЯ ТАНЯ,

которую нам нужно просветить.

Суровый заводоуправляющий, в высшей степени деловой человек, прямой, как полоса стали, нетерпеливо выслушав мой рассказ о волчках, заявил

мне, что волчки работают на буржуазию, а фабрика стремится создать массовый механический башмак для рабочей женщины. Искусство выпадало из этой формулы, а с ним и я со своими волчками. Но так не должно было быть, без красоты люди жить не могут...

— После поговорим, — сказал заводоуправляющий и передал меня в распоряжение технорука.

Я целый день бродил по фабрике, которая представляла собой душу мастера башмачника, вывернутую во вне, разделенную на сто пятьдесят операций, зафиксированных в железе и стали. Тут не было места песне кустаря, пели машины и многие лица выражали напряженную волю. Совершенно изумила меня затяжная машина, похожая на механического человека с руками и пальцами. Возле нее стоял рабочий гигант, ожидавший моих расспросов с радостным волнением. Я сразу заметил в его настроении ту профессиональную гордость и задор, какую видел и у волчков Марьиной Рощи. Он рассказал мне о своей любимой машине, как о жене: он переживает уже третью. Первая, — на которой он выучился работать, была, как его первая любовь, вторая — хорошая верная жена, третья, расхлябанная, работает только на пятьдесят процентов.

Мало-по-малу сознание и воля стального механика меня стали увлекать в свою сторону, как вдруг, переходя из комнаты в комнату, с величайшим изумлением, я увидел волчков, работавших ручным способом изящную обувь. Оказалось, что эту обувь на французском каблуке, полурумынку, невозможно сделать механически, а так как у Парижской Коммуны есть свои магазины, где покупатели требуют изящную обувь, то пришлось обратиться к волчкам.

Смущенный заводоуправляющий мне сказал:

— Понимаете, это не принципиально, это временно допущено в силу необходимости, эти мастера — наши блудные дети.

В модельном отделении, однако, со мной разговаривали не так прямолинейно и вполне разделяли идею сотрудничества волчка с машиной, восполнение мастером тончайших операций, недоступных машине, коллективную выработку народной формы.

Один из рабочих даже очень горячо принял это к сердцу, как, может быть, вернейший путь просвещения н е с о з н а т е л ь н о й Т а н и.

* * *

По разным причинам на этом весеннем путешествии в Москву окончилось мое исследование башмачного дела, и я не довел его до того момента, когда исследование переходит в дело изменения самой жизни. Осенью мне встретился на железной дороге Цыганок. Он жаловался на плохие дела, что предприниматели прекращают дела, а кооперация слишком медленно восполняет пробел. Особенно же плохо, что дети не учатся их мастерству и волчковое дело, верно, уйдет вместе со старыми мастерами в могилу.

Однако довольно было нескольких моих слов о будущем, что волчковая работа сольется с массовым производством фабрик, что машины будут размножать волчковую строчку и рабочий будет участвовать в творчестве...

— Сознаю, — сказал Цыганок.

И перешел к радостным воспоминаниям о нашем заседании в Марьиной Роще. Оказалось, что мы плохо подумали о костюме прекраснейшей заготовщицы, без фасона платья невозможно создать и фасон башмака женщины будущего, и в Марьиной Роще уже придумали, из какого материала надо сделать такое платье.

— Из какого же? — спросил я.

— Из серебряного шевро, — сказал Цыганок.

— Ну, вот видите, а вы унываете. Вы художники.

— Сознаю.

— И революционеры?

— Без всяких.

Кустарное „счастье".

Так смотришь на производство и переносишься воображением в ремесленные века Европы. Занятый своим журнальным исследованием, я не очень боюсь потеряться в этом прошлом человечества и отстать от времени, потому что никуда не уйдешь от электрической лампочки. Ремесло в обстановке новой экономической политики, при госторге и кооперации, нечто совершенно другое, чем в рыцарские времена. «*Та*», для которой тысячами мастеров этого края делаются башмачки, иногда с изумительным изяществом, — совсем не похожа на несравненную прекрасную даму Дульцинею Тобосскую.

Каждую ночь огонек рабочей лампы моего соседа через окно тускло освещает и мою деревенскую хижину. Он работает башмаки пару за парой, иногда по три дня под-ряд, засыпая на короткое время тут же у верстака, подложив под голову свой пиджак. Наработав полную корзину, он несет башмаки куда-то сдавать. Глаза его, как снятое молоко. Ветер как будто его пошатывает, или походка такая неровная, оттого что грудь колесом? Только нос браво торчит, но ведь и у покойника нос торчит. Душа этого мастера, как корзина с башмаками, плотно занята мечтой выстроить себе новый дом. Бревна уже положены перед его заваленкой, и над ними предохраняющий от дождя навес. Если и успеет мастер выстроить дом, в нем ему недолго жить.

Не все такие. Конечно, многие из кустарей были удачливые, достигали высшего положения хозяев мастерских в столицах. Другие делались торговцами кожей и обувью. Но всех их, богатых и бедных, удачливых и несчастных, роднит общая всем кустарям мечта выстроить себе в деревне прекрасный дом. Строили из столиц за глаза, и некоторые, если бы не революция, так никогда бы и не повидали выстроенного им в деревне прекрасного дома.

Так создавалась на Руси деревня промышленного типа, совсем непохожая на соломенную земледельческую. Тот крестьянин, побывав в такой деревне, повидав двухэтажные дома, иногда с ореховой дверью и электрическим звонком, и с лозинками, подстриженными под кипарисы, сказал бы, что тут господа живут, а не крестьяне.

Но все эти дома были похожи на призраки. Было время, когда они стояли почти совершенно пустые, разве какая-нибудь больная богомолка или старая дева спасается одна во всем доме. Революция всех хозяев выгнала из столицы, мастерские рассыпались, и хозяева и рабочие стали все кустарями-одиночками и земледельцами.

Шмель.

Мой сосед справа — мастер очень порядочный. На него можно надеяться, и потому у него верный сбыт обуви с рук на руки человеку новой экономической политики, обеспечивающему кустарю материал. У других, неровно и с перебоем, совершается сбыт в еще неокрепшие промысловые кооперативы, но огромная масса кустарей по четвергам и по воскресеньям несет свою обувь на талдомский базар. И если в минуту бездумья летом, где-нибудь на лавочке Тверского бульвара, вы заметите совбарышню, в изящных башмачках, но с покривленными французскими каблуками, то это значит,— совбарышня купила эти башмаки на Сухаревке у торговца, который ездит по базарным дням закупать свой товар в Талдом. Не кустарь виноват в этих кривых башмаках и расползающихся при первом дожде бумажных подошвах: Сухаревка ставит ему спрос именно на такие изящные башмаки, и очень дешевые. В этом отношении среди башмачников есть удивительные мастера. Первый такой «художник» — мой сосед с левой стороны, прозванный Шмелем. У этого мастера даже и дома своего нет. Он живет на квартире в такой завалюшке, что в дождливый день забирается вместе со своей женой в печку, куда дождик не проникает. И в печке, и на воле он вечно жужжит на жену-заготовщицу, за что и прозван Шмелем. Под базарные дни Шмель с женой всю ночь работает башмаки, и все больше клеем. Ругаясь друг с другом, Шмели выходят из дома на базар. Он впереди, а она довольно далеко позади. Возвращаются супруги сильно выпивши, вместе и весело распевают свои башмачные песенки.

Раз я по неопытности дал Шмелю рубль до четверга. Не отдал. И в воскресенье, и в другой четверг. Да так и пошло. Он очень боится встретиться со мной. У него постоянный страх, когда я прохожу мимо его окна; ему надо быть настороже, чтобы не встретиться со мной глазами. И что ему рубль! Он в один базар их пропивает не меньше пяти, а этот рубль какой-то заколдованный. Так вот и живет в деревне Шмель и считается всеми «художником», всегда напоминая мне собой одного приятеля из литературной богемы.

Голубые гетры.

В наше время, когда все складывается по-новому, не угнаться за жизнью исследователю. Весной я записал картину базара, куда Шмель носит продавать свою обувь. Тогда было много купцов, а осенью уравнительный налог их сильно подорвал на местах. К новой весне они, быть может, не явятся на базар, и картина будет совершенно другая. Весной, к началу сезона,

в 1924 году базар был очень оживленный. Люди стоят в два ряда аллеей с отчищенными, сверкающими на солнце башмаками в руках, — только-только пройти. Идет заезжий гость из Астрахани в шапке с бобровым верхом, во всем новеньком, и все к нему протягивают костлявые руки, как сучья, с висящими на них башмаками. И какие лица у них при этом! Будто идет не коммивояжер из Астрахани, а «се жених грядет в полунощи». Одна бледная женщина протянула было свою пару, а он и не посмотрел. Другая тоже хотела протянуть, да испугалась и отдернула руку: верно, увидала его ястребиные глаза и догадалась, что такой непременно разглядит под кожей бумагу. Он же сам увидел свое и вдруг кинулся туда, быстро поставил карандашем свой знак на подошве и велел принести на квартиру. За «женихом» астраханским идут «женихи» мариупольские, потом крымские, кавказские, даже сибирские...

— Концов нет, — послышался из их среды голос, определяющий все качество базарного товара.

Я зашел в одну знакомую комиссионную лавку узнать, что значит эта коротенькая фраза «концов нет».

Это значит, оказалось, что есть на базаре порядочная середина, а на одном конце нет очень изящного, на другом нет простого прочного б а б у ш к и н а башмака, какие носят пожилые и рабочие женщины. «Хорошие концы» — об'яснили мне, — были в прежнее время, когда не базар судил о качестве башмака, а заказчик-купец. Тогда специализация была строгая. И тот, кто делал г в о з д е в у ю обувь, не рискнул бы заняться р а н т о в о й или же легкой в ы в о р о т н о й. Изготовляющий детские г у с а р и к и не взялся бы за бабушкины. Теперь же им все равно, что ни делать, только бы брали. И замечательный выворотник стал гвоздевиком, гвоздевик — рантовщиком. Не в своей специальности можно сделать только средину. Вот почему говорят «концов нет».

Получив эти сведения, я иду опять на базар. Подхожу к тому «жениху» в бобрах и говорю сокрушенно:

— Концов нет!

— Да, — ответил он очень приветливо, — весь базар вынес товар на с о в б а р ы ш н ю.

Слова «жениха» меня поразили. Наверно, для экономистов не нова мысль, что женщина в огромной степени дает тон художественной промышленности. Казалось, невозможным с гибелью трубадуров, сеньоров «прекрасной дамы», сделать для всех интересным этот р у с с к и й ремесленный быт, и вдруг найдена Дульцинея — совбарышня, на которую работает кустарь.

У меня не хватало технических знаний для продолжения разговора с «женихом», пришлось сознаться в своей профессии журналиста и тут же выразить свое изумление перед мыслью разделить всю промышленность на два отдела: для н е е и для н е г о.

— Например, — сказал я, — соседний Кимрский район сапожников, какая там бедность типа обуви, какой неуклюжий человек сапожник: с рыжей окладистой бородой, в староверском кафтане, нелюдимый. И совершенная ему

противоположность наш башмачник: легкий, подвижной художник, настоящий француз.

— Двести цветов нежнейшего шевро, — ответил «жених» — существует только для н е е, а вы сами понимаете, какое однообразие в нашем черном или рыжем сапоге. Потому же ведь и называется: прекрасный пол. Намедни в Москве, на Кузнецком, я купил такую диковину — дамские голубые гетры.

— Голубые!

— Не то удивительно, — улыбнулся «жених», — что голубые. Я сказал — шевро существует на двести цветов. А что эти гетры были выворотные и чисто бальной легкости... Да, но я уважаю и рабочий башмак, и бабушкин, а это что... На кого эта работа? Вы видите сами, чистенькая, можно в этой обуви блеснуть три дня, а потом все пойдет вкось. Рыхлый, легкий башмак, ни на высшую даму, ни на жену, ни на бабушку, ни на работницу. Вся эта работа на совбарышню.

— Середина?

— Ну да, а «концов» нет и быть не может. Мастера развратились.

Анатомия женской ноги.

После базара я зашел в пивную Моссельпрома «Лира» поработать в живой беседе над своими базарными впечатлениями. Тут за одним столом сидела буржуазная компания во главе с «женихом», и недалеко заседал со своей женой и своими приверженцами сосед мой, башмачник Шмель. Я пристроился сначала к столику буржуазному. Тут из разговоров, в короткие минуты, можно было понять, в каком конце громадной страны тихо или бойко протекала экономическая жизнь. Я узнал, что очень оживленно теперь в Средней Азии, много забирают товара в Ташкент и Самарканд. В Саратове мертво. Ничего не идет в Вологду. Сибирь всегда хорошо берет, на юг идет только легкая обувь.

И еще я узнал, что вояжеры и приказчики тоже художники, и во всяком случае больше художники, чем мастера-башмачники.

— Мастера, — сказал «жених», — должны уметь подходить к товару, а вояжер и приказчик должен уметь подходить к человеку. Это много труднее.

Вояжер, по его словам, начинает с самых низших служащих хозяина и от них все выведывает. Потом берется за средних. С теми шуры-муры, с этими сам играет в ресторане, «намазывает» и пускает все в ход. Человек этот должен быть легкого нрава и на все способный. А как трезвенник поедет, богобоязненный, экономист...

— Экономист?

— Ну, да, интеллигент с идеей, с политикой и прочее. Бывают и такие. Ну, это самый противный, на него и не смотрят. А приказчик должен быть человек занозистый и весь — как уксусная эссенция, не лизнешь языком. Он сразу видит. Ежели покупательница в магазин зря пришла, он с такой и разговаривать не станет. Если же дело видит, сейчас же попросит ее показать

ногу. Память у него должна быть не липовая. — Как взглянул на ногу, сразу должен понять, откуда башмак, кто делал, какая мастерская. Если же заколебался, попросит снять, — когда снимает, ногу похвалит, а она сама не своя. Видит, что такого башмака нет в магазине, скажет, башмак ей не «к лицу» или не подходит к фасону платья. Он каждую уговорит и уверен в себе; если захочет, все может продать. Даже если на номер тесен бывает, он так наденет, такое наговорит, что ей хорошо покажется. А придет домой, и никуда не годится. Нет, куда тут кустарю! Тот только к коже умеет подходить, а настоящий художник должен уметь подходить к человеку.

После этих слов «жениха» Шмель не выдержал унижения художника и на всю пивную об'явил:

— Не художники вы, а барахло.

За буржуазным столом не обиделись и засмеялись. Тогда Шмель начал свое представление.

Прежде всего он вызвал на состязание всех художников от буржуазии: если они такие знатоки, то пусть отгадают:

— Сошью башмаки, — сказал Шмель, — по такому способу: подбивать не стану и подшивать не стану, стежки не дам и гвоздя не вобью, а носиться будут три недели и не развалятся — как это можно?

Никто не мог догадаться, и торжествующий Шмель заявил:

— Это может понять только тот, кто изучил анатомию женской ноги при императорском дворе.

Он же, Шмель, постиг анатомию в совершенстве: нога бывает полная и тощая, прямая и косая, крупная и мелкая, мозолистая и совсем никуда не годная, чухмак. Но и это не анатомия.

— Она ведь мерку-то снять с себя не дает.

— Кто это она? — спросили мы.

— Известно, фрейлина, — сказал Шмель. — А бывало, и царская дочь.

Мы спросили:

— Как же без мерки?

— Посредством анатомии, — сказал Шмель.

И, выскочив из-за стола, представил, как она входит, останавливается, выдвигает из-под юбки свою маленькую ножку... Быстро схватив стакан с пивом, Шмель поставил его на пол для обозначения места, где стала недоступная для обмера нога, и рядом поставил свою медвежью ногу и при том в валенке.

— Понимаете?

— Об'ясни.

— Об'ясняю — коснуться не имею права...

— И что же дальше?

— Ставлю рядом свою ногу, мысленно перевожу на сантиметры и записываю.

— Как же можно мысленно?

— Посредством анатомии, мысленно касаюсь...

Я сказал:

— Это скорее скульптура.

— Вот именно, сплошное художество, а нынешние тоже говорят: художники. Ну, какая нынче нога!

— Художники — я понимаю, не такие, — сказал я. — Но неужели нога стала не такая после революции?

— Вот именно: после революции женская нога расползлась.

Я подумал: «он хочет сказать, что после революции исчезли фрейлины, а нога трудящихся женщин крупнее».

— Лет двадцать до войны, — сказал Шмель, — нога заметно стала мельчать и перед революцией была вроде как бы китайская специальная женская нога. И вдруг все оборвалось.

— Исчезла фрейлина?

— Куда она исчезла! Тут она, а нога исчезла. Возьмите с себя пример: ходите зимой в валенках, и как потом трудно весной надеть сапоги. Почему? Потому, что зимой нога расползлась. А в чем ходили женщины во время революции? Значит, и у самой фрейлины за революцию нога расползлась.

— Будет врать, — перебил Шмеля какой-то неизвестный мне другой «художник» из башмарей, — никакой анатомии нету: все это кончилось, и нога твоя — буржуазная дрянь! Бывает только след на снегу или на песке.

О чем шепчет деревня.

Р. Акульшин.

О волках, о керосине и об едином налоге.

Рада деревня московскому гостю... — Вот, вишь, как скоро за разговором время прошло... Сгрудились в угол девки, шепчутся: «Вот бы вечёрки устроить... уж больно светло».

— Что ж! А разве вы ламп не зажигаете?

— Мы-то? Зажигаем мышиный глазок.

— Почему же? Ведь керосин дешевый.

— Керосин-то дешевый, да деньги дороже.

Керосин в сельском кооперативе стоит 5 копеек, а все-таки покупать трудно, и кстати, в виде отступления —

Напомаженная деревня, в которой и комсомол хорошо работает, и поп не имеет значения, и сельское хозяйство поставлено превосходно, и неграмотность ликвидирована, — такая деревня редкое пятнышко, больше созданное перьями не в меру услужливых «официальных» и «специальных» корреспондентов. Мое родное село повернулось ко мне темным своим ликом, и мне не хочется его скрывать. Оно такое есть. Белить его и румянить — дело пустое и вредное.

А все-таки первый день прошел так же незаметно. как и первая ночь. Хотелось спать, но то-и-дело приходили знакомые и незнакомые поговорить о Москве. Приходилось говорить до хрипоты о городской нашей толчее, о работе советских органов, о с'ездах, о партии, приходилось говорить о смычке. Мужики слушали молча, дымили махоркой и —

— «говорили «единый» облегчит наше положение, а все равно один чорт — еще хуже» —

такой мужики неожиданный подвели итог. Когда стемнело, вышел на улицу — 6 часов вечера, еще рано, а за воротами непроглядная темень. редкие огоньки в окнах, по пальцам перечесть можно.

— Почему так мало огней? — спрашиваю у парней и девок.

— Без огня поужинают и спать. Все бока пролежишь, а делать нечего.

Это опять вопрос о керосине и о значении 5 копеек в крестьянском бюджете.

У дворов сугробы. Деревня занесена снегом до краев. Белой мякотью пухнут поля. Мужики надеются на хороший урожай, а Василий Машков, мужик степенный и рассудительный, всю стенку изметил, — в какие числа снег был и когда «соответственно дождь пойдет». За лугами, в лесу послышался вой.

— Это что, волки? —

— Они... Тьма тьмущая. С каждым годом все больше... Лоси проявились.

— Почему же облав на волков не устраивают?

— Не до облав.

— А что же мешает?

— Не до облав, — повторил собеседник и как-то по особенному уныло махнул рукой.

Вой волков продолжался. Я вспомнил Пильняка и волчью его Россию, но он мне показался таким неуместным, таким чужим в этой занесенной снегом деревне. Надо было итти домой. И в домашней теплыни старуха мать моя, Аграфена Константиновна, долго рассказывала сказки и пела песни. старинные и прекрасные, как новгородские кружева. Песни эти и сказки, выхваченные из XVI века, я привез в Москву, в центр. в XX век.

Арсенька и Кузьма Анисимыч.

— Коммунисты есть в селе?

— Как же! Кузьма Анисимыч и Арсенька.

— Только-то. На 600 дворов как будто маловато.

— Кабы волость была, больше было бы. Коммунисты без должности не любят.

Снова приходится вести длинный разговор, разубеждать, спорить. ломать ядовито-тупое крестьянское недоверие к «начальникам», «комиссарам», коммунистам. Теперь, когда я ближе узнал и Арсеньку и Кузьму Анисимыча, думается мне, недоверие это возникло не без причины. Об Арсеньке много говорить не надо, — простой это человек и незатейливый до крайности.

— Арсенька с самогонкой борется. Отбирает ее, и пьянствует каждый день. Не выливать же добро.

И правда. Не выливать же. Какой же хороший хозяин позволит себе такую расточительность? Только при чем же тут партийный билет, где же здесь работа партии в деревне? Немудрено, что при упоминании об Арсеньке мужики ухмыляются довольно ехидно.

— А Кузьма Анисимыч хороший человек, капли в рот не берет. По целым ночам книжки читает, только он, кажется, исключен на полгода, что ли?

Узнал Кузьма Анисимыч о моем приезде, пришел. Долго мы с ним говорили. О многом он мне рассказал, написать просил — и вот отрывки нашей беседы:

— Очень тяжелый налог, невыносимо тяжелый. Ну вот, возьмите хоть меня. Набрал я всех культур 180 пудов. На налог пошло 60. А с некоторых берут половину и больше... Конечно, тут виновата больше местная власть. —

— Лес расхищается безжалостно, угости помощника лесничего и руби двадцать кубов, без порядку и без системы, — не сухостой, а самый лучший.—

Много говорил мне этот милый Кузьма Анисимыч. Я знаю, сейчас у него мигает миленькая лампочка, он склонился над затрепанной брошюрой, которую с трудом достал в уезде, он немного мечтает, а почва уходит у него из-под ног, и родная деревня теряет свою жизненную ценность.

Два коммуниста — на 600 дворов, — совершенно непригодный для деревни Арсенька, и Кузьма Анисимыч — хороший, очень хороший человек. только побольше бы коммунистического сознанья, только побольше бы энергии и совсем не надо унылого и безнадежного — «бесполезно».

Совсем не бесполезно, Кузьма Анисимыч.

А на вырубку леса, кроме Кузьмы Анисимыча, и мужики жаловались:

— Совсем без леса останемся. Прежде больше было порядку. Брали делянки... А теперь там выщипнут, тут выщипнут... Смотреть на лес прямо одна жалость.

— Что же молчите? Писать об этом нужно... в газету.

— В газету-у? А надо бы протащить, только сделать это некому.

— Как некому? Все ребята писать умеют.

— Ну, сказал... ребяты... им бы только баклуши бить, да на гармошке наяривать.

На этот раз ошиблись мужики. На другой день я поговорил с ребятами; долго пришлось говорить, парни наконец заинтересовались накрепко.

— Ты нам оставь адреса... А газету нам будут высылать?

— Обязательно.

И вот еще о газетах — я столько их видел в Москве — «Беднота», «Крестьянская Газета», «Крестьянский Журнал», «Крестьянская Молодежь», «Лапоть» — и, в виде справки —

«В селе Виловатове, Самарской губернии, на 600 дворов нет ни одной газеты. Крестьяне их не видят и не читают».

Крестьянская молодежь.

Партию представляют в селе два человека — один самогонщик, другой — из партии на полгода исключенный. С комсомолом на первый взгляд дело обстоит куда лучше.

Много раз организовывалась в селе ячейка, но неизменно после каждого раза рассыпалась. Сейчас родилась снова, еще не утверждена; по некоторым признакам и эта должна рассыпаться, даже не дождавшись своего утверждения. Вот мелочь, рисующая ее «коммунистическое самосознание»: — случилось как-то, что комсомольцев не пустили на спектакль бесплатно. Им это показалось явным нарушением своих прав:

— С нас плату? Не для того мы в комсомол записывались, чтобы за плату ходить. За плату мы и без комсомольства можем попасть.

Вот своеобразное представление о работе комсомола в деревне. Долго ли может просуществовать такая ячейка? И еще — пример культурно-просветительной работы комсомола:

— Ведь в прошлом году была открыта читальня.

— Была два месяца, да закрыли. По правде сказать, от ней и толку было мало. Не доглядит заведующий — ребяты все газеты на цыгарки растащат.

Это рассказывали учительницы, это из бесчисленных моих разговоров в деревне. Крестьянская молодежь гуляет под гармошку, глушит самогон, а читальня закрыта, а газет нет, — одинокий в своей избенке Кузьма Анисимыч читает затрепанную брошюру об электрификации, и опять сугробы и темень и опять XVI век. Я знаю, много еще нужно работать, я знаю — другое поколение будет срывать плоды с деревьев, нами посаженных, я знаю еще — в Москве неделю тому назад на Бутырском Валу, где ночами я пишу в одинокой своей комнате поэму о Самолете, на Бутырском Валу, в воскресенье, я видел настоящий кулачный бой «стенкой». Через два квартала, по Тверской, почти непрерывной цепью двигались трамваи и мягкими шинами жужжали автобусы, похожие на огромных желтых жуков.

Неделю тому назад, в Москве — я опять вспомнил село мое Виловатово — ужасающую его темень — нет, не XVI, XIII век; — и вот дальше — эпизоды из XIII века, темные, как лики икон, с которыми они связаны, ибо всегда деревенская темнота больше всего связана с вопросами религиозными.

Обновление икон.

Было так.

Вскоре после моего приезда, чуть ли не в первый день, меня спросили:

— Как там у вас в Москве про обновление икон ничего не слышно?

— Нет, не слышно.

— Ну? А у нас тут говорят, что началось это в Питере, а оттуда идет на Сибирь.

Где «это» началось, сказать трудно; знаю одно — у нас многие села охвачены религиозным фанатизмом.

— Знамения, милок, были. А сказано об них в книге Акопаликсе. Свету конец приходит, светопредставление.

Говорил старик, седая борода густо текла, вырастая из лица, как плесень. Серые глаза щурились, — мне показалось, с хитростью. Для темного крестьянина «знамений» в этом году было не мало. Все — и необычное состояние погоды, и ветры, и затмения, и наводнения, и холод на юге — все было признаком, что с миром что-то неладное, что мир качается — вот-вот рухнет. При таком шатком состоянии мира — начали обновляться иконы.

— В нашем селе обновились у кого-нибудь?

— В нашем-то нет... Затужились все. Неверно, недостойны мы — грешили много. А в других селах — везде... Икона столетняя, чорная, расчорная, и — вот поди же ты — делается, как золотая. Все больше божья матушка обновляется... только в Широченке и Микола-угодник в сиянии проявился.

Рассказывали серьезно, с волнением в голосе. Только на лицах молодежи слегка кудрявилась улыбка недоверия. Из уважения к старшим молчали.

Позднее двоюродная сестра моя — из Широченки рассказала, как дело было:

— Все как есть из дому ушли. Мальчишка один, восьмилетний на печке остался... Вдруг, как затрющит... Испугался мальчишка, взглянул на божницу, а Миколай-угодник сияет, как солнце.

Народу в избе было много, слушали внимательно, хоть, наверно, все эту историю наизусть знали. Заспорили. Кто-то степенно раз'яснял, что все идет по библейским пророчествам, что Судный день близится. Другой, приказчик из кооператива, вскользь и с большой важностью заметил, что это «явление социально-научное» и вызвано «электрической силой радио». Так в деревенском споре скрестились два извечно враждующих миропонимания — мистически-религиозное и «социально-научное». Правда об обновлении икон оказалась менее туманной и более жизненной.

Правду сказал мне Кузьма Анисимыч, будто по селам ходили какие-то подозрительные елейные люди и со смиренной настойчивостью предлагали «иконы обновить»:

Денег нет.

— Будьте покойны... в святом деле деньги и не требуются. Сами вам дадим, — вот согласие ваше требуется, только и всего.

Соглашались, что ж, оно ничего, дело прибыльное. Все в хозяйстве подмога. После несложной операции, творимой, как заклятие, иконы действительно обновлялись. В Павловский исполком таких «обновленных» икон представили около десятка. Будет суд, но кто поручится, что чудеса не будут твориться и после суда. Тут нужно другое — последовательная и плановая агитация, читальня и лекции, кино, крепкая ячейка, хороший учитель и несколько опытных агит-работников из центра не наездом, а на работу кропотливую, осторожную и длительную. И вот еще о значении обновленной иконы, о сельской медицине:

Говоря об иконах, бабы незаметно перешли к хвори:

— Все снадобья пытали... ничего не помогает.

— А вы бы гипносом.

— Гипносом? А это что, трава какая?

— Нет, глаза, милая, вытаращивают и руками колдуют.

— А ну его, гипнос этот. На што лучше обновленной иконой полечить.

Этот разговор я записал точно, — в избе становилось темней — за окном холодом дышали сугробы, слышен был волчий вой. Мать зажгла тридцатилинейную. Сели ужинать.

О кресте, попе и об освященной корове.

Бурей в три погибели согнуло на нашей церкви крест. Дело небольшое, но церковный совет решил случая этого не упускать (скоро ли еще такой подвернется), а учинить, не мешкая, оного креста торжественное снятие и

поднятие. За помощью и содействием обратились в сельсовет. В этом случае мы наблюдаем трогательное единение двух советов... сельского и... церковного. Сельсовет, мало того, что предполагаемое торжество одобрил, в своей услужливости он пошел значительно дальше, — дал лесу для подмостков, нашел специалистов по «крестовым» делам.

При «благосклонном» его содействии все удалось наладить очень быстро. В воскресный день, после обедни, в присутствии всего села, крест торжественно сняли, исправили и водрузили на прежнее место. Пелись богослужебные песни, служили молебен; недоставало одного только — выйти бы председателю сельсовета и произнести речь о необходимости подобного рода церемоний в новом советском строительстве. Праздник прошел в торжестве и благолепии; снимателей креста причастили и помолились за благополучный исход дела. Целый день до вечера звонили в колокола, целую ночь до утра пили самогонку, при чем этот последний способ празднования так понравился, что продолжался целую неделю. А виноватым в том, что буря согнула крест, оказался все-таки Кузьма Анисимыч — коммунист.

— Из-за его все напасти. Бог-то он с понятием — коммунистов не любит.

— Так ведь, если б на его доме крышу сорвало, а церковь тут при чем, или бог сам себя наказывает?

— А ты помолчи... Господь, он знает, не нам в хозяйство его мешаться.

И снова тупой заколдованный круг, который, кажется, ничем не разорвешь, а разорвать, чувствую, надо, надо во что бы то ни стало. Крепки еще пружины традиции. И вот что интересно — попов в деревне не любят, от попов запираются на крючок, когда они ходят по дворам за «благостыней», а без обряда никто обойтись не может. Захворал один мужик очень трудно, не надеялся поправиться. Позвали попа, чтобы мужика пособоровал. Отдал мужик за соборование попу шубу крытую, на козьем меху, попросил только: «Ты, батюшка, последнюю просьбу мою уважь, сорокоуст по мне отслужи». Обещал поп, дело нетрудное, и шубу взял. Глянь-поглянь, а мужик выздоровел, видно, время наше такое, что церковные таинства обратную силу имеют. Да мало того, что выздоровел мужик, женился еще, в жены вдову соседку взял. Ругает молодуха мужа. «Сходи, да сходи к попу, возьми шубу; если б в могиле лежал, а то жив ведь отстался».

Пошел мужик.

— Не обессудь, батюшка, выздоровел я.

— Благодарение богу, молебен, чай, отслужить нужно.

— Шубу мне с вас, батюшка, получить надо. Я ведь за сорокоуст ее давал. Помнишь?

— Что ты, что ты, бог с тобой, грех это великий перед богом, да если бы и не грех, я уж ее изрезал.

Шуба пропала в бездонных поповских карманах, а мужик мало чему научился. Купил вот недавно коровенку и, прежде чем во двор ее ввести, долго молился посреди улицы, на коленях стоял, кланялся на все четыре стороны, а корову благословил крестным знамением.

Только опять беда. Спрашивают бабы:

— Ну что, как ваша корова?

— Да что, влопались с коровой, вот что, полбутылку одну дает.

Видно и молитвы, и знамение крестное тоже обратное действие имеют. Ну, а попу живется ничего. Попу хорошо живется. Да и поп очень уж дошлый. Наложили на него квартирный налог, платить ему неохота, не сплоховал, однако, церковному совету ультиматум пред'явил — платите, или закрываю церковь. Вытянули с каждого двора по 15 копеек, уплатили 80 рублей.

Безбожники.

— Люди в нашем селе очень подвержены религиозным инстинктам, будучи по темноте своей неосведомлены о научных творениях Карла Маркса, — так сказал мне сегодня приказчик из кооператива.

Кажется, он прав, а все-таки есть у нас в селе два «настоящих» безбожника.

Дяде Митрию 60 лет — у него лохматые волосы и очки, неуклюже прилепившиеся к худощавому носу. У дяди Митрия изумительная память; он знает с полсотни стихов Демьяна Бедного, он прочел множество антирелигиозных книг и случилось так, что дядя Митрий стал безбожником. Шестидесятилетний безбожник — явление в деревне очень редкое. Плохое житье пришло дяде Митрию, в собственной семье гонение пришлось вынести. Выйдет дядя Митрий на улицу, соберет народ, очки поправит, начинает доказывать — никакого, мол, Христа нет.

Бегут девчонки к дочери старика:

— Тетенька, дядя Митрий опять про бога говорит, народ собрался, тетенька, — смеются.

В ярости приходит дочь, громыхает ухватами, голодом морит отца.

— Иди к тем, кто бога не признает... Они тебя накормят.

Голодает старик. Молча садится на лавку, поближе к свету, низко склоняется над замызганной брошюрой. Читает до темноты.

У меня мало осталось хороших воспоминаний, — но всякий раз, когда по шумной Тверской я прохожу мимо редакции «Безбожника», всякий раз через мои роговые американские очки вижу коричневое, изрытое лицо дяди Митрия и его очки, перевязанные веревочкой.

«Не было никакого Христа» — крепко ударила эта мысль в голову Семена Захарыча, и Семен Захарыч сделался безбожником. Мужик он бедный, хозяйство разрушается, надо как-нибудь направить. А богу богатства не нужны. Да и нет бога, так — «несовместимая иллюзия чувств».

Хлебнул Семен Захарыч самогону для храбрости, взял с собой лом железный, пошел с богом рассчитываться. Ну, известно, замок в церкви нашей взломать недолго. Чик, чебурик — и готово. В церкви темно, но Семен Захарыч «план расположения» очень даже хорошо знает. Обобрал владычицу — не ходи в золотых одеждах, с Миколы милостивого подрясник, серебром литый, снял, тоже сосуды церковные подобрал кой-какие, по малости.

Только самогон крепко в голову ударил, злой больно, — масте-
ица тетя Поля варить. Кружится голова, стены будто качаются. Лег
емен Захарыч посередь церкви — передохнуть, да так и заснул креп-
им сном. А проснулся утром, смотрит — руки связаны, мужики кру-
эм стоят.

И, как ведь хорошо вышло, не побили даже, пальцем не тронули, а из
кооперативной лавки приказчик сказал очень даже вразумительно: «Будем,
раждане, в сознательности, как есть этот вор идейный и антирелигиозный,
отпустим его на свободу». Отпустить не отпустили, но многие пожалели «идей-
юго вора» Семена Захарыча.

Мне от себя к этому что прибавить? — уродливо врастает новое созна-
ние, но оно бродит, оно шевелится, оно живет. И еще о новом сознании, о но-
вом быте, криво отраженном в засиженном веками — деревенском нашем
зеркале.

Октябрины.

За неделю до моего приезда были в селе нашем — Виловатове — первые
октябрины.

Октябрили девочку. В школе народу собралось видимо-невидимо. На
отца с матерью все заглядывались, а они (кстати сообщил мне кооперативный
приказчик всю историю эту) — «в беспартийном состоянии были, но с ком-
мунальным влечением».

Назвали девочку «Красная Нинель».

— Как назвали-то?

— Ненил.

— Ненил? Мальчишка разве?

— Нет, девчонка.

— Ну, так — Ненила, значит. Самое бабье имя.

Это после октябрин разговоры, у колодцев пересуды бабьи, это новый
быт в деревенском обиходе нашем.

В другом селе, в трех верстах от нашего — назвали мальчишку — «Вил».
Горько вздыхали бабы: «И что за имена пошли — Ненилы да Вилы, скоро
лопаты, да грабли будут».

А во время октябренья соседка соседке сказывала:

— У нашего Миколая... Он в Бухаре живет... тоже вот так крестили.

— Как назвали-то?

— Роза Оренбург.

Все это больше искажения словесные. Все это мне, краешком поэту,
краешком фольклористу — интересно. После октябрин шипели бабы, судачили
по селу:

— Девочку судорога сводит, посинела вся, криком зашлась.

— Нечего врать. Вот у Матасовых, правда, умерла девчонка, поп за-
хлебнул, когда крестил, а у Немальцевых утопил.

А, по правде сказать, октябренная, в час молвить, здорова.

И снова о темноте деревенской и о красоте крестьянского слова, о красоте, которой всем нам нужно учиться, потому что мы захлебываемся в мутных потоках сомнительного красноречия.

Вбегает раз девка к нам. Запыхалась.

— Мужики, — говорит, — подрались — разговор про коммуниста идет, какой запарился.

— Что, что такое?

— Да как же, все про это говорят. Только дядя Митрий не верит. Чепухой обзывает. Не больно чепуха. Люди видали.

Я попросил подробно рассказать об этой истории. И сестра моя рассказала сказку, удивительную, таинственную и страшную, как бабы из камня на скифских курганах. От нее пахнет кровью, теплой, как парное молоко, а березовый веник в ней выглядит, как орудие пытки.

Запарился.

Жила-была в одном селе старуха. А у ней был сын один раз'единый. Взяли сына на службу, а он возьми, да и запишись в коммунисты.

Летом приходит на побывку.

— Здравствуй, — говорит, — мама, я повидаться с тобой пришел.

Мать на радостях и сказать ничего не может. Хотела самовар ставить, а сын говорит:

— Лучше, мама, вот что сделай — баню истопи сначала, а то я целую неделю ехал, что-то у меня тело чешется.

— Это, знамо, сынок, только дров-то нету.

— Не беспокойся, мама, дрова найдутся. Ты иди узнай, дадут ли баню соседи?

Своей-то бани у них не было.

Только мать за двери, а сын — раз, раз — поснимал с божницы всех богов и давай их топором крошить. Расколол и Миколая угодника, и Спаса нерукотворного и Богородицу троеручную. Приходит мать в избу, а сын и говорит:

— Вот тебе и дрова для бани.

Мать как взглянула, так и присела. Прямо чуть не обмерла.

— Ох, сынок, чево ж ты наделал-то?.. у меня и руки не подымутся такие дрова нести.

— Ничего, мама, я и сам донесу.

Взял и отнес к бане.

А мать все-таки не положила их в печку, а разломала плетень, каким огород был обгорожен.

— Пускай лучше свиньи в огород залезут и всю овощу изроют, чем грех непрощеный на себя наложить, в печке иконы сжечь.

Истопила старуха баню сломанным плетнем, нагрела воды, навела щелоку, осталось только воды холодной в колодце почерпнуть.

А тут откуда ни возьмись, — старичок седенький, тихенький с бадиком.

— Истопила, бабушка, баню?

— Истопила.

— Ну, посылай сына скорее.

(Уже наверное — это был не простой старичок, а по крайности Микола угодник). Ну, а у сына в ту пору так ли стало телю чесаться, прямо нету никакой моготы.

Тут и мать в избу входит.

— Готова баня?

— Готова, сынок.

— Веник в бане есть?

— Есть, есть, милый, целых два: один березовый, другой бобовый.

— Вот и хорошо. Попарюсь в свое удовольствие.

Входит это в баню и поддает на каменку воды для пару. Ковшей пять выплеснул, потом залезает на полок, и начинает париться сразу двумя вениками. Сначал-то было ничего, возможно терпеть, а как стал вениками резче хлестать, тело так зачесалось, хоть кожу раздирай. Он парится, а тело все больше зуд одолевает. А жар какой!.. терпеть невозможно. Ему бы уж и бросить, да на пол слезть — веники от руки не отрываются, как припаялись будто. Ноги-то он свесил, а задняя часть прилепилась — никак не отодрать.

Проходит час, другой, все парится коммунист. Мать забеспокоилась, а к бане итти боится. Пошла, соседей позвала.

— Так и так, мой сынок-то, наверно, запарился. Пойдемте, поглядим.

Пошли мужики, бабы, дернули за ручку, приоткрылась дверь, а оттуда как хлынет огонь...

Кому охота обжигаться? Прикрыли дверь.

— Давайте стенки рубить.

Принесли топоров наточеных. Рубнули по стенам, а из них кровища. Как брызнет и прямо в лица мужикам, которые с топорами были.

— Ну, — думают, — тут ничем не поможешь.

А коммунист знай себе парится и визжит по-поросячьи. Бабы супротив окошка встали, спрашивают:

— Паришься?

— Парюсь... — а сам визжит: — о-е-ей...

— Долго будешь париться?

— До 25-го года.

Ну, что тут делать? Постояли, постояли и ушли, а коммунист остался париться. Теперь-то он вышел из бани, потому, новый год наступил.

Вот, наверно, напарился-то! На всю жизнь!

Сказка эта упорно признается былью.

Такие слухи будоражат весь темный деревенский мир и создают другую жизнь — наполовину реальную, наполовину населенную призраками.

Наша задача — призраки эти разогнать. Наша задача — ввести деревню в наш новый быт, в строительство наше, в советское наше «сегодня». Деревня

слышит, но все шорохи наших дней воспринимает в искаженном до неузнаваемости виде.

— Троцкий с Михаилом соединяется, скоро большевикам конец.

Ползут темные слухи... деревня ловит их и загадочно щурится.

А, кстати, об агитации — маленькая картинка, поучительная для многих:

В волостном селе нашем устроена была показательная сельско-хозяйственная выставка. Небогата она была экспонатами, но были среди них интересные.

Соха — и надпись на ней: — «Враг сельского хозяина».

Трактор—«Друг сельского хозяина» — надпись на нем.

Проходят мужики. Останавливаются. Заставляют мальчишку прочесть. Читает мальчонка по складам.

— Значит, как это по-ученому называется...

— Друг сельского хозяина, дяденька.

— А это?

— Это — враг сельского хозяина.

— Всю жизнь с этим врагом прожил, а друзей-то вот укупить не на что. Машет рукой мужик, сплевывает и мрачно отходит в сторону.

Этим примером хочется мне кончить. И я не знаю теперь, как связать мне разбросанные осколки деревенских моих впечатлений.

Вот снова бегло просматриваю их, и вижу темень и глушь.

А мне ночами снится тракторная моя Россия, а я мечтаю еще, что мать моя Аграфена Константиновна полетит ведь когда-нибудь на самолете, обязательно ведь полетит. И мне ночами встает село мое Виловатово, каким я его видел, когда неделю прожил в снегах, под волчий вой и страшные сказки, а в Москве у Мейерхольда автомобиль проносился на сцену через зрительный зал, и до боли знакомый поэт читал стихи о машинной России.

Мне не нужно делать выводов. Все обрывки этой статьи, — только шопот деревни, «когда ей не спится».

Надо бы нам почаще к этому шопоту прислушиваться.

В. Маяковский.

А. Воронский.

I. „Весь из мяса, человек весь“.

У значительного писателя всегда есть свое «самое главное». У Маяковского главным служит его человек. Человек — основная тема произведений поэта от «Флейты позвоночника» до «Ленина». Даже там, где на первый взгляд Маяковский как будто говорит о другом, он остается верен своему герою. Герой и тема у него есть. Этим он отличается от многих и многих современных художников, у которых есть материал, глаз, слух, талант, но нет героя. Присутствие его выводит Маяковского из порочной золотой серединки, из ряда так называемых обещающих натур. Своеобразие Маяковского — от его героя. Здесь истоки его пафоса, основных его мотивов. Иногда писатель напоминает каторжника, прикованного к тачке: тщетно он старается освободиться — цепи крепки и ковка прочна. Недаром поэт пригвоздил своего человека к невскому мосту и заставляет его стоять из года в год: «Семь лет я стою. Я смотрю в эти воды, к перилам прикручен канатами строк. Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. Когда ж, когда ж избавления срок?». Человек — поэтическое бремя и пленение, радость и надежда, тень, неутомонно и неотвязно следующая за писателем, двойник, друг детства и поверенный, враг и надоедливый, постылый, постоянный гость.

Как же выглядит этот герой, каков он, чего хочет, откуда и куда идет?

Прежде всего он прост, «как мычание». В своей подоплеке он примитивен, первобытен. Человек Маяковского — сплошная физиология. Он — из мяса, костей, крови, мускулов. Вспомните широко известные строчки из «Человека»:

Две стороны обойдите.
В каждой
Дивитесь пятилучию,
Называются «руки»
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
Справа налево двигать могу
И слева направо.
Заметьте:
Лучшую

Шею выбрать могу
И обовью вокруг.
Черепа шкатулку вскройте,
Сверкнет
Драгоценнейший ум.
Есть ли,
Чего б не мог я!
Хотите, —
Новое выдумать могу
Животное?
Будет ходить
Двухвостое
Или треногое
Кто целовал меня,
скажет,
есть ли
слаще слюны моей сока.
Покоится в нем у меня
Прекрасный,
Красный язык,
«О - го - го» могу
Зальется высоко, высоко
«О- го - го» могу
И охоты поэта сокол
Голос
Мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь.
Наконец,
Чтоб в лето
Зимы
воду в вино превращать чтоб мог,
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший комок.
Ударит вправо — направо свадьбы,
Налево грохнет — дрожат миражи ...

Герой Маяковского упоен и несказанно рад, что у него есть две руки, что он может ими двигать слева направо, что язык может крикнуть «о-го-го». Звериная радость звериному. В человеке Маяковскому приметно биологическое, непосредственно данное. Он — наивный реалист. Правда, у героя-поэта драгоценнейший ум — может даже выдумать животное, — но, надо полагать, кошка, собака, лошадь, пантера, любое из четвероногих тоже «выдумывают». В «Человеке» дальше рассказывается, как на глазах у всех герой Маяковского может у булок загнуть грифы скрипок, превратить головки в подвале сапожника в арфы. но и здесь четвероногие едва ли уступят ему.

Говорят: человек — добр, человек — зол, человек — общественное животное, человек — бог, носитель, сосуд потустороннего, нездешнего, — Маяковский говорит: человек прост, как мычание. У него руки, ноги, язык,

он может передвигаться, и это самое удивительное, самое ценное, самое прекрасное и важное, он груб, герой Маяковского, жаден, вгрызается зубами за свое, он не хочет пропустить ничего, что дано ему природой, отдать, пожертвовать, — он эгоистичен и своенравен, он — дитя и дикарь, он зоологичен. У поэта в числе его сатирических вещей есть рассказ, как он сделался... собакой: вырос клык, потом появился хвост, человек стал на четвереньки и залаял зло на толпу. Герою Маяковского в самом деле нетрудно пережить это чудесное перевоплощение: есть для этого несомненные данные. Очень естественно, что поэт отмечает свою любовь к зверю: «Я люблю зверье — увидишь собачонку — тут у булочной одна — сплошная плешь из себя, и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая — ешь!». Иван в «150.000.000» для одоления Вильсона начиняет себя зверьем.

Человека Маяковский поставил на четвереньки.

Желания, грезы, мечты, идеалы тоже от четверенек.

В стихах «Гимн судье» перуанцы грезят о бананах, об ананасах, о вине, о птицах, о танцах, о бабах и баобабах, о померанцах. Об этом же грезит и герой Маяковского. «Тело твое просто прошу, как просят христиане», — обращается он к возлюбленной. «Отчего ты не выдумал, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать?» — заклинает он бога. «Нам надоели небесные сласти — хлебище дайте жрать ржаной. Нам надоели бумажные страсти — дайте жить с живой женой». Мечтания его о будущем земном рае, об освобожденной, обетованной земле совпадают вполне с перуанскими грезами. Он хотел бы, чтоб в этом раю залы ломились от мебели, чтоб труд не мозолил руки; там шесть раз в году будут расти ананасы, будут ходить всякие яства: «берите сегодня, режьте и ешьте». «Пустыни смыты у мира с хари, деревья за стволом расфеерили ствол»... «и поет, и благоухает, и пестрое сразу... моря мурлыча легли у ног». Авто, метро, дирижабли, броненосцы без пушек, марсиане. Герой Маяковского провидит, что в будущем научатся воскрешать людей по выбору, кого найдут нужным — и он просит за себя: «воскреси—свое дожить хочу».

Разумеется, наш перуанец живет в XX веке, он побывал в фешенебельных залах, оценил благую силу электричества, поплавал на дирижаблях. Но по-прежнему, по-древнему, как наивный материалист, он думает исключительно вещами, о вещах, об ананасах, о бабах и померанцах. К ним прибавлены стильная мебель, электричество, авто. Здесь все дело в количестве, а не в качестве. Качественно в этих мечтах наш герой ничем не отличим от доподлинного перуанца.

Перуанец Маяковского не одобряет ничего небесного, он земнороден, он язычник и атеист. Небо... там нет ничего осязаемого, ощутимого. Платон, Кант, Гегель, Толстой, Руссо, Христос, Сократ, сложнейшие системы идеализма, христианская культура, нравственное самоусовершенствование, царство божие внутри вас есть, усилия гигантов человеческой мысли распутать идеалистические тенета и опустить человека на землю, Дидро, Гольбах, Фейербах, Дарвин, Маркс, Ленин, философские книги и трактаты... герою

Маяковского все это ни к чему, его аргументы против «небесного», духовного, идеалистического несложны и просты до обнаженности; так наверное рассуждает реалист-перуанец: «нет тебе ни угла ни одного, ни чаю, ни к чаю газет», там «постнички лижут чай без сахару». Не рай, а сущая нора: негде щей похлебать и лифта нет. «Жилы и мускулы молитв верней». От бестелого, эфирного, невесомого скучно, серо и тоскливо. «Ядовитое войско идей» идет на потребу одним только Вильсонам. Мечников снимает нагар с подсвечников в отеле Вильсонов, философия талмудит голову; книжки загружают пустые головы «для веса». Духовное, душевное лишает человека наслаждения красным своим языком, мускулами, оно уводит его в выдуманные, в миражные Арараты, которых нет и не будет. В своей автобиографии Маяковский рассказывает: на экзамене при поступлении в гимназию священник спросил его, что такое «око»? «Я ответил — «три фунта» (так по-грузински). Мне об'яснили любезные экзаминаторы, что «око» это — «глаз», по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм и мой атеизм, и мой интернационализм» («Я сам»). «Духовное», а не грузинское об'яснение «ока» пришлось не по нраву поэту, — также не по нраву ему приходится, когда жизни, которая есть ананасы, лифты, хлеб, чай, газеты, вино, дают «духовное» толкование и направление. Поэт решительно предпочитает грузинское об'яснение: «Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что сделаю и сделал».

Человек Маяковского — б о л ь ш о й не в переносном, духовном смысле, а в буквальном, в физическом. У него здоровенный рост, руки, ноги, все выше среднего. Он так рассказывает о себе: «Я же ладно сложен... громада — любовь, громада — ненависть»...

На мне ж
с ума сошла аномалия —
Сплошное сердце —
Гудит повсеместно.
О сколько их,
одних только весен
за 20 лет в распаленного ввалено.
Их груз нерастраченный — просто не сносен.
Не сносен не так для стиха,
А буквально... («Люблю»).

Человека Маяковского распирает от желаний, от мускулов, от гуда крови. «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется». Порой он готов выскочить из себя, упрямо вырваться из своего «я». Он готов опереться на ребра для этого, но «не выскочишь из сердца». От себя не уйдешь, земля имеет свое иго, свои законы.

Отсюда «рев и рык» в поэзии Маяковского, его необузданность, отсутствие художественной меры, преувеличенность, непомерность и огромность образов, эмоциональная сгущенность и насыщенность стиха, космополитизм.

Для его человека мир тесен, как клетушка. Земля сжимается в маленький комок, становится знаемой, плоской и скучной, беспредельные небесные пространства теряют свою беспредельность. «Оглядываюсь — эта вот зализанная гладь и есть хваленое небо?» Вещи уменьшаются в размерах, до песчинок, а герой Маяковского на глазах у всех растет, ширится, наполняет собой вселенную, шагает по странам, по морям и океанам, спускается вмиг в ад, поднимается нехотя на небо, переносится в прошлое, в будущее, и сама вечность теряет свою жуткую, мертвую и глухую безбрежность: «и по мне насквозь излаская катятся вечности моря».

Оттого Маяковский воюет со вселенной, с землей и выбрасывает лозунг: «долой природы наглое иго». Ему надобно подчинить ее себе, заставить служить своей громаде, своему сплошному сердцу... «Солнце моноклем вставляю в широко растопыренный глаз», «Наполеона поведу, как мопса», «вся земля поляжет женщиной». Человеку Маяковского хочется раздвинуть безгранично рамки природы, обладать свободно ее дарами и вещами до предельной полноты, до преизбытка. В этом бунтарстве — стремление преобразовать мир при помощи науки, техники, знания. Поэт готов забыть, что Мечниковы снимают только нагар с подсвечников Вильсонов, что философия талмудит голову. В автобиографии рассказано: «Лет семь. Отец стал брать в верховые об'езды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка сразмаху шипами в мою щеку. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».

Верит ли герой Маяковского, что природу можно сделать усовершенствованной вещью?

Из ранних произведений поэта не видно, чтоб он прочно верил в это. Наоборот, «Флейта позвоночника», «Люблю», «Человек» пропитаны чувством судорожной тоски, отчаяния и безвыходности. Бунтарство безрадостно, сила и крепость проетста срываются в истерический крик. Поэт то-и-дело говорит о своем «земном» сумасшествии. Нигилизм лишен бодрости, и, главное, нет уверенности в победе.

Под хохотливое
«Ага»
бреду по бреду жара.
Гремит
Приковано к ногам
Ядро земного шара.
Замкнуло золото ключом
Глаза.
Кому слепому весть?
Навек теперь я
Заключен
в бессмысленную повесть.

И этот удивительный грандиозный образ:

Глухо.
—
Вселенная спит,
Положив на лапу
С клещами звезд огромное ухо.

Глухо. Мир не отвечает на вопли, на крики поэта. «Земной загон» не разрывает своих перегородок. «Наглое иго» остается непоколебленным, и «страсти Маяковского» разрешаются в отчаянном смертоносном порыве: «а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою, в бессвязный бред о демоне растет моя тоска». Позднее, с революцией восстание Маяковского против природы оформилось, осмыслилось, отвлеченное бунтарство нашло более конкретное выражение в поддержке, в присоединении поэта к великой социальной борьбе пролетариата, но и тут Маяковский со своим героем остался в сущности одиноким на одиноком пути, а целевая установка пролетарской борьбы была им усвоена больше умом, чем чувством, часто в прямой ущерб его поэтической непосредственности и эмоциональному половодью. Конечные идеалы социализма не прошли «от сердца до виска». Достаточно вспомнить поэму «Про это». Она перекликается с «Человеком». В ней мало бодрой уверенности и больше раз'едающего скепсиса.

II. «Зараженная земля».

В Маяковском поражает одно противоречие: его здоровое, нутряное, наивно-грубоватое «о-го-го», преклонение и возведение им «в перл создания» дикарского, физиологического начала сталкиваются непрестанно и неотвязно с нервозностью, с тоской, с бессилием, с мрачными и тяжелыми полубредовыми настроениями, с крайней взвинченностью и размагниченностью. Казалось бы — жить бы да жить его герою: он наделен прекрасными руками, языком, драгоценнейшим умом, и все это отпущено сверх меры. И в вещах Маяковского, особливо первого периода, вложена огромная сила. Они захватывают и подчиняют. Те, кто утверждает, что все это деланное, рассчитанное или, еще хуже, нарочитое — а такое мнение приходится слышать — глубоко заблуждаются. В основе поэтические чувства Маяковского неподдельны. При такой «кровище», «голосище», «ручище», «головище» как будто остается петь могучие и радостные гимны праматери-природе, благословлять ее денно и нощно. Вот он, новый Микула, играючи поднимает сумочку переметную, как Бова, повергает единым взмахом в прах своих врагов, играет и озорует, как Васька Буслаев, а если и томится, то только от этой немыслимой, несметной, дремучей силушки, которая по жилушкам течет. Откуда же смертная маята поэта, почему бритва у горла, бред и тоска вселенская, истеричность, это бессилие и истошный крик, переплетающиеся с громыхающим «о-го-го»?

У героя Маяковского есть непримиримый враг, жестоко преследующий его по пятам, враг неотступный и всесильный — современный властелин и хозяин земли. Он покорил, подчинил, заставил служить себе природу и вещи,

обложил землю статьями, даже у колибри выбрил перья, превратил девственные цветущие места «в долины для некурящих», всюду разбросал, насорил окурками, консервными коробками, возвел каменные чудища — города и над всем богом земли поставил доллар. В звоне его «тонут гении, курицы, лошади, скрипки. Тонут слоны, мелочи тонут. В горлах, в ноздрях, в ушах звон его липкий. «Спасите!» Места нет недоступного стону».

Земля стала зараженной, она гниет: властелин всего замызгал, испакостил ее, залапал ее потными, жирными руками. Земля «обжирела, как любовница, которую вылюбил Ротшильд», сделалась грязной и продажной. Камень, бетон, железо и сталь утрамбовали ее, залили, стиснули в мертвой хватке. «Город дорогу мраком запер». Современный Вавилон протянул свои щупальцы к селам, к деревням и полям.

Сразу
железо рельс всочило по жиле
в загар деревень городов заразу
где пели птицы — тарелок лязги.
Где бор был — площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
Публичный дом за публичным домом.

Обычно ходячая молва безоговорочно причисляет Маяковского к урбанистам. Он — урбанист, но весьма, как видим, своеобразный.

В творчестве поэта обращает внимание подчеркнутая грубость и извращенность образов. У него: «тучи оборванные беженцы точно», «пузатая заря», «вселенная — бутафория, центральная станция, путаница штепселей, рычагов и ручек», «туч выпотрашатывает туши кровавый закат мясник», «слова выбрасываются, как голая проститутка из горящего публичного дома», «вздрагивая околевал закат», «небо опять иудит», «тревожного моря бред», «плевками, снявши башмаки, вступаю на ступеньки», «был вором-ветром мальчишка обласкан», «бритва луча», «тополя возносят в небо мертвость», «небо — зализанная гладь», «земля поляжет женщиной, заерзая мясами, хотя отдаться» и т. п. Подобные образы навеяны современным Вавилоном. Публичные дома, городские скотобойни, мусор, кабаки, кафе, ночлежки, желтый мертвый свет фонаря, камень и кирпич, копоть, пыль заслоняют чистую прозрачность воздуха, приволье полей, лазурь и синюю ласку небес, пахучую свежесть лесов. Но Маяковский знает и другие образы. Для новой, обновленной земли, освобожденной от Вильсонов и Вильсончиков, у поэта находятся иные слова. В «Войне и Мире» он пишет и о поющей и благоухающей земле, о лицах, разгорающихся костром, о зверях, франтовато завивших руно, о морях, мурлыкающих у ног. В «150.000.000» он приглашает слушать «мира торжественный реквием», а в «Мистерии-Буфф» машинист возглашает: «мы реки миров расплещем в меде, земные улицы звездами вымостим». Однако в этих позднейших произведениях, написанных под диктовку Октября. Маяковский далеко не всегда поднимается до очищенных образов — старое гонится и преследует по пятам.

Зараженная земля заразила и человека Маяковского. С его любимым героем случилось то, что было с павлином в Перу, попавшим в руки судьи:

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост.

Перуанец XX века со всеми своими мясами, с глоткой, со сплошным сердцем оказался втиснутым в современный Содом и Гоморру, в окружении гниющей и больной земли. Вот что делают там с необыкновеннейшим комком:

На сердце тело надето,
На теле рубаха,
Но и этого мало
один —
Идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся—
Женщина мажется,
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет
Поцветет
И скукожится.

Нынешний Вавилон превратил перуанцев в каторжан, оторвал их от полей и деревень, лишил даров природы; вместо любви, большой и настоящей, он дает «миллионы любвят»: «сползаются друг на друге потеть». И еще хуже: современный вампир высасывает силу и свежесть самых лучших, самых жизненных и прекрасных человеческих инстинктов, желаний. Человек «моментально» линяет, утрачивает свое натуральное богатство, сердце «скукоживается» и становится жестяным. Прекрасные руки сохнут и сильное «о-го-го» надламывается в истерике. И вот он уже неврастеник, развинченный нигилист, он ни во что не верит и даже тогда, когда сквозь муть и мрак современных туманов начинают проступать очертания иного грядущего, он не в силах освободиться от злых чар прошлого.

Буржуазная культура нашего времени — культура сверх'империализма. Она с чудовищной быстротой и силой захватывает и включает в орбиту своего влияния самые отсталые, варварские страны и народы: Азия и Африка, Китай и Индия, негры и арабы уже втянуты в золотой водоворот и испытывают на себе все прелести нынешней «цивилизации». Звон доллара, свист и грохот машин, военная муштровка, казарменные порядки, строгие чиновники и «неподкупные» судьи, религиозные ханжи и изуверы, неустрашимые капиталистические «мореплаватели», дельцы, уголовные типы и игроки облепили всю землю и старательно обучают и «культивируют» диких перуанцев. В своем известном очерке «С человеком тихо» Г И. Успенский когда-то писал: «Со-

вершенно частные интересы — банковые, акционерные, интересы рубля — с пушками вторгаются в страну за получением недоимок... Представитель английских мироедов с пушками и бомбами лезет через моря и океаны и кричат: «отдай купон!..». Что же означает после этого тот человек, с которым расправляются — феллах?.. «отдай купон, не то убью», а что касается там какого-то твоего «личного» счастья, какого-то национального достоинства, каких-то семейных и общественных обязанностей, каких-то умственных и нравственных недоумений, жизненных задач — наплевать! Отдай, а сам хоть провались сквозь землю»... Написано это было давно, но только теперь эти слова приобрели жгучий, вещий и жуткий смысл. Г. И. Успенский имел в виду феллаха со всеми его умственными и нравственными недоумениями. Маяковский взял его грубее, со стороны «физиологии». Феллах и перуанец гибнут и вырождаются физически, как биологические особи. Современный сверх'империализм лишает их плоти, крови и мускулов, он со страшной «моментальностью» сушит их щеки, кожу, отравляет кровь водкой, вином, кокаином, опием, в железные удила он берет самые простые, животные отправления человеческого организма. Камень гложет человечье сердце и грохот мочалит нервы. Могучая правда природных инстинктов продается за чечевичную похлебку, крахмала, побрякушек, запонок, кабарэ, кабаков и публичных домов.

То, что делает господин Купон с феллахом в его стране, ничто, однако, в сравнении с его другими цивилизаторскими подвигами. «Настоящее» начинается, когда феллаха и перуанца гражданин Купон бросает и закупоривает в свои Лондоны, Парижи, Нью-Йорки; здесь-то именно феллах и перуанец и скукоживаются моментально. Современные Вавилоны растут со сказочной быстротой и с такой же невероятной быстротой растут, усиливаются все их качества, от которых линяют павлиньи хвосты, и если раньше они сгоняли и глотали десятки тысяч феллахов, перуанцев, то теперь они проглатывают их сотнями тысяч и миллионами, и если прежде они давили на них с силой, примерно, в 100 единиц, то теперь давят с силой в десятки тысяч. Не успел «феллах» оглядеться — и уже крошатся зубы, мутнеют глаза, как у мертвого судака, простота и непосредственность «страстей» превратились уже в повышенную, издерганную чувственность.

Но феллах и перуанец сидит во всех нас, ибо у нас тоже руки, ноги, язык, голова. И никогда с такой обостренностью, с такой очевидностью не ощущалась эта грозная опасность, как в нашу ультра-капиталистическую эпоху.

Поэзия Маяковского есть крик человека с «большой физиологией», которого каменный осьминог по рукам и по ногам опутал своими колоссальными щупальцами и высасывает плоть и кровь. Маяковский отразил трагедию перуанского в нас, изначально природой данного, гибнущего в об'ятиях каменных удавов. Его стихи — сигнал гибели «SOS» с корабля, который гибнет и где мечутся бедные перуанцы и феллахи, пойманные в благословенных лесах и степях и насильно посаженные. Это — тоска по звериному, по телу, по мускулам, сознание, что прекрасное «о-го-го» превращается

в хриплый крик, вой и стон. Это «SOS» Маяковский бросил с необычайной силой, ибо его герой на свою беду, быть может, не в пример остальным — «сажень ростом», с огромной пятерней, с громадой всех чувств и инстинктов.

Но Маяковский, как уже отмечалось, кричит и неистовствует с надрывом, с тоской, с истерикой. Его человек уже во многом «окукожился» и вылинял. Он начинает с низких, грудных, властных и полных звуков, но тут же срывается. Он уже сын и дитя Вавилона, он отравлен им.

«Как провести любовь к живому?» Как сохранить в этом каменном бреду богатство, свежесть и силу человека, чтобы он не был «двуногим бессилием»? Как пронести «простое как мычание»? — эти вопросы поставил поэт. Их острота усугубляется тем, что герой Маяковского становится двуногим бессилием «моментально» вопреки всей его незаурядности, крепости мышц и «необычайнейшему» комку. Зараженная земля, перуанец в сажень ростом, превращенный современным волшебником в демона в желтых ботинках, истерически проклинающего мир, — тут есть над чем задуматься.

Где выход?

III. Человек и вещь. Не сотвори себе кумира.

Маркс утверждал, что в товарном обществе общественные отношения между людьми представляются как общественные отношения между вещами. Вещи фетишизируются. Поэзия Маяковского с замечательной наглядностью иллюстрирует эту глубокую мысль Маркса. Маяковский — фетишист вещи. Выход из каменного лабиринта для своего «о-го-го» он видит исключительно в обладании вещами. Природа — неусовершенствованная вещь. Город превращает человека в двуногое бессилие, но это происходит лишь потому, что вещи, продукты городской культуры захвачены «повелителем всего, соперником и неодолимым врагом». Выход — в уничтожении господства «соперника», в освобождении вещей из-под его ига. Тогда человек создаст свой совершенный рай, в нем вещи покорно и радостно будут ему служить, и он снова вернет себе зычное «о-го-го». В «Войне и Мире», в «Мистерии-Буфф», в «150.000.000» будущее обрисовывается, главным образом, с этой вещной точки зрения. Вещи оживают, ходят, у них — руки, ноги, — они приветствуют «нечистых», покорно толпятся вокруг них, раз'ясняют, что раньше служили жирным хозяевам и приносили трудящимся только бесчисленные беды, зовут воспользоваться ими вдосталь и всласть, обещая счастье: «без хлеба нет человеческой власти, без сахару нет человеческой сласти». Что вещи живут, ходят, говорят, — это поэтическая вольность, но она упорно повторяется писателем и не случайно: он прибегает к ней потому, что для него вещи имеют с а м о ц е н н о е, с а м о д о в л е ю щ е е значение; они как бы действительно живут своей особой жизнью, в них вдунута своя душа. В метафоре поэта есть свой смысл.

Если в филиппиках против современного Вавилона Маяковский бунтует во имя природного, биологического, то в своих прославлениях городской вещи — машины, мебели, сахара — он становится певцом города. Тут нет про-

тиворечия: его герой хочет освободиться и от «наглого ига природы» и от темных сторон нынешнего Вавилона. Признанием ценности для человека продуктов городской культуры Маяковский отделяет себя от поэзии крестьянствующих интеллигентов, для которых машина, завод, фабрика несут одну черную гибель, а социализм представляется торжеством голой механики и математики. Маяковский не боится индустриального социализма; в своей автобиографии он признается: «на всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир». Маяковский остро и зло ненавидит Вильсонов и Вильсончиков, буржуа, он задыхается в быту липкого, потного, мелкого и тупого благополучия и это приближает его к современным борцам за торжество новой общечеловеческой правды. Поэт искренно старается шагать нога в ногу с рабочим классом, уловить и отразить в своей поэзии ритм нашей эпохи. Но и за всем тем социализм Маяковского остается особым его, Маяковского, социализмом, на его индивидуальный лад и образец. Совпадения, слияния с коммунизмом тут нет. Научный коммунизм Маркса и Ленина тоже полагает, что «без хлеба нет человеческой власти», но он утверждает также, что завоевание «хлеба» всем человечеством откроет невиданные и неслыханные возможности для развития, для расцвета не только биологического в людях, но и умственных, но и нравственных и эстетических свойств, заложенных в нем. «Не о хлебе едином будет жив человек» — эту формулу мы принимаем, очищая ее от всего мэт-эмпирического, мистического, поповского, придавая ей насквозь земное, земнородное толкование.

Маяковский презирает все «духовное», подразумевая под духовным не только божественное и потустороннее, но и продукты человеческого ума. Для него идеи — только ядовитое войско Вильсонов; книги, философия нагружают голову мусором, Мечников снимает нагар, Лувр — труха, искусство — мерехлюндия и канитель. Во имя сластей, обладания телом любимой, во имя вещей он готов все это разгромить, пустить по ветру. Да здравствует человек и вещь, пусть сгинет все остальное. С первого взгляда это звучит ужасно революционно, но вглядимся немного пристальней в эту революционность. Ветчину, сласти, «еды», лифты, чай надо во что бы то ни стало отдать всему человечеству, но когда для ради ветчины, сластей, чая выбрасывается с легким сердцем Мечников, Руссо, Толстой, Гегель, вся умственная «культуришка», то не проступают ли в этом черты того же самого ограниченного мещанства, которое громит Маяковский? Во имя сластей похерить Мечникова — да ведь это ежедневно, ежечасно делает любой современный мещанин! Он «делает дела», он признает только то, что дает доллар, марку, крону, рубль; для него священны обед, кофе, «еда», кровать, кабарэ, вина, кино, театр, авто, метро и т. д. Все остальное — Кант, Дарвин, Мечников, Гомер, Толстой — чудачество, гиль, труха, ненужное праздное препровождение; никто из них доллара не даст и дома не построит. Впрочем, он готов снисходительно признать их, ежели они содействуют его материальному узкому благополучию. Он — крайний утилитарист в науке и в искусстве, ибо признает только, что непосредственно реализуется в полезные для него вещи. Он не видит, не понимает

наслаждения от продуктов чисто умственного труда — от книги, от философской, научной системы — это дело каких-то мечтателей, выродков, дурачков, сумасшедших и непонятных людей. Он с удовольствием подмечает, когда великие представители «духовной» культуры подвержены бывают «сластям»· «Толстой-то проповедывал, проповедывал, а между прочим... а Достоевский— знаете про него» и т. д. [1]).

Было сказано выше, что поэзия Маяковского отразила перуанское в нас, ущемленное теперешним Содомом и Гоморрой. Это верно, но требует дополнения. Протестуя, «рвя и оря» и громя современных хозяев жизни, Маяковский исказил свой протест, примешав к нему значительную дозу современного, европеизированного мещанства. Налет этот довольно заметен. Социализм Маяковского с возведением вещей в единственную ценность, с его отрицанием всего «духовного» — не наш социализм. В его социализме есть элементы марксизма, но они — под густым налетом идеологии мещанина, лишенного обладания вещами более удачливыми хозяевами жизни, Вильсончик столкнулся с Вильсонищем. Революция приблизила поэта к коммунизму, но органически не спаяла его поэзию с ним.

В социализме Маяковского есть другая сторона

Коммунизм ведет борьбу и знает, что завоевание хлеба и «сластей» дает человечеству возможность устроить новое общежитие. Социализм, это — новые общественные отношения между людьми на базе обобществленных средств производства, где не будут вставать между людьми вещи, где жизнь коллектива людей не будет отражаться в кривом зер-

---

[1]) Эти стороны художественного мировоззрения Маяковского при известных условиях могут пышно расцвесть в идеологию мещанина нового времени. Достаточно вспомнить следующие превосходные строки из статьи т. Бухарина «Енчменнада» о новом «советском» торгаше:

«Он, этот торгаш,—индивидуалист до мозга костей. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он был бит бичами и скорпионами чека, надевал иногда красную мантию, становился и на «советскую площадку», получал рекомендации, сидел во узилище, теперь всплыл на снежную вершину своей лавки. Собственными локтями протолкался он и вышел «в люди». Своим умом, энергией, пронырливостью, ловкостью, меняя костюмы, приспособляясь к обстоятельствам, энергично шел по своему пути он, Единственный, «homo novus». Не на гербах предков, не на наследствах, не на старых традициях рос он: он всходил, как на дрожжах, на революционной пене, и не раз его поднимала кверху сама революционная волна. Конечно, он «приемлет революцию». Ведь он, в некотором роде, — ее сын, хотя и побочный. Но от этого у него нисколько не меньше самоуверенности, нахальства, саморекламы. Он, Единственный, питает даже надежду оттереть законных детей от революционного наследства и, пролезая через щель советского купца, думает еще раз переодеться, прочно осев в качестве самого настоящего, самого обыкновенного, уже обросшего жирком, представителя торгового капитала. Эти надежды окрыляют его. Пройдя все испытания, он мало похож на рассудительные типы Замоскворечья: он шутит, он хвастается, он форсит, он пророчествует о самом себе: «Да приидет царствие Мое». Этого царствия ждет сейчас наш крайний индивидуалист, побочный сын революции, новый торгаш.

«Этот новый торгаш, с одной стороны, вульгарный материалист; в обычных житейских делишках для него нет ничего «святого» и «возвышенного»: он привык смотреть на

кале отношения между вещами, где, словом, фетишизму вещей будет положен конец и общественные человеческие отношения найдут свое прямое, непосредственное и простое, незатемненное выражение. В социализме Маяковского пропали и провалились общественные отношения. Грядущее ему представляется как наслаждение вещами. В современном Вавилоне он увидел, как вещи «псами лаяли с витрин магазинов». И он по-дикарскому, по-перуанскому, по-детскому потянулся, привороженный их блеском и яркостью. Общая нынешняя атмосфера города покорила и подчинила его себе. Вещи оказались в руках врага, и поэт возненавидел хозяина их неистово и бешено. Но вещи смотрят не только с витрин магазинов; прежде чем попасть туда, они делаются, производятся. Маяковский в своей поэзии никогда не заглядывал — это очень характерно — в лаборатории труда, где вещи производятся, он их видел только в витринах. В противном случае, он почувствовал бы и узнал, что в современном обществе вещи выражают очень многое: они общественно, а не индивидуально полезны, на них затрачен общественно необходимый труд в таком-то количестве и т. д. Он увидал бы за вещами живой коллектив людей, искалеченный анархией, конкуренцией, но все же коллектив, а не простую сумму самодовлеющих, замкнутых производственных единиц, — он вскрыл бы за ними, за вещами, богатую общественную, хотя и искривленную жизнь, целую сеть сложнейших взаимоотношений между людьми. И он понял бы, что «суть» заключается не в вещах, самих по себе, а в этих общественных отношениях, которые скрыты, спрятаны за отношениями между вещами. Вещь — таинственный общественный иероглиф. Почему вещь такой иероглиф? У Маркса это раз'яснено с гени-

---

вещи «трезво»; он не связан никакими традициями в прошлом, не отягощен фолиантами премудрости и грудами старых реликвий — их выбросила за борт революция. Сам он вышел не из «духовной аристократии», — нет, он пришел сам из низов; он — чумазый, быстро пролезший наверх, он — российско-американский новый буржуй, без интеллигентских предрассудков. Он все хочет понюхать, пощупать, лизнуть. Он доверяет только своим собственным глазам; он, в известном смысле, весьма «физичен». Отсюда его вульгарно-материалистическая поверхность. Но в то же время он, как всякий буржуа, ходит по рыночной «тропинке бедствий»: спекулирует ли он мылом или валютой — неумолимые законы рынка часто хватают его за шиворот и заставляют вспоминать о боге и сатане. Бог ему нужен хороший, такой же хороший, как оптимум рыночных цен, бог прочный, западно-европейский, но не расслабленный бог времен упадка, а именно «оптимальный» бог, у которого еще жизнь не выщипала всех перьев. Этот бог должен выражать «радостность» его, Единственного, на котором почиет Дух святый. Такой оптимальный цивилизованный бог — не какой-нибудь дикарский — весьма по вкусу нашему торгашу. Его рыночное нутро — идеалистично и божественно.

«Наконец, новый торгаш грубо «практичен» и вульгарен, он — великий упроститель. Он ведь еще не находится в такой стадии своего собственного общественного линяния, когда ему нужны «всякие науки». Его задачи более элементарны. Ему нужны сейчас весьма простые «правила поведения»; он на практике своей должен быть грубым эмпириком».

альной мудростью: «Отдельные частные работы фактически реализуются лишь как звенья совокупного общественного труда, — реализуются в тех отношениях, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самыми производителями. Поэтому общественные отношения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют на самом деле, — т.-е. не непосредственно общественными отношениями самих лиц и их работ, а, напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями вещей» («Капитал», т. I, стр. 40).

Вещь имеет «лик скрытый». Если бы Маяковский открыл это «лицо», он, повторяем, увидел бы за ним общественные отношения людей. Тогда и социализм представился бы ему не как только счастливое обладание вещами, а как новое о б щ е с т в е н н о е устройство. Но поэт оказался фетишистом вещей. Вещи вперлись, оказались единственными в поле его зрения, приняли самодовлеющий вид, поэт вдунул в них самостоятельную жизнь, душу, как это делает любой фетишист с куском камня, дерева. И как фетишист он приписал вещам чудодейственную, исцеляющую силу, дарующую человеку и горе и счастье.

Почему это случилось? Почему Маяковский оказался в плену у вещей и проглядел за ними общественные людские отношения?

Маяковский очень одинок и далек от людей. Он не любит толпы, коллектива. Он — трибун и оратор в стихах — в толпе обособлен. Он — крайний индивидуалист и эгоцентрист. Он правильно называет себя демоном в американских ботинках: на нем почил дух эгойства, изгнания, отрезанности и отрешенности. С людьми ему скучно, и он не уважает их. Современных хозяев он ненавидит, а угнетенных не знает и далек от них по своему складу. Толпе не верит и презирает ее. Свое одиночество поэт отмечает постоянно:

Я говорил
с одними домами
одни водокачки мне собеседниками.

———

Надеваете лучшее платье,
Другой отдыхает на женах и вдовах.
Меня
Москва душила в об'ятиях
Кольцом своих бесконечных Садовых.

———

Значит опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав
нести как собака,
которая в конуру
несет
переехванную поездом лапу.

Поэма «Про это» написана в 1923 году, когда Маяковский давно уже причислил себя к барабанщикам революции. Поэма пронизана холодом вели-

кого одиночества. Маяковский нигде не находит себе места; любимая, родные мать, друзья, знакомые, товарищи, встречные — чужие ему, чужой и он им. Он мечется среди них, задыхается. Одиночество настолько глубоко и сильно, что поэт видит себя белым медведем, плывущим на льдине. Еще более жутким и символическим является образ человека, семь лет прикрученного к перилам моста. От этих страниц несет пустынями, льдами, безмолвием и безлюдием полюсов. Как говорится, дальше итти некуда.

Эгоцентризм у Маяковского необычайный. Маяковский, Маяковский, Маяковский, я, я, я, меня, мною, обо мне — голова идет кругом. При таком «ячестве» трудно стать вровень с массой, хотя бы и трудовой, увидеть себя равным, ощутить тот же пульс жизни, проникнуться людскими нуждами.

> Встрясывают революции царств тельца
> меняет погонщиков ч е л о в е ч и й т а б у н,
> Но тебя непокоренного сердец владельца
> Ни один не трогает бунт.

В «Мистерии-Буфф» главным действующим лицом является как будто пролетарская революционная масса, но стоит лишь присмотреться к булочнику, сапожнику, к батраку, машинисту, рыбаку, фонарщику, к «нечистым», и легко убеждаешься, что они не живые типы, а абстрактные схемы. Они не наполнены ничем конкретным, в них нет ничего от «о-го-го» Маяковского. Они похожи друг на друга, как игрушки в массовом производстве, их можно с успехом и без ущерба подставлять одного вместо другого, и они не менее бесплотны, не менее «духовны», чем его райские аборигены — Мафусаил. ангелы, святые, боги. Они ни холодны, ни горячи, так как поэт в изображении их был тоже ни холодным, ни горячим, а чуть-чуть тепловатым.

Из папье-маше сделан героический Иван в «150.000.000». Какой-то он весь громоздкий, несуразный, неубедительный, вымученный, надуманный и неестественный — этот человек-конь, вместивший в себя дома, людей, зверей, с рукой, заткнутой за пояс, путешествующий «яко по суху» по тихо-океанскому лону без карты, без компасной стрелки. «Чемпионат всемирной классовой борьбы» поражает своей ходульностью: Вильсон ткнул Ивана саблей. а из раны полезли броненосцы, люди, вещи и задавили Вильсона, — аллегория, ни в какой мере не напоминающая реальную классовую войну. И сколько ненужного самомнения в утверждении: «150.000.000 говорит губами моими». Гордо, но неубедительно уже потому, что людская трудовая масса поэту никак не дается: она ему не близка.

По силе сказанного, общественные отношения людей ускользают от Маяковского, уступая место фетишизму вещей. По этой же причине почти в о в с е х с в о и х п р о и з в е д е н и я х п о э т в м е с т о о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й о п и с ы в а е т в е щ и.

> В Чикаго
> 14.000 улиц
> солнц площадей лучи
> от каждой —

700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго...

Электрическая тяга, железные дороги, горы с'естного, бары, Чапль-Стронг-Отель, «за седьмое небо зашли флюгера». И Вильсон, хозяин всего, изображен не человеком, а исполинским истуканом, он подстать этим необыкновенным улицам, площадям. «Люди мелочь одна, люди ходят внизу»... Но настоящий Чикаго построен именно этой мелочью, в настоящем Чикаго у Вильсона и его прислужников сотни тысяч рабочих, служащих, женщин, детей. Упомянуто количество улиц, переулков, и забыта «мелочь», а она трудится, переплетена сетью взаимоотношений. Об этом у Маяковского ни звука. Естественно, ему кажется, что вся задача в том, чтобы подчинить, овладеть грудой вещей.

Но сказано в писании: не хорошо быть человеку едину. В древнем раю, где плоды, деревья, звери и птицы были в полном распоряжении первого человека, понадобилось, по образу и подобию его, создать Еву. Скучно, тоскливо и одиноко человеку с одними вещами. В одиночестве вечеров и ночей, когда «стоит неподвижная полночь», в неприкаянности проплеванных улиц и комнатушек, посреди давящей груды нагроможденных вещей так легко и неотвратимо создаются фантомы и феерии, и к ним прочно прилепляется человек. У демонов в американских ботинках есть своя Тамара. Она совсем иная, непохожая на лермонтовскую, но и современный демон не тот, он другой. У Маяковского есть еще одна прочная, постоянная тема — любовь.

В этой теме
 и личной
 и мелкой,
перепетой не раз
 и не пять,
Я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.

Этой теме Маяковский отдал свои лучшие, самые вдохновенные и сильные страницы. Он нашел горящие, жгучие, большие, огромные слова и образы. Он ни разу не надел, касаясь ее, желтой кофты, ни разу не покривил, не сфальшивил. Во всей нашей отечественной поэзии едва ли найдутся стихи с такой страстностью, с такой мукой, такие голые и обнаженные по чувству. Воистину это сплошное сердце, призыв и пригвождение себя, просьба и покаяние.

Может сначала показаться, что у Маяковского и тут господствует неруанское, «телесное озлобление».

А я
весь из мяса,
человек весь
тело просто прошу
как просят христиане:
«Хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Это звучит страстно и по-язычески, и языческое в «этом теле» у поэта сильно и непосредственно. Но дальше тоже про тело:

Тело твое
Я буду беречь и любить
как солдат,
обрубленный войной,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Обрубленный, ненужный, ничей солдат к своей единственной ноге относится иначе, чем здоровый. Единственную ногу он бережет по-особому, любит и следит за ней болезненно, ревниво. Сравнение на любовь героя Маяковского бросает очень своеобразный свет, языческое заслоняется другим. Мотив — ничей, ненужный — в этой теме упорно повторяется:

Ведь для себя неважно
и то, *что бронзовый*,
и то, *сердце — холодной железкой*
Ночью хочется *звон свой*
Спрятать в мягкое
в женское [1]).

— —

Птица
Побирается песней, —
Поет
Голодна и звонка,
А я человек, Мария,
простой
выхарканный чахоточной ночью в
грязную руку Пресни.

И, наконец, в последней поэме «Про это» мотив остался неизменным:

Приди
разотзовись на стих
Я всех обегав — тут.
Теперь лишь ты могла бы спасти...

Уже отмечалось, что поэма пропитана чувством ледяного одиночества. Заключительная глава «Прошение на имя» — одна из самых лучших в творчестве Маяковского — напоена тоской и «непролазным горем».

Сердце мне вложи,
кровищу —
до последних жил
В череп мысль вдолби.
Я свое, земное, не дожил
на земле,
свое не долюбил.
Был я сажень ростом
А на что мне сажень?

[1]) Курсив в статье всюду автора.

Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я в комнатенку всажен.
Вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите буду делать даром —
    чистить
        мыть
            стеречь
                мотаться
                    месть.
Я могу служить у вас
Хотя б швейцаром.
Швейцары у вас есть.

———

Воскреси
    Хотя б за то
      что я
    поэтом
      ждал тебя,
откинул будничную чушь.
Воскреси меня
Хотя б за это!
Воскреси —
    свое дожить хочу! —

так заклинает поэт химика и любимую.

Тут не одна физиология. Любовь превращена в кумир, стала религиозным чувством. Из любимой создан фантом, мираж. Одиночество, отсутствие социальных скрепов с людьми, голый эгоцентризм заставляют бежать в царство феерий, обожествлять «человеческое и простое». Не будь герой Маяковского «сажень ростом», не обладай он зычным «о-го-го» — он, наверное, нашел бы выход из своего смертного, могильного одиночества в потустороннем мире, сочинил себе подходящего бога и поместил бы его подальше от земли. Но он слишком прирос к земле, слишком любит жизнь, как она есть, и он создает фантом, кумир из своей земной любви. Поразительное дело. Ухающая, ревущая, рвущая, трубная, площадная поэзия Маяковского с открытым и грубым эгоцентризмом, с подчеркнутым презрением ко всем величайшим авторитетам и культурным ценностям, с небрежением, с равнодушием и позевотой «к табуну», как только касается «этой темы», становится кроткой, целомудренной, робкой, неуверенной, нежной, лирической, покорной, просящей и молитвенной. Герой, поставивший надо всеми nihil, ненавидящий все бытовое, сложившееся, вдруг теряет свой нигилизм, бунтарство, свою «нахальность», панибратское, снисходительное похлопывание по плечу кого угодно — Толстого, Руссо, революцию, вселенную — и становится неуклюжим и застенчивым, угловатым гимназистом 6 класса:

Я бегал от зова разинутых окон.
Любя убегал —
пуская однобоко,
пусть лишь стихами
лишь шагами ночными.

Строчишь
и становятся души строчными.
И любишь стихом,
а в прозе немею.
Ну вот не могу сказать,
не умею
Но где любимая,
где моя милая,
где
— в песне!
Любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук
чтоб признаться
чтоб крикнуть
А только из песни — ни слова не выкинуть...
Скажу:
смотри
даже здесь, дорогая,
стихами громя обыденщины жуть
имя любимое оберегая
тебя
в проклятьях моих обхожу («Про это»).

Лев укрощен, посажен в клетку, стал покорным. Голодная тоска, страстная исступленность, необузданность желания, нетерпеливое — хочу, сейчас, полностью, для меня, для одного — уступило место стиху — молитве. Крайний индивидуализм переплавился в чувство самоотверженности. Укрощенный строптивый готов ждать годы, всю жизнь, ограничивать себя, он просит лишь «раз отозваться на стих» — не больше. И если бы любимая предложила бунтарю завести герань душистую, повесить клетку с канарейкой и веселенькие занавесочки на окнах — кто знает — он сделал бы это и многое подобное не хуже других, вросших по уши в тину быта. К счастью, любимая лишила героя Маяковского этой муки, когда большого бунтаря покорно приводят в комнату с геранью и кенаром. Она вложила в него другую муку неразделенной «немыслимой» любви. И он вымаливает, просит, как нищий, боится признаться, немеет. Это про «немыслимую» любовь написано им: «и когда мой голос похабно ухает от часа к часу целые сутки, может быть Исус Христос нюхает моей души незабудки».

«Эта тема» вводит нас в психологию творчества. Почему человек делается поэтом? При каких условиях развертываются его поэтические потенции? Отчего душа становится «строчной»? Психологические мотивы бывают различные, одного ответа нет и быть не может. В «Воителях Гельголанда» у Ибсена старик-воин становится скальдом после того, как он потерял в битве семь своих прекрасных сынов. Первую сагу он создал на их могиле: волшебная сила стиха оказалась необходимой, чтобы врачевать душевные и сердечные язвы. Маяковский, подобно скальду, тоже ищет в стихе, в поэзии врачевания своих язв; он «немел в прозе» — тем пышнее он говорил в стихах. По существу — это своеобразный уход от жизни. Любимая у Маяковского —

фокус его дум и эмоций. В ней для поэта собрано все языческое, земное и ненависть к «повелителю» и к быту, и одиночество, тоска, и неврастения и «незабудки души» — вся гамма душевных движений.

Нехорошо быть человеку едину. Маяковский, убегая от сиросги и современного Вавилона, превратил земное чувство в небесную незабудку для Исуса Христа. Но божество его живет здесь, на земле, окружено тем самым бытом, который так ненавистен поэту, докучными друзьями, приятелями и знакомыми. И вот, чтобы это бытовое не накладывало своих красок и теней на «небесное», Маяковский старательно и пугливо избегает в стихах посмотреть на свой фетиш раскрытыми глазами; «громя обыденщины ложь», он оберегает имя любимой ничем не хуже, чем любой христианнейший из христиан — имя своего бога. Так всегда делают, создавая религиозные фантазмы. Иначе нельзя; иначе фантом легко развеется и растает.

Удается ли поэту охранить святое имя от настойчивых вторжений земного? Поэзия Маяковского не дает на этот вопрос прямого и ясного ответа, но надо полагать, что поэт далеко не удовлетворен своей «верой». Он слишком прикован к живой жизни. Богов все-таки следует помещать куда-то повыше и подальше и даже здесь, на земле, для них строят особые капища. Наши предки недаром отдаляли своих богов от себя. Нужно или поместить их в потусторонней сфере, или совсем разбить во имя естества о б щ е с т в е н н о г о человека, а не изолированного индивида. У Маяковского была предпосылка для последнего выхода; как будто он иногда находит его, но лабиринты кривых и узких улиц и переулков, но отрава замкнутого в себе человека то-и-дело пугают его и сбивают с пути.

Нелегко живется человеку в современных Вавилонах, если герой Маяковского большой, огромный, с небывалым запасом сил, «медведь-коммунист» создает себе культик и божество, «видом малое и отнюдь не бессмертное»!

Творчество Маяковского с громадной силой и искренностью вскрывает пред нами одну из самых глубоких трагедий нашего века.

IV. «Левый марш». О формальном и футуризме.

Октябрьская революция основательно тряхнула Маяковского. С первых дней октября он старается слиться с победным революционным потоком. Маяковский пишет поэмы, мистерию, сатиры, марши, боевые песни, плакаты, вплоть до реклам в Моссельпроме. Его голос наполняет аудитории рабфаков, комсомольцев, клубов. Он стремится приспособить свое творчество к уровню не отдельных эстетических кружков, а масс, — заботится о том, чтобы поэзия сознательно стала утилитарной, пошла на нужды, на потребу новому властителю. В наших коммунистических кругах есть скептики (Сосновский и др.), полагающие, что Маяковский подделывается под революцию и коммунизм. Это — досадное недоразумение. Маяковский искренен. В его дореволюционном творчестве нетрудно отметить ряд мотивов, созвучных победному маршу пролетариата: ненависть к прежним

хозяевам жизни, к Вильсонам, желание социалистически преобразовать, «систематизировать» мир, освободив его от капиталистической заразы, отвращение к романтике, к небесному и т. д. С революции четче стал определяться «человек» Маяковского. В «Мистерии», в «150.000.000» он попытался приблизить его к рабочему. Меньше стало «ячества», образы, язык сделались проще, очистились значительно от богемского налета и т. д. Но верно, что голос Маяковского, как уже выше отмечалось, сохранил свою обособленность, и несомненная правда, что коммунизм поэта далек от марксистского, ленинского коммунизма.

Мы
тебя доконаем
мир романтик!
Вместо вер
    в душе
        электричество
            пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать,
На пепельницы черепа!

Тут что ни слово — то поэтический провал. Коммунисты намерены изгнать «веры» из душ, но отнюдь не имеют в виду превратить души в пар и электричество. «Прикарманьте», стар — убивать, на пепельницы — черепа — звучит по-апашски. Правда, Маяковский дальше поправляется, он уверяет даже: «будет наша душа любовных волн слиянных устьем». Это не похоже на уничтожение души, но такие места не характерны для Маяковского, ибо для него существо социализма во владении вещами.

Маяковский не чувствует революцию как организованный процесс борьбы и победы со всеми трудностями и препятствиями. Очень знаменательно, что он проглядел крестьянина, о нем у него ни слова. Его Иван кто угодно, но крестьянского в нем ничего нет. Можно ли художественно правдоподобно писать об Октябре, хотя бы в вековом, дальне-историческом плане, в планетарном масштабе, скинув с поэтических счетов русского, китайского, турецкого крестьянина? Вполне естественно, что наша революция воспринята была Маяковским как сплошной левый марш. Кто-то там немного спутал, шагая правой, но это — пустяк, мелочь. Бьет барабан — левой, левой. Революция марширует левой, но она на парад не похожа. Она лежит также в тифу, во вшах, в окопах, отстреливается из осажденной крепости, терпит поражения, а главное — у нее есть спутники и союзники, их много, очень много и с ними нужно с'есть не один пуд соли, чтобы они тоже шагали левой, левой.

Отсюда схематизм, отвлеченность в революционной поэзии Маяковского, преобладание грандиозных символических образов, но лишенных плоти и крови, их надуманность, наивный кое-как скроенный примитивизм. Для примера. В «Мистерии-Буфф» есть сцена, в которой «нечистые» с целью закалить себя ставят собственные груди на наковальни: «Подходят один за другим,

работает кузнец. Стальные и выправленные идут от горна, расстреливаются на палубе». Плохо. Таких провалов у Маяковского не один и не два.

Не по-нашему звучат постоянные похвальбы, как футуристы единым взмахом «прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфети», как уничтожают они всякие «измы» и т. д. Подобные заявления звучат непростительно легкомысленно. Для левого марша, для революционера, отважно зачеркнувшего крестьянство, «культуришка», может быть, ничего не стоит, а вот тов. Ленин, весьма доходчивый до мужика, советовал неизменно и упорно для начала, не смущаясь, усваивать эту культуришку, дабы преоборотъ с ее помощью неграмотность, темь и жуть.

Уже отмечалось, что рабочий класс в его конкретности остался Маяковскому далеким.

В силу всего этого вещи, написанные поэтом после Октября, бледней, суше, малокровней, рассудочней «Флейты», «Люблю», «Человека». Несмотря на растущее и крепнущее мастерство в области формы, революционные произведения Маяковского проигрывают в своей непосредственности.

Планетарное отвлеченное отношение к Октябрю сказалось с особой наглядностью, как только наступили «будни». Окончание гражданской войны, спад революционной волны на Западе, нэп, культурничество заметно отразились на лево-маршевом творчестве Маяковского. Поэма «Про это» есть возвращение к теме и «узкой и мелкой», она — переплеск с «Человеком». Победное и громыхающее: «бей, барабан» уступило место тяжелому и мрачному чувству «медведя-коммуниста», задыхающегося в рамках мелкого быта:

Столетия
жили своими домками
и ныне зажили своим домкомом
Октябрь прогремел,
карающий
судный
Вы
под его огнеперым крылом
расставились
разложили посуды ...

Лучшие страницы в поэме относятся не к революции, а к «ней» и к «нему». Словесной бодрости не верится. Господствующее настроение передано в подзаголовках: «Баллада Редингской тюрьмы», «Спасите!», «Боль была», «Ничего не поделаешь», «Бессмысленные просьбы», «Деваться некуда», «Только бы не ты», «Полусмерть», «Повторение пройденного» и пр.

В другой большой поэме «Ленин» Маяковский вновь пытается утвердиться на революционных позициях. В «Ленине» хорошо введение, похороны — лучшее, что есть в нашей поэзии о Ленине, есть другие выигрышные места, а в основном тема не удалась поэту. Нет Ленина. Ленин — международен, но он также и наш национальный гений. У него много почвенного, «российского», у него лукавый прищуренный глаз, мужицкая сметка, и практи-

цизм, и железо, и сталь пролетарской сплоченности и дисциплины. Он деловит, волеупорен и одновременно никогда не забывает «человеческое слишком человеческое». Ленин Маяковского окаменел, застыл, стал плакатным, он не шагает, а шествует, не действует, а священнодействует. Поэт волен преображать, создавать своего Ленина, Маркса и других по образу и подобию своему, но, создавая его по-своему, он обязан добиться, чтобы читатель поверил в творческое создание поэта. В Ленина Маяковского не верится, он не убеждает. Может быть, слишком жив еще в нас Владимир Ильич, и его живая подвижная фигура заслоняет еще Ленина в стихах, и поэмах, и в прозе; скорей, однако, Маяковский мало прочувствовал Ленина.

Скучноваты и длинноваты страницы, где в стихах пересказывается развитие капитализма.

Маяковский художественно находится на перепутьи. Его огромный талант потерял необходимую установку. Перепевать «Человека» долго, безнаказанно нельзя, левый марш отгремел в его стихах, «Ленин» не покоряет, агитки и сатиры обычны и не выделяются. «Деваться некуда» и «Ничего не поделаешь» ощущается во многом, что пишет он в последнее время. Но Маяковский упорно ищет путей к новому массовому читателю; такие главы из поэмы, как похороны Ленина, показывают, что поиски производятся не впустую. Во всяком случае тянуть за упокой его душу таланта нет оснований. Новые времена — новые песни. А их не так легко сложить, сразу они не слагаются. У нас привыкли хоронить писателей. Лучше бы подумали, как им помочь. Не нужно забывать, что писатели и пролетарские, и непролетарские переживают в наше время довольно тяжкие кризисы, хотя талантами мы не оскудеваем.

О формальной стороне поэзии Маяковского писалось и говорилось много. Можно поэтому ограничиться несколькими соображениями. Ведется спор: разговорный ли стих у Маяковского. Арватов отвечает утвердительно; Сосновский утверждает, что помимо кривляний, порчи русского языка, вредной зауми в стихах Маяковского нет ничего путного. Истина лежит посредине. Маяковский в своей футуристической форме, в словотворчестве отразил основные свойства и противоречия своей натуры. Он — помесь «перуанца», «большого» человека «из мяса» с неврастенической богемой огромных городов. У него площадное «о-го-го» неизменно срывается в истерический фальцет. Стих Маяковского носит на себе все следы и «о-го-го» и этого фальцета. Несомненно, Маяковский стремится вывести поэзию из салонов и гостиных на площадь, на улицу, на митинг. Его стих враждебен бальмонтовщине, слащавости и изнеженности, скандующему и расслабленному эстетизму «поэз» кануна революции. Слово Маяковского грубое, осязаемое, материальное, его нельзя сюсюкать, его надо выкрикивать, бросать в тысячи; оно строчит, как пулемет, летит тяжелым снарядом, рассыпается дробью барабана, ухает молотом, — оно дебоширит, неистовствует, ломает, орет; ему тесно в отлитой форме и оно старается выплеснуться, разрушить,

раздвинуть рамки. Оно не с пробором, а лохматое, оно издевается и хулиганит над маэстрами и жрецами искусства.

Примитивность и грандиозность образа рассчитаны опять-таки на то, чтобы поразить, захватить самого неискушенного слушателя, массу, а не пресыщенных пенкоснимателей поэзии, врезаться этому слушателю в память без особого с его стороны напряжения — где же на площади, в аудитории заниматься проникновением в эстетические прелести.

Стих Маяковского, далее, приспособлен более к произношению, к декламации, чем к чтению «про себя». В таком чтении он явно проигрывает. Он не боится обыденных «непоэтических» слов, речений, оборотов: «никаких гвоздей», «вот это», «хотя б», «чтоб», «который», «нынче». Он — лозунговой с постоянными восклицаниями: «эй, вы», «сюда», «ахнем», «эй, века!». Любимыми знаками препинания у Маяковского являются вопросительный и восклицательный. Точку, запятую он не любит, не признает и поразительно к ним небрежен.

Но разговорный, митинговый язык Маяковского отягчен такой расстановкой и увязкой слов, таким сложным построением предложения, что часто теряет свою простоту и становится туго воспринимаемым. Маяковский прошел долгий искус литературных школ, направлений и надышался гнилыми испарениями современного Вавилона. Произошла порча неподдельно-жизненного примитива. Дело зашло очень далеко:

Каждое слово
даже шутка
которое изрыгает обгорающим ртом он
выбрасывается как голая проститутка
из горящего публичного дома!

Образ нередко извращается, от него разит кафэ и кабарэ. Предложение начинает роднится с тредьяковщиной, делается неуклюжим, манерным. Самая заправская литературщина входит в свои права. Митинговый, площадный, разговорный Маяковский есть в то же время и самый плененный этой литературщиной. Это противоречие лежит и во всей практике футуристов: никто так громко не воюет с эстетством, с кружковщиной, никто так яростно не зовет поэзию на улицу, к производству, и никто так не увлечен формальной стороной, никто так не гоняется за свежестью рифмы в ущерб содержанию и никто так не подвержен кружковщине, как именно футуризм. Футуризм более чем кто-либо повинен в иллюзиях лабораторным путем «построить» литературу.

Отрицательные, слабые стороны поэзии Маяковского с особой силой сказываются у его менее одаренных литературных спутников. Словотворчество превращается в крученотворчество, «энергичная словообработка» в вымученное изобретательство, а мастерство в звукосочетании приобретает самодовлеющее значение.

Слово, язык, стиль Маяковского являются шагом вперед к разговорному, митинговому, но они испорчены литературными «изысканиями». Это в пол-

ном смысле переходная форма. Закрепиться на слове Маяковского нельзя. Оно волнующе сильно и уже рахитично. Оно не приспособившееся, не стройное, оно все в процессе становления, а не в данности. В нем нет устойчивости. Оно походит в некотором смысле на допотопных животных, чудовищных, огромных, с необычайными органами, но неуклюжими и мало приспособленными к окружающей среде. Маяковский не хочет слушаться и повиноваться языку, пусть язык слушается и служит ему. Он берет и мнет его, как глину, коверкает и гнет по-своему. Но слово — организм. Оно поддается далеко не всякой операции.

Самое опасное подражать Маяковскому. Когда он пишет: рвя, оря, жря, поя и т. д., это не диссонирует, не режет слух: тут рвется «сплошное сердце», большая глотка, ручище, язычище, головище и т. д., но если это начинают проделывать эпигоны, у которых ни язычища, ни ручищи нет, выходит визгливо, безграмотно и ненужно.

Маяковского спасает бездна таланта, только благодаря наличию его он часто справляется со «словотворчеством», и оно у него далеко не всегда выглядит ходульным. Наоборот, с его насилием над словом сживаешься, ибо оно связано с «нутром» поэта. Даже в шаблоне он не шаблонен. Умелым звуковым подбором, чем Маяковский владеет в совершенстве, он достигает того, что шаблонные слова начинают звучать по-новому.

Несмотря на ряд надуманных и нарочитых образов, искаженных городскою клоакой, Маяковский и здесь большой мастер: «в гниющем вагоне на сорок человек четыре ноги», «ревность метну в ложи мрущим глазом быка», «ямами двух могил вырылись в лице твоем глаза», «гвоздями слов прибит к бумаге я», «упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного», «а сердце рвется к выстрелу, а горло бродит бритвою» и т. д., — это целит и попадает в цель.

Безусловны энергия и стремительность языка Маяковского. В частности поэт равнодушен к носовым и мягким звукам и явное предпочтение отдает губным и шипящим. Любимыми буквами в его алфавите являются: б, в, ж, ш, щ.

Маяковский не только в содержании, но и в форме все больше отходит от футуристических крайностей. Его язык теряет экстравагантность и крученность и явно идет по пути приспособления к аудиториям рабфаков и комсомола. И все же народным поэтом, поэтом миллионов Маяковский не будет; слишком индивидуалистична его поэзия, слишком много в ней ненужного футуристического груза, словесной эквилибристики, жонглерства, формалистических «уклонов», литературщины. Кто-то иной,—вероятно, иные,— более счастливо приспособит к нуждам и вкусам масс его митинговость, разговорность, вещность и материальность слова, плакатность и кричащую яркость образа, энергетику языка, напряженность и силу его. Несомненно, что положительные стороны формального творчества Маяковского контактируют во многом с нашей эпохой, но поэзии его недостает простоты и общественности, и эти недостатки, повидимому, органические. Впрочем, Маяковский еще молод, он усиленно ищет новых путей. И потом громада таланта.

И один совет, если хотите: Маяковскому очень, очень полезно и своевременно присмотреться к крестьянину. Маяковский оставил его за бортом своего творчества и за это жестоко порой платится. И не оттого ли у павлина моментально вылинял великолепный хвост, что поэт слишком легко забыл поле, землю, лес и рожь?

«Лицом к деревне» — это неплохой лозунг и для Маяковского.

Наша статья — о Маяковском, а не о футуризме. Но Маяковский — лидер русского футуризма и наиболее яркий его представитель. Сказанное о Маяковском целиком почти нужно отнести к футуризму. Остается лишь немного добавить.

Футуризм был реакцией против символизма, салонности в поэзии и против безыдейной, бескрылой, созерцательной художественной прозы, господствовавших в нашей литературе пред появлением футуризма.

Символизм за видимым, осязаемым, здешним старался узреть «туманный ход иных миров». Реальный мир — только символ другого таинственного, неведомого, потустороннего. Вещи, явления, события — тайнопись невидимого и непостигаемого умом. Символизм, таким образом, был насквозь идеалистичен и мистичен. В поэзии он соответствовал богоискательству и теософским системам, пышно расцветшим у нас в интеллигентской среде, отряхнувшей прах от завиральных революционных идей.

С другой стороны, быстрым темпом шло приспособление музы к вянущим, пресыщенным, «утонченным» вкусам господствующих классов, уже ущербленных.

Мало отрадного было в реалистическом направлении. За исключением небольшой группы писателей, стремившейся найти выход в растущем и крепнущем пролетарском движении, Реализм того времени был плоск, внутренне пуст и бесплоден. У него не было перспектив. Он был скучен и убийственно сер. Он старчески дряхлел. Бунин, Андреев, Арцыбашев, Винниченко и пр. стояли в тупиках. Еще более безнадежна была русско-богатственная проза. Тупик этот с особой наглядностью был вскрыт войной, когда в нестерпимом ура-шовинизме увязла почти вся «большая» литература.

Футуризм начал фактически с протеста против символистических и иных исканий «иных миров». Если отбросить его кривляния, желтую кофту, жонглирование словами без смысла, крик и гвалт, то именно в этом бунте надобно искать истоков футуристического напора. Против всего романтического, «духовного», христианского, потустороннего во имя мяса, вещей, во имя мира, как он есть, против небесных сластей за хлеб, за тело, за жизнь с ее примитивными инстинктами, против расслабленного эстетства, против созерцания и глазения.

Футуризм об'явил также войну быту и бескрылому реализму. Он возвел бунтарство в принцип, в самоцель, об'явил крестовый поход против всего, что стоит на одном месте, сделав «бег дней» своим богом. Быт, утверждали футуристы, сам по себе является реакционной силой, всякий быт, он пошл, дрябл.

Он враждебен поступательному движению человечества. Он формируется современными хозяевами жизни, поставившими надо всем доллар. Искусство, упирающееся в быт, тоже косно, бесхребетно, мелко. Оно не видит, не может увидеть грядущего, а только для него и во имя его и стоит работать художнику.

Казалось бы, что выступление футуризма могло рассчитывать на горячую поддержку со стороны всех, кто боролся в рядах пролетариата за переделку старого общества на новых началах. Между тем футуризм был встречен марксистской критикой более чем холодно. Футуристы об'яснили и об'ясняют это тем, что революционные марксисты, мол, в области искусства оставались и остаются консерваторами. Однако, дело не в этом. Причины гораздо глубже. Их надо искать в самом футуризме.

Футуризм выговаривал часто нужные слова, но выговаривал их косноязычным языком. Борьба против мистики в искусстве была очень ко времени. Провозглашение права на хлеб и сласти, на удовлетворение так называемых животных потребностей некоторым образом совпадало с движением низовой массы, реалистической и материалистической по духу. Но реализм футуристов был наивным, дикарским реализмом, не переплавленным в диалектике Маркса. Отсюда — заносчивое самохвальство и пренебрежение к старому культурному духовному наследству, умаление умственных и нравственных запросов. Борьба против быта приводила к отрицанию всякой данности; диалектический процесс истолковывался зеноновски, софистически. Протест против современного мещанства обессиливался густым налетом мещанского индивидуализма. Потребность в новом массовом, хлещущем слове удовлетворялась на деле часто крученотворчеством и т. д. Футуризм с головы до пят был окутан кружковщиной, эстетством. Он вышел из тех же самых кругов, он был сродни тем самым литературным группировкам, которые блуждали, оторванные от земли. Он был не исподним движением поднимающихся на борьбу масс, а делом кучки интеллигентов, социально оторвавшихся от пуповины буржуазного общества, но далеких от нового демоса. Он был протестом одиночек, ревниво оберегавших свои маленькие индивидуалистические мирки. Он рос и развивался в стороне от мощного революционного пролетарского потока, не знал и не любил этого нового демоса. И протестантство футуризма висло в воздухе, обрывалось на полукрике, здоровое, сильное срывалось в индивидуалистический демонизм.

Надо полагать, что футуризм сказал свое слово. Он — прошлое. Собственно это признают и сами футуристы: ненароком они переименовали себя в «Лефов», в левый фронт искусства. Судьба их журнала «Леф» еще более убеждает в этом. «Леф» остался журналом очень небольшого кружка читателей и писателей. Массового читателя он не собрал. Он не собрал даже своих, не сказал никакого нового слова, не дал ни одного образца своей лефовской прозы, а в стихах перепевал свое старое. В области критики «Леф» покорно пошел за формальной школой, игнорирующей содержание (это в наши-то дни!). «Леф» захирел не случайно и не от тяжкой руки Госиздата.

Но у футуризма есть свои заслуги. О них мы говорили. Претензии футуристов говорить от имени коммунистического искусства, по меньшей мере, неосновательны, но в создающееся с таким неимоверным трудом новое революционное искусство переходного периода футуризм вставляет свои слова. Этого не следует забывать. Недаром у футуристов есть последователи среди писателей комсомольского и пролетарского лагеря, недаром Безыменский, Жаров и многие другие вышли из Маяковского.

«Лефы» на распутьи. На распутьи и Маяковский. Но Маяковский шире и больше и футуризма и «Лефа». Если футуризм и «Леф» — в прошлом, то Маяковский весь еще в настоящем и, может быть, в будущем.

В наших марксистских коммунистических кругах о Маяковском принято думать, что в поэзии он является исключительно представителем интеллигентской, индивидуалистической богемы периода снижения, упадка и разложения буржуазной культуры. Наш анализ во многом подтверждает такое воззрение. Тем не менее его следует ограничить. В творчестве Маяковского отразилась наша эпоха и в более широком масштабе. В его поэзии и кусок того «общечеловеческого», без которого нет большого поэта и писателя. «Перуанец», низкое и здоровое «о-го-го», гибнущее и замирающее в каменных склепах современного Вавилона, человек в сажень ростом, превращенный «моментально» в демона в американском пиджаке и в истерика, — это проблема, во всей сложности и остроте поставленная сверх'империализмом новейшего покроя и далеко выходящая за пределы узкого богемского литературного кружка, его интересов и психологии.

Но «человеку» Маяковского нужно больше материализироваться и приобрести суровые, но отважные черты человека, расковывающего мир. У Маяковского человек, несмотря на голосище, ручище и т. д., слишком отвлеченен и бледен, может быть оттого, что Вавилон выпил и высосал у него слишком много крови и жизненных соков.

Могила А. П. Чехова.

Бор. Пильняк.

На кладбище в Новодевичьем монастыре от человека остался белый камень, очень тихий, очень скромный, такой нестеровски-левитановски-чеховский, — и на этом камне высечено: Антон Павлович Чехов. По веснам есть такая воля — уйти к самому себе, за город, поодиночествовать, подумать, — 17 номер трамвая доходит до Новодевичьего монастыря, пройти тишиной средневековья, деревянные панели, такие домики у стен и башен, — и там могила Чехова, — на могиле высечено: Антон Павлович Чехов.

Но там же, написано чернильным карандашом и нацарапано гвоздями,— вот эти записи. Мне больно их читать, — вам больно их будет слушать. Я сохраняю и стиль, и имена; они написаны — нет, не только дураками, иные из этих писавших — любили Чехова, — это наши российские пошлость и «шапками закидам», наше панибратство. Выписываю:

Чехонте Антоша, люблю тебя! В. Т. Панфилов.

Трафимов, Беркин — спи с миром.

Ты правдив, хотя в твоих произведениях сквозит насмешка, но тоже правдивая.

Ты умер, но сильна твоя память. Писатель творец Чайки!

Чехов — мой идеал. Я люблю твой великий театр! П. Пожаров.

Хоть бы дозочку отдал нам своего таланта, для русских сомнений, которые не умеем писать.

Кстати ставим сегодня Медведя, приходи на наш бенефис.

15/IV—24. С. Козлов.

Никто не знал печальней смеха,
Никто не обличал так ложь,—
Но ты, но ты, Антоша Чехов,
Ты навсегда средь нас живешь!

13/IV—24.

Хотел плакать по тебе, да луку не принес! А. Бе — — — в.

Умри во время! — изречение мудрецов.

Перед от'ездом из Москвы с больной ногой все же пошла поклониться твоему праху. Ты всегда будешь жить в моем сердце. Шкраб М. П.

Великому учителю русского слова от учителя-хлебороба-фронтовика.

В лучший день нашей жизни — Зоя и Костя.

И еще надписи, надписи на могиле Чехова:

Антон Павл.! Вас больше опошляют подобными надписями, чем сочувств. Нэдель.

Чехов, я люблю твою Каштанку!

Народ, который ты так любил, теперь возрождается.

Мещанства много в тебе, но хорошо, что воевать смел.

Сию надпись посвящаем дорогому всем писателю. Сегодня посетили твою скромную могилку, чем-то хорошим повеяло на нас при виде ее, и невольно вспомнился ты... Уж много лет прошло, но память по тебе не умерла среди нас, нового поколения, и не умрет, мир праху твоему! Варя Толецких, Леля Шер.

Многие славят тебя, а мы, стоящие здесь, и некоторые многие другие, говорим спасибо, что ты свои праздные дни не совсем праздно проводил, а попортил много бумаги.

Дружище! Были сегодня у твоей могилы и вспомнили старину. Помнишь, Антоша, как мы с тобой на этом самом месте сидели с тобою с Машей? Ну, брат, прощай, кстати зима была суровая, ты дружок должно замерз, не важно, будет и на твоей улице праздник. Прощай — пошли к бабам по-стариковски, кстати они теперь очень наглы! 27-го марта 24 г.

Все эти — простите — «изречения» я списал в Новодевичьем монастыре, с могилы Антона Павловича Чехова, прошлой весной. Есть такая воля — веснами, когда Москва расползлась в ручьях и неприятно, что солнце режет глаза только из луж — поехать на 17 номере в Новодевичий, в тишину, спуститься к реке, посмотреть на Воробьевы горы, продумать себя за год, — а потом пойти к могиле Чехова, постоять около, додумать последнее. У Арбатских ворот продаются гиацинты, и надо таскать под мышкой горшок гиацинтов, чтобы поставить у Чехова, у белой могилки. Такие весенние, расплеснутые дни — никогда не жалко, и вечером, когда идет разговор, как прошел день, где был и что делал, — надо со смущением отговориться: — «так, знаете ли, бродяжничал, ничего» — потому что такие дни хочешь оставить только для себя.

Человеческие глупость и пошлость, которых так боялся Чехов, не умерли с «Ивановым-седьмым». Человеческая глупость и пошлость окатила могилу Чехова. И это наш долг и наша честь — отмываться от пошлости и бороться с ней, — ибо Чехов жив не только бичом «Иванова-седьмого», но и тем — и это главнейшее, и это прекраснейшее, — тем, что каждую весну тревожит человека расплеснутым солнцем, расплеснутым днем, когда ясно, что солнце, лужи, сумерки, суглинки Воробьевых гор, москворецкие полыньи — значительней конторских, твердых, как грифель, дней.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

М. А. Алданов. Девятое Термидора. Книгоиздательство „Слово“. 1923. Стр. 375.

Не в первый раз использовывают различные авторы события французской революции, как канву для расшивания по ней узоров своей ненависти ко всему революционному. Алданов, один из наиболее злопыхательных представителей зарубежной белогвардейщины, пошел по этой же, проторенной самим Тэном, дорожке и выпустил роман „Девятое Термидора“.

Роман этот является первой частью трилогии „Мыслитель“. „Мыслитель“ — это дьявол и делом его дьявольских рук является, повидимому, революция, описанная в рассматриваемом нами романе.

В соответствии с этим автор рисует эту революцию весьма неприглядными чертами и пользуется для изображения ее лишь самыми мрачными красками. В сущности, он изображает нам не самую революцию, а лишь революционную накипь. Женщина-полупроститутка, приходящая в любовный экстаз при виде казни и крови, спекулянты, жиреющие на поставках для революционной армии, притоны и игорные дома, в которых эти же спекулянты спускают свои не добром нажитые деньги, и, наконец, эмигранты...

Последние изображены, может быть, удачнее всего из изображенного автором, относящегося к революции. Здесь наш автор писал уже прямо pro domo sua. Так, епископ Отенский, тип злостного сменовеховца, выглядит, как живой. Прямо к современному положению белогвардейской эмиграции относятся те слова, которыми граф Воронцов [1]) оценивает состояние тогдашних эмигрантов: „Вообще у многих эмигрантов есть единственный верный секрет спасения Франции. Идейный разброд полный; поистине странное зрелище: все они переругались, все они друг друга в чем-то обвиняют, ненавидят друг друга едва ли не больше, чем якобинцев, и, разумеется, все выражают истинную волю Франции“ (112).

Ну, а как обстоит дело с изображением самой революции? Прежде всего, что она собою представляет? Пьер Ламор, один из персонажей алдановского романа, враг революции и циник, дает такое определение революции (при чем ни из чего не видно, чтобы сам автор расходился во взглядах на сей предмет с персонажем своего романа): „Произошло самое скверное из ауто-да-фэ — сожжение фиговых листочков. Люди чувствуют время от времени потребность скинуть с себя совершенно все цепи так называемой культуры... Всякая революция по самой природе своей ужасна и другой быть не может. В душе человека дремлют тяжелые страсти: зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да просто жажда зла во всех его формах...“ (199).

Если мы вспомним, что, по мнению нашего автора, революция есть дело дьявольских рук, то такая характеристика ее в устах Алданова-Ламора нам будет вполне понятна. Один из немногочисленных выведенных в романе сторонников революции уверял молодого героя этого романа (кстати сказать, характерно, что „героем романа“ является русский офицер, выполняющий в революционной Франции по поручению Питта шпионские обязанности), что революция имеет музыкальный голос, но сам Алданов замечает, что его герой так и не слышал этого „мелодичного голоса революции“ (256).

Воистину „могий вместити, да вместит“. Пережил человек величайшую из бывших в мире революций, был свидетелем колоссального массового движения и ничегошеньки ни в том, ни в другом не понял

[1]) Русский посол в Лондоне в эпоху французской революции.

Одним словом, наш автор сохранил в полной неприкосновенности весьма первобытное историческое мировоззрение.

„Кто создал великую Россию? — говорит граф Воронцов (и опять, видимо, Алданов вполне согласен с мнением и этого своего персонажа).— Народ. Да. Конечно, хоть народ в России, как и везде, глуп совершенно... но без царей он не сделал бы ничего...“ (159).

А раз „цари“, т.-е. отдельные личности, делают историю, то и революцию совершают тоже отдельные личности; поскольку же революция — совокупность диких, гнусных и безобразных событий, постольку и совершается она или негодяями или безумными, одержимыми людьми...

„Лепелетье был, разумеется, прохвост, как почти все революционеры“,—говорит уже не раз нами упоминавшийся Пьер Ламор.

Заговор против Робеспьера, по мнению Алданова, был составлен „несколькими отважными, беспринципными и бесчестными людьми, которым нечего было терять“ (259).

Вот несколько штрихов нарисованного Алдановым портрета Дантона: „Его чудовищный голос охрип от вдохновенно бешеных речей в собрании. Глаза налились кровью от волнения и бессонных ночей. Дантон был почти безумен“ (126).

Когда Робеспьер читает свою последнюю речь—„Духовное завещание“, его единомышленник Давид с ужасом замечает в глазах своего друга „странный огонек“, который он видел в глазах у одного из тех сумасшедших, которых он когда-то ходил изучать в Шарнтон“ (289).

Даже англичанин Пристлей, сочувствующий революционным якобинцам, выведен полусумасшедшим чудаком лишь по странному капризу своего характера — итти вразрез с общественным мнением, этим якобинцам сочувствующим (136).

Наконец, „Девятое Термидора“, „одно из величайших событий в мировой истории“ (предисловие, стр. IV), было совершено всего лишь, охваченным безумным порывом страсти к мадам Кабарю, Тальеном (330 — 337).

Безумец Дантон, сумасшедший Робеспьере кровавый безумец Марат (к тому же, о ужас, всего лишь ветеринар по профессии!..), но где же, спросим мы, революционные массы, те массы, которые в пламенном революционном порыве голыми руками брали твердыни Бастилии, устилали своими трупами площадь перед дворцом Тюльери, и совершали революции 31 мая — 2 июня?

Нет никаких масс — есть „подонки населения, из которых состоит 21 тысяча революционных комитетов“ (258), есть бессмысленная толпа (народ везде глуп,—говорил Воронцов), слепо, без всяких видимых причин, идущая за своими безумными, гипнотизирующими ее вождями.

Герой романа Шталь никак не может понять охватившего его при виде Робеспьера восторга и впоследствии приписывает это свое настроение „мгновенному опьянению, странной заразе, перехваченной у обезумевшей толпы“ (304).

Таков тот нехитрый базис философско-исторических воззрений, на котором Алданов строит здание своего романа. Что сказать об его художественной стороне? Не без мастерства, но и не без влияния Анатоля Франса сделан несколько претенциозный пролог, великолепны страницы, посвященные описанию двора Екатерины, хороши портреты Питта, епископа Отэнского, графа Воронцова и екатерининских вельмож...

Но для нас гораздо интереснее не анализировать художественные достоинства романа „Девятое Термидора“, а вскрыть его социальный смысл. Что знаменуют собою эти писания и что они собою означают? Пусть цитаты, взятые из самого романа, ответят нам на этот вопрос.

„Революция ничего творить не может“,—восклицает Пьер Ламор (255). А так как, в противовес этому мнению Алданова-Ламора, революция на самом деле творить может и из ее творений наиболее ощутительным для белогвардейских боков является революционная армия, наш автор и утешает себя следующими, влагаемыми в уста того же Ламора, сентенциями: „Ведь теперь многие вменяют в заслугу революционерам, что они создали армию... да, у нас всегда были и будут прекрасные войска. Революционная армия многочисленна и по качеству недурна, приблизительно такая же, какая была у нас при Людовике XIV или Франциске. Отчего бы ей стать лучше или хуже?..“ (206).

Но этого мало, надо же иметь какую-нибудь надежду на гибель ненавистного,

революцией созданного порядка. Нужды нет, что он существует уже несколько лет, пусть он существует хоть целые десять лет, Ламорам-Алдановым грезится близкая реставрация. „Предприятие Дюмурье — первая попытка; первая попытка обыкновенно терпит неудачу... но последнее слово еще не сказано, — повторяю: не Дюмурье, так другой. Лет через десять все будет кончено...“ (206).

О, сколь сладко, надо полагать, звучат эти слова для эмигрантского уха. В назидание и в утешение этим эмигрантским душам Ламор заявляет: „Это наши неизлечимые эмигранты убеждены, что через месяц революция кончится и они вернутся к власти во Франции, перевешав всех мятежников. У власти-то они будут — эмигранты почти всегда приходят к власти, даже самые глупые, но очень не скоро“ (206).

Слышите, „даже самые глупые“, вот радость-то; правда „очень не скоро“, но ведь это все-таки лучше, чем „никогда“, к тому же ведь и „самые глупые“... Вот в этих-то обещаниях, в этих-то построенных на фу-фу надеждах и заключается общественный смысл романа „Девятое Термидора“. Короче говоря, эмигрантской белогвардейщине в настоящее время остается, видимо, одно только утешение: надеяться на исторические аналогии: „Французская революция завершилась бонапартистским переворотом,—говорит Алданов каждой строчкой своего романа,—ждите и надейтесь! Таким же переворотом окончится и революция русская“.

С. Моносов.

Г. Никифоров. В окружении. Рассказы. Государственное Издательство. 1925 г. Стр. 86.

„...Мы говорим: рабочим предстоит пережить пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет гражданских войн и битв народов не только для того, чтобы изменить общественный строй, но и для того, чтобы переделать самих себя“.

Так писал Маркс, указывая на те величайшие трудности, которые связаны с отречением от старых традиций. Можно отчетливо чувствовать в себе биение новой жизни и в то же время оставаться во власти старины, которая переливается в наши жилы вместе с кровью минувших поколений. Помимо собственной воли неистребимо цепкие корни привычки прикрепляют нас к прошлому; и последнее, даже будучи сломлено и низвергнуто, продолжает все-таки всплывать и кружиться в глубине мятежного сердца, как обломки разбитого корабля всплывают среди кипящей пены бушующих волн. Новая правда против воли вынуждена уживаться рядом со старой ложью, жить „в окружении“ последней, отравленная ее зловонным дыханием.

Рассказы Г. Никифорова представляют живые иллюстрации на эту тему. Это небольшие бытовые картинки, громко и ярко кричащие о социальной прикрепленности к прошлому.

У Г. Никифорова есть значительный запас наблюдений в этой области. Он знает, как крепко держит своих питомцев в плену мещанская улица и каких усилий стоит вчерашнему ножевику, сутенеру и воришке перевоплощение в рабфаковца и комсомольца. Этому постоянному возвращению к своей „уличной“ природе и борьбе со своим „первобытным“ состоянием и посвящен рассказ Г. Никифорова „Две смены“. „Уличной“ гарью отравлены все радости Федьки — и любовь, и гордое стремление к знанию, и борьба за новую правду. Ибо, ступая в ногу и смыкаясь в тесные ряды с той юной ратью, которой удалось подняться со дна, Федька знал и видел, что за спиной его остаются сотни тысяч юношей и подростков — полураздетых, в лохмотьях, в опорках, с босыми ногами и навеки отравленной душой. Эта „страшная смена“ хорошо описана автором.

Так же богата бытовым содержанием несложная история рабочего Кочнева с простым заглавием „Натура“, в душу которого въелась проклятая привычка к водке и брани, привычка, ставшая его второй натурой и причинившая ему немало жестоких мук.

Той же мыслью об отравленной радости и страшной проказе тьмы и невежества, в окружении которых живет вся молодая Россия, объединены и два других рассказа Никифорова —„Володька в окружении“ и „Окурок“. Особенно хорош последний рассказ, носящий глубокий обобщающий смысл (город „в окружении“ деревни) и облекающий мысль автора в трагическую форму.

Рассказы Никифорова написаны живо и просто. Его образы не поражают неожиданностью. Его описания, краски, слова не отличаются яркостью. Но это содержательный писатель. Он заставляет думать. В многообразных капризах жизни, в беспрерывном потоке событий он наблюдает и сопоставляет факты, чтобы сделать из них крепкие выводы. Он берет самое незначительное приключение („Окурок“, случайно брошенный людьми, с избытком вкусившими от цивилизации, в лицо темному мужику) и возносит его на высоту трагедии. К большим достоинствам автора относится также его уменье вести живой рассказ. Современный читатель хочет, чтобы ему рассказывали, требует рассказа во что бы то ни стало.

Л. Войтоловский.

С. Есенин. Стихи (1920 — 1924). Изд. „Круг“. Москва — Ленинград.

Хорошо сделанных, грамотных стихов в литературе нашей необычайно много, подлинной же поэзии в ней, к сожалению, необычайно мало. Все труднее и труднее делается писать об этом именно поэте (имя-икс), потому что современные наши стихи похожи друг на друга, как негры, как монгольские лица. Большей частью живой поэтический голос подменен весьма искусными руладами стальных соловьев, в хоре которых обаятельно одинок и неповторим голос есенинских стихов. Да, он не целиком современен по своим настроениям. Ему чужда индустриальная радость растущих городов, ему ненавистна нарушенная тишина травяной, лесной, избяной России. Но разве наше небо так густо уже покрыто фабричным дымом, чтобы поэт мог окончательно разлюбить исконные, первобытные просторы русского пейзажа? Конечно, нет. И в этой своей любви поэт не одинок ни среди лучших активистов нашей эпохи, ни среди творцов русской художественной литературы, лучшие страницы которых еще до сих пор остаются для нас радостно овеянными именно этим запахом трав, лесов и степных просторов. Но если наивные российские природофилы когда-то думали, что от неумолимых законов прогресса можно спастись евангельскими цитатами и подчеркнуто русским стилем костюма и церквей, то Есенин великолепно видит, что победа техники над беспомощной простотой природы неизбежна.

Пусть встрепенулась древняя мельница своим „мукомольным ухом“, пусть „почуял беду над полем здоровый молчальник-бык“, обращаясь к лугам и поселкам, Есенин говорит:

Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом
Тянет к глоткам равнин пятерню.

Невозможность устоять против победных шагов культуры дана в образе незабываемого есенинского жеребенка, пытающегося обогнать поезд, „тонкие ноги закидывая к голове“. С волнующей скорбью и нежностью кричит ему вдогонку Есенин:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится,
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

И как бы ни сердился поэт на железобетонные щупальцы города:

Чорт бы взял тебя, скверный гость.
Наша песня с тобой не сживется...,—

колесо истории не повернется в другую сторону, не догонит, не обгонит поезда „милый смешной дуралей“:

Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег.

Но быть побежденным—значит не примириться с врагом, а вдвойне его возненавидеть.—Старая Русь теперь—затравленный волк, за которым гонится свирепый и беспощадный охотник:

Зверь припал... и из пасмурных недр
Кто-то спустит сейчас курки.

Показалось, что волк победит, и поэт ликует в нетерпении увидеть расправу зверя:

Вдруг прыжок... и двуногого недруга
Разрывают на части клыки.

Но эта вспышка надежды отчаяния скоро гаснет.

Гибель очевидна и неизбежна. Но сдаться без боя невозможно. Осталось всего несколько секунд жизни, но пусть будут они полны непримиримой ненависти и сопротивления. И в эти роковые мгновения поэт отождествляет себя с затравленным зверем:

О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу.
Как и ты, я, отвсюду гонимый,
Сред железных врагов прохожу.

Как и ты, всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но попробует вражеской крови
Мой последний смертельный прыжок.

Не любит Есенин города. Но нет в поэте спокойной любви и к деревне. Любовь эта неотвязная, но больная, неврастеническая, полная кошмаров:

Взбрезжи полночь луны кувшин
Зачерпнуть молока берез.
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост.

Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад...

Порою кажется поэту:

Нет любви ни к деревне, ни к городу.
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Но такие настроения недолго живут в душе Есенина. Поэту, „нежно больному вспоминанием детства", не уйти от заросшего пруда и от хриплого звона ольхи. Втянутый в Москву кабацкую, в компанию босяков, проституток и безносых гармонистов,— он все же лелеет мечту:

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Озорство и нежность, тревога и усталость разлиты по всем стихотворениям этой книжечки Есенина. Но где же ключ к разгадке этой неуравновешенности? Не в этой ли чуть-чуть обнаженной строфе, обращенной к любимой женщине:

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Одна из ошибок в том, что тематика стихов Есенина (очевидно, и жизни поэта) крайне ограничена: 1) деревенский пейзаж и воспоминания детства, 2) город — кабаки и беспорядочная любовь и, наконец, 3) преждевременная усталость.

Индивидуальный мир поэта слишком одинок и единственен, как маленькое озеро потерянное в финляндских горах. Его не питают и не пополняют притоки, берущие свое начало от большой вселенской идеи, от героики и трагических усилий могучих и беспокойных человеческих масс. Отсюда и непростительная в юношеские годы усталость, и сознание своей ненужности современной России.

Ах, родина. Какой я стал смешной.
На щеки впалые сухой летит румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Хочется думать, что это не совсем так. Не может быть смешным и ненужным нам такой большой поэт, как Есенин. Хочется верить, что он не ограничится старческим смирением перед бодрым шагом молодой России, а найдет в себе силы полюбить ее и воспеть с такой же убедительностью, как он любит и воспевает „страну березового ситца" и „кипяченых черемух рать".

Федор Жиц.

Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Изд. „Атеней". Ленинград 1924 г. 196 стр.

Если меня спросили бы, кто из моих современников больше всего собою доволен, я бы, не задумываясь, ответил:

— Виктор Шкловский.

Как кокетливая женщина, вертится он перед зеркалом, улыбаясь самому себе:

„Я человек остроумный"..., „у меня очень заметная голова... со лбом сильно развернутым".

Что ж?— Все это очень похвально.— Но если остроумие использовано автором в полной мере (книга написана легко и живо), то широко развернутого лба

Шкловского — способность к глубокому мышлению — ни в одной строчке „Сентиментального путешествия“ не видно.

Автор бравирует тем, что он ни большевик, ни меньшевик, ни эсер, ни белогвардеец, а просто редкий экземпляр человека — Виктор Шкловский, который готов, по мере сил своих, оказывать всем без исключения маленькие „политические“ услуги:

пришел ко мне человек и говорит:
„— Устрой у нас броневой отдел, мы разбиты вдребезги, сейчас собираем кости“...

Шкловский не может отказать в таком пустяке и формирует автомобильный отряд эсеров против большевиков.

В другом месте сообщает Шкловский:

„Я не удержался и вписался к меньшевикам. Именно к ним, чтобы быть со знакомыми“.

Или:

„Меня попросили поступить в броневой дивизион на случай. Я сперва пошел в крепость, в о т р я д С к о р о п а д с к о г о“.

Автором руководит во всех этих случаях безголовый автоматизм, озорство, нигилизм. Как по натертому паркету, скользит он по периферии явлений войны и революции, не пытаясь найти, нащупать логический стержень событий. Оттого и рассыпаются „политические“ наблюдения Шкловского на ряд анекдотических эпизодов, ничем меж собою не связанных, напоминающих изорванную и небрежно, в потемках, склеенную ленту кино. Да что может увидеть человек, который сам про себя откровенно говорит:

„Много ходил я по свету и видел разные войны и все у меня впечатление, что был я в дырке от бублика“

По Шкловскому это значит: все суета сует.

А мы полагаем, что бесполезно перед глазом, залитым бельмом, демонстрировать разнообразную (прекрасную и трагическую) сущность жизни. Ему дано лишь видеть туманные тени.

Развязный тон книги, очень часто напоминающий нескучную болтовню остроумного конферансье, вытекает из этой именно слепоты Шкловского к глубинной сущности фактов. Для него шелест страниц истории — не напряженные в серьезной борьбе мускулы, а бескорневые фактики, для чего-то поливаемые человеческой кровью. Не понять, что могло толкнуть, при таких взглядах на вещи, Шкловского на передовые позиции борьбы, вместо того, чтобы сидеть по-розановски около своей „мамочки“ и читать авантюрные романы. Ведь страдания, лишения, голод, ранения приобретают смысл лишь тогда, когда за ними идея, их просвечивающая и обусловливающая. Ведь не дырка же от бублика заставляет людей заниматься и революцией и контр-революцией и всякими другими серьезными делами. Вот почему, когда Шкловский уверяет, что все описываемое в „Сентиментальных путешествиях“—чистейшая правда, невольно думается, что здесь не быль, а один из „приемов“ опоязовца Шкловского.

Интересны воспоминания писателя о „серапионах“, заметки о Блоке, подмеченные черточки в Горьком.

По четкости и скупости рисунка великолепна характеристика ленинградского боговеда и балетомана:

„В комнате с амурами на потолке жил Аким Волынский. Он сидел в пальто и в шапке и читал отцов церкви по гречески“.

Но в целом крайне легковесна книга. — Основной ее недостаток в том, что у Шкловского нет своей о р г а н и ч е с к о й темы. Недостаточно у м е т ь петь, — надо иметь, ч т ò петь. А Шкловский, умея писать, совершенно не знает, о чем ему надо и хочется писать. Улицы Аткарска, родословная его бабушки, Блок, революция, мотор „Гном“, рецепт, как надо использовать мерзлую картошку, и многое, многое другое,— все это с одинаковой беспечностью и поверхностностью попадает в поле зрения писателя. Свою м е л к о в о д н о с т ь, впрочем, и сам Шкловский хорошо видит:

„Я пишу, но берег не уходит от меня... Мысль бежит и бежит по земле и все не может взлететь, как неправильно построенный аэроплан“...

Очевидно, ф о р м а л ь н о е смешение элементов творчества, поклонником которого является Шкловский, не может дать ценных продуктов мысли и художества.

Федор Жиц.

Сергей Клычков. Сахарный немец. Роман. Изд-во „Современные Проблемы“. Москва. Стр. 303.

Материалом для романа взята великая империалистическая война. Этот материал оформлен через восприятие русского крестьянина. Тема романа — крушение сказочной, старозаветной народной культуры. Основной идеей романа является сугубое, органическое отрицание, точнее — отвращение мужика к войне, вражде, убийству. Эта идея обнажена автором в последней главе, где чорт забирает в свой мешок обоих убийц — „и святого, и разбойника“ и где душа Зайчика, главного героя романа, окончательно распадается под тяжестью совершенного им убийства.

Манера, в которой написан роман, смешанная: ее можно было бы назвать лирико-эпической, если бы эпос не был совершенно поглощен лирикой: все внешние картины войны, все лица окрашены в единый цвет субъективнейшего восприятия того же Зайчика. Фабульно автор совершенно не ставит перед собой целей зарисовки широких картин войны и, хотя вся книга названа им „Сахарный немец“, но немца читатель в ней не увидит даже во внешнем изображении.

Слишком ясно ощутимо, что все эпизоды, все внешние события — не самодовлеющий материал для художника, как в подлинном гомеровском эпосе, а лишь средство для уловления и зарисовки внутренней истории личности главного героя и типизации действительности под его углом зрения.

В этом смысле роман является оригинальнейшим и вполне самостоятельным произведением. Подобного подхода к войне, столь выдержанной литературной манеры, мы не найдем, пожалуй, во всей литературе о последней войне.

Автор во всем следует за своим героем, Миколай Митричем Зайчиком, сыном Чагодуйского лавочника, зажиточного крепкого мужичка, у которого чистота в горнице образцовая и в переднем углу, „у самого носа Миколы“, горят не одна, а две лампады. Автор, однако, не пытается обнажить этот мужичий мир до его житейски-натуралистической основы, — он берет его обобщенно, снимает с жизни-быта чистейший настой национально-народной культуры, объединяет все сумеречным светом неугасимой синей лампады. Война в романе дана, как событие, рушащее это зачарованное царство синей лампады. Вся же книга по существу является прославляющим, сказочно-поэтическим, горестным песнопением этому уходящему в мрак прошлого миру.

Здесь вторая сильная сторона книги, это ее глубоко национальное лицо, ее русские корни, явленные автором в его своеобразной лирике. Гибнет огромный мир, гаснет несказанно-богатая цветистость и природная „нежно-звериная“ глубина своеобразного мира, люди уже глухи к нему, и сам бог, древний щедрый славянский Дажь-бог, „в нас с тобой, дьякон, больше не верит“. Только зауряд-прапорщик Зайчик еще слышит порой, как „чудесная песня вьется в игольных ветках, будто старая ель каждой иголкой запела, вспомнив забытое время, когда деревья, травы и камни, как люди, говорили и пели, и мир был полон цветистых звуков, шорохов, в которых былинка больше тайну его понимала, чем теперь человек“. Мир опустошен. Город, который населен „выдуманными людьми“, убил землю „утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной“. „Из барской зевоты родилась наука, скука ума, камень над гробом незрячей души: плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре“. Пришла война. И она „мешает спокойно спать мужикам и думать во сне о своей сироте — полосе, о женах, впрягшихся в плуги, и ждать в бессонные ночи светлого часа, когда придет на сиротскую ниву чудесный гость с колосяным снопом за плечами, в одной руке с острым серпом, в другой — с большим пучком черно-полосной ромашки и синих, как небесная синь, васильков — нивный гость, захожий странник, незримый страж деревни: мир“.

Но мира нет, вековые устои рушатся; рассыпается семья, гибнет прекрасная Пелагея, жена крестьянская, у которой война вырвала ее опору — мужа. Гаснет любовь Зайчика к Клаше, сам дьякон с Николы теряет веру в бога. Иванушка-дурачок, зауряд-прапорщик Зайчик, вынужден итти и убивать, — и этого святого убийцу чорт кладет в свой мешок вместе с профессионалом-разбойником: Зайчик гибнет, теряет навсегда целостность своего внутреннего мира.

Куда же он придет в конце концов? Этого мы пока не видим: автор обещает открыть это в следующих своих книгах: „Призрачная Русь" и „Спас на Крови", а пока „под ногами у Зайчика звенит и струится Незнайка-река"...

С эстетической точки зрения автора можно упрекнуть лишь в одном: первая часть романа растянута, расплывчата, она не так крепко „закручена", порой она неясна и и скучновата, но, может быть, это должно объяснить тем, что данная книга является неоконченным продолжением: центром задуманного автором пятикнижия „Живот и смерть".

И еще одно замечание: сказка „Ахламон" внешне дана в ослабленном тоне; ее ритм и рифмы художественно-легкомысленно-игривы. Это, по нашему глубокому убеждению, не народный стиль, а мещанская стилизация народного сказа. Внутренне сказка укладывается в романе крепко.

Не будем много говорить о том, что большинство страниц романа написано на редкость крепким, подлинно-русским, глубоко-народным языком. Образность этой речи, ее близость к старинным сказаниям порой прямо потрясает. С этой стороны роман должен вызвать огромный интерес со стороны читателя и пишущего молодняка.

Теперь о самом главном: о художественной правде романа, о том, насколько верно и полно дан облик умирающей народной культуры. О верности понимания народной „субстанции".

Здесь мы, не имея места для доказательств, должны со всей решительностью установить, что автор внутренне впадает в ту же ошибку, в какой больше полустолетия обреталось наше пресловутое славянофильство. В романе дана не „субстанция" народного духа, а одна из ее красочных периферий. Иванушка дурачок (Зайчик)—это одна из малых капель нашей народной стихии. Религиозная стихия, даже так, как ее понимает автор, персонифицируя ее в Зайчике-мечтуне, как ощущение безграничной „доброты" мира, как преданность идее непротивления злу злом, веру в особый „единый свет" над всей земной „правдой, похожей на ложь" (стр. 99), это опять лишь односторонний „женский" элемент в общем национальном типе русского человека, а не ее основное творческое начало. Русская история знает Петра Великого, Пушкина. Здесь автор обнаруживает тот гнилой в корне подход, какой мы видим у К. Аксакова, К. Леонтьева, В. Соловьева. Не нужно забывать, что у Л. Н. Толстого на-ряду с Каратаевым (тоже отличным от героев Клычкова) есть великий реалист-язычник Ерошка, Лукашка, Андрей Болконский и т. д.

Все эти синие лампадочки, идиллии в саду отца Никанора, безграничное поклонение стихии Иванушки-дурачка и доморощенный национальный бергсонизм („разум — слепой котенок"), это все не только художнический дальтонизм, но и глубокое извращение лика народного, ненужная мещански-комнатная наслойка, высиженная теми же „выдуманными людьми" из маленьких пригородных домишек, к которым несомненно принадлежит зауряд-прапорщик Зайчик. У Бунина есть хороший образ в односторонне изображенной им „Деревне". Баба износила свой цветной платок, надевая его из скупости все время наизнанку. Так талантливый Клычков хочет культуру русского народа, мир крестьянина показать нам с исподней стороны. Эту исподнюю сторону, истертую, пропахшую потом славянофильскую подоплеку он хочет дать нам, как нечто идеально-реальное.

Это сильно принижает роман, накладывает на его прозрачно-сказочные страницы слащаво-приторный запах дыма кадильницы провинциального псаломщика.

Эта сторона романа заслуживает самого сурового осуждения.

В. Правдухин.

Семен Родов. Сверенный взлет. Стихи и поэмы. Стр. 65. Изд. „Красная Новь". 1924.

В одном из стихотворений, посвященном пролетарским поэтам, вышеупомянутый автор вещает:

Мы — пролетарские певцы!

Дальше, через несколько строчек, идет еще тверже и увереннее: просим нас, а вернее—меня, Семена Родова, с остальными-прочими не сравнивать и не смешивать, ибо в моих стихах

Что слово—штык, что стих—граната.

И вдруг—сразу ляпсус:

Белое тело крестом.
Белые зубы за р т о м.

Вот это, действительно, — граната, которая сию же минуту заставляет нас думать, что родовское слово вовсе—не штык, а обещанная граната, заряжена совсем не порохом, а самой обыкновенной мякиной, о которой широкие круги читательской массы почти ничего не знают.

О „Сверенном взлете“ можно было бы не писать, если бы не одно весьма важное обстоятельство, которое нас в данном случае и пригвоздило к столу: не будем забывать, что Семен Родов—не только поэт, но и некоторым образом — организатор, идеолог и „вождь“ „напостовцев“. На разного рода литературных заседаниях, собраниях, съездах и выступлениях Семен Родов является яростным обличителем „попутчиков“, которые, якобы, своим окончательным непониманием пролетарской революции и всем своим „попутническим“ существованием вредят как делу революции, так и развитию художественной по-октябрьской литературы. Если все эти соображения мы примем к сведению, то ясно, что творчество Родова приобретает некоторый интерес, и даже не малый.

Не следует также забывать, что книга называется „Сверенный взлет“, а это значит, что каждая строфа этой книги и каждая буква ее до такой степени „сверены“, „взвешены“ и „отшлифованы“, что и формально и идеологически эта самая книга должна быть для всякого смертного чем-то вроде „коммунистической библии“ или „коммунистического евангелия“, против которых не попрешь.

Но обратимся к книге. Остановим некоторое внимание на формальной стороне родовского „творчества“. Как нам известно, формально художник работает исключительно над выявлением о б р а з а. Чем совершеннее образ, тем заразительнее он для читателя, а ясность и глубина всякой идеи находит свое совершенное выражение в созданном художником образе.

У Родова, прежде всего,— потрясающая нищета его поэтического лексикона, абсолютное незнание русского языка и совершенно недопустимая неряшливость в выборе слов, которые должны быть п л о т ь ю и к р о в ь ю самого образа. Например:

Думали: рати грозной
Остановиться нигде не дано.
А после от гари обозной
Падали птицы м е р т в о.

Вы только вдумайтесь хорошенько в четверостишие. Где же тут, за таким словесным и л о г и ч е с к и м хаосом, доберешься до того, что хотел сказать автор, а уж это самое подчеркнутое нами „мертво“ просто удивляет своей совершенно безобразной неграмотностью! Или:

И будут р а д о с т н о носиться
Труда знамена в ы с о к о.

Или:

Стану ль тобой любима,
У с т а л и силу з а б р а в?

Это очень напоминает нам, „смертию смерть п о п р а в“, хотя „поправ“ гораздо лучше и уместнее, чем „У стали силу забрав“. Кошмарная строчка. Или: это—о революции, она — в образе мчащейся конницы —

Бьет в надгробные плиты копытами,
Высекает г р о м о в ы й о г о н ь.

Тут следовало бы спросить буденновскую конницу: можно ли из „надгробных плит“ высечь „г р о м о в ы й огонь“? Полагаем, ответ будет отрицательный.

Или:

Пролетели р ы ч а щ и е кони.

Комментарии излишни.-Дальше:

Но к годовщине приурочено
Т о р ж е с т в о в а н и е конца.

Или:

Слепнут очи о т р е з и задымленных век.

Или:

Не снился д о н а ш и м Колумбам.

Или:

Готовит у т р о п о л д е н ь к бою.

Кто кого готовит? Или:

А песни языком о г н е в ы м
Залижут п а л я щ и е боли.

Или—еще один и последний пример из области „словесного отбора“, ибо если мы

будем продолжать цитаты сих „перлов", то нам придется, к сожалению, цитировать всю книгу, и наша скромная рецензия разрастется в целую статью, чего „книга" совсем не заслуживает.

Я — искра пламени на темя.
Ты — сгусток копоти на ней.
Я — из тех и с теми,
Кто — солнце встающих дней.

Не правда ли, изящно сказано, а самое главное—ясно и вразумительно! Взглянем на рифмы: „вяжется — кажется", „четверг—смерть", „войны — груди", „расплав —забрав", „поперечные—встречные", „усталые—малые", „черными—проворными" и т. д.—без конца. Но не станем распространяться, будем думать, что художественная ценность Семена Родова не в его образах и не в каких-то нестоющих внимания. презренных рифмах, а в чем-то более серьезном и важном и для „попутчиков", например, совершенно недосягаемом.

Как нам известно, вся соль „напостовского" творчества предполагается в так называемой „выдержанной" идеологии, а так как Семен Родов—сам напостовец, то мы и постараемся по силе возможности показать именно эту сторону родовского творчества.

Разбросанные по заводам,
К истокам творчества сошлись,—
И вот выходим стройным взводом,
Приветствуя победно высь

И сразу — ляпсус, потому что в октябрьской революции проиграла именно эта „высь", и победила вовсе не „высь", а „низь", которую Родов, как лирик, не чувствует. Но с чужих слов Родов хорошо знает, что

В приуроченное время
Просыпается завод.

А посему — в стихотворении „Инна" — „поэт" Родов всячески кочевряжится перед Инной:

Полюбились тебе мозоли
Рук загрубелых моих?

И в то же самое время, очевидно—позабыв о своем „рабочем" происхождении, совершенно пророчески заявляет, что будущее человечество вспомнит обязательно нашу пролетарскую революцию—

И позавидует не силе хижин бедных,
Не славе гордой, знавшей в муках
торжество,
А сладостному трепету знамен победных,
Уже неведомых гармонии его.

Кроме того, что само четверостишие (у Родова это обычно) насквозь пропитано сумбуром и полной неразберихой, но и специфическая сторона октябрьской революции, „сила хижин бедных", тут окончательно не оценена по достоинству, и не оценена только потому, что Родов, опять — как лирик, „силу хижин бедных" в революции проморгал и не почувствовал. И уже совершенно неубедительно после такого явного незнания „силы хижин бедных" звучат вот такие, примерно, строчки:

Мы человечеству путь укажем
Перстами заржавленных труб.

Какой же путь человечеству укажет Родов? В поисках этого пути я пересмотрел книжку еще и еще раз, и смею вас уверить опять цитатами из самой книжки, что никакого пути у Родова нет, а если и есть, то—не путь, по которому завтра пойдет человечество, а самая безнадежнейшая беспутица, по которой и Родову даже итти не следовало бы. Например:

Крест я на крест положу,
Старые раны прорежу.
Будет качаться наш крест
В вихре нехоженных мест.

Или:

А я уйду в просторы,
В мир и любить и творить.
Даже близкому горю
Мы не умеем вторить.

Все это, конечно,—беспутица, а беспутица эта имеется на-лицо потому, что Родов не чувствует революции. Революция у него—совершенно отвлеченное и неземное явление, она происходит у него где-то в облаках или мчится какой-то дикой беспутной конницей.

Над отвесами и над обрывами,
Где из пропастей тянется жуть,
Машет пламенем—красными гривами,
Стелет дымом истоптанный путь.

Что это за мистический бред такой? Если бы такое изображение революции мы

встретили в книгах А. Белого, так это было бы нам понятно, но у Родова, который „мозолистыми руками" хочет нас уверить „в пролетарском происхождении", не ожидали совсем.

Пламя с пламенем отсветом вяжется,
Подымается, падает ниц,
И народам пробужденным кажется
Огневой перебежкой зарниц.

Это, конечно, не октябрьская революция. Октябрьская революция, уже в силу своего классового происхождения, не может принять такой беспутной пустой символики. Но мы уже показали выше, что Родов „силы хижин бедных" в революции не почувствовал, а посему и „народ" у него изображается тоже не как реальная сила, а как нечто отвлеченное, неконкретное, почти мистическое.

И билась стихия
О раздробленные уступы,
И ветры Грядущего дули
В лицо Смерти.

Кстати: Родов прекрасно владеет церковно-славянским языком, и это опять—ляпсус, но уже не только формального, а и идеологического свойства. Например: стезя, чело, чрево и т. д. — к этому надо прибавить слово „душа"—почти на каждой странице, а ко всему этому — вот такие строчки:

Разверзлась земля, разъялось небо,
И звезды выпали из божьих глазниц.

А вот вам описание ночи в революционной Москве:

Вот Арбат. Смоленский рынок.
Зубовская. Крымский мост.
Ночь сурова, словно инок
Не соблюдший строгий пост.

Чем не пролетарский лексикон? По совести говоря, „попутчикам" до такого лексикона далеко. А кто виноват? Виноват, (поглядите на четверостишие) рынок, потому что его надо рифмовать, и вот выскочил почему-то „инок". Почему? Да потому, что психология Родова другой рифмы, кроме инока, дать не может, и мистическое чувство в нем заложено глубоко и надолго. Вот, например, каким образом он, Родов, описывает грядущую индустрию.

Так вот оно, маленькое место —
Душа.
К нему прикоснулась невеста,
Гарью дыша.

Понятно? Давайте продолжим. Оказывается, что душа эта

Пришла с голубого неба,
С дымными косами труб.
И стал ее зубчатый гребень
Люб.

Вот и весь Родов. На этом можно поставить точку с полной уверенностью, что читатель, прогулявшийся с нами по широкому полю „родовского" творчества, сам сделает соответствующие выводы.

Петр Орешин.

Социализм Белинского. Статьи и письма. Редакция и комментарии П. Н. Сакулина. Государственное Издательство. М. 1925. 124 стр.

Эта книжка была задумана еще в 1923 году, когда к юбилею Белинского готовилось немало изданий. Из них далеко не все осуществились, а некоторые вышли с большим опозданием—в том числе и эта хрестоматия. Но лучше поздно, чем никогда. И тем лучше, что сборник этот—не юбилейная эфемерида, а прочный вклад в литературу по Белинскому. Книжку теперь придется иметь, знать и помнить и специалистам историкам литературы и идеологических движений, и преподавателям истории и словесности, и студентам; ее полезно прочесть и лицам, ищущим исторического самообразования. И это потому, что книжка составлена очень хорошо. Ее составитель, прекрасный знаток Белинского и раннего русского социализма, П. Н. Сакулин, включил в свой сборник наиболее выразительные тексты Белинского—из его статей и писем. Расположен текстовой материал весьма рационально: по трем периодам идеологического развития Белинского—„психологическая и идеологическая подготовка к социализму" (1840—1841); „период увлечения социализмом" (1841—1846); „конкретизация социальных проблем, как корректив к утопическому социализму" (последние годы жизни Белинского). Каждому из отделов предпосылается введение, излагающее биографические обстоятельства

взгляды и настроения Белинского в данный период. Каждый отдел замыкается примечаниями, в которых разъяснены все трудные места текста, даны биографические, исторические, литературные, библиографические справки. Комментарии эти сделаны с многосторонней компетентностью и иногда, несмотря на суровую сжатость, сообщают очень полные и свежие научные данные. Таковы, напр., примечания о романах Евгения Сю. Имеется в книжке и библиографическая справка по специальной литературе о социализме Белинского.

Конечно, можно было бы увеличить объем хрестоматии включением иных писем и статей. Например, в сборнике „Венок Белинскому" (изд. „Новая Москва". 1924) только что опубликована статья Белинского об „Истории Малороссии" Маркевича, где имеется замечательное высказывание критика о диалектическом методе Гегеля, высказывание, приближающее Белинского к марксистскому пониманию истории. При своих обширных познаниях составитель легко мог бы расширить и комментарии. Но он предпочел не разбрасываться и создал сборник, легко доступный для изучения. Пожелаем ему широкого распространения.

Н. Пиксанов.

А. Вышинский. Очерки по истории коммунизма (Краткий курс лекций). Часть 1. Издание 2-е. Государственное Издательство. Москва 1924 г. Стр. 302. Тираж 20.000.

Рецензируемая книга за весьма короткий срок выходит уже вторым изданием. Это показывает, что она пользуется известным успехом, несомненно заслуженным. Содержание книги охватывает период развития коммунистических идей от античного мира до Вильгельма Вейтлинга включительно. Эпохе же „научного социализма" автор намерен посвятить вторую часть своих очерков.

Нужно сказать, что в построении своей работы А. Вышинский допустил своеобразную непоследовательность. Мы имеем в виду второй отдел, носящий название „от Бабефа до Маркса", посвященный Бабефу и бабувизму, трем великим утопистам (Фурье, Сен-Симону и Оуэну) и Вейтлингу. Такие крупные фигуры, как Кабе, Прудон, Луи Блан и Бланки в этот отдел не вошли; автор почему-то считает удобным знакомиться одновременно с марксизмом и с последними тремя представителями мелкобуржуазного социализма, „на блестящей критике которых" марксизм „оттачивал свое победоносное оружие". Как построение очерков, так и причисление Бланки к представителям „мелко-буржуазного социализма" (последнее автор в дальнейшем — стр. 181 — опровергает и называет Бланки „великим борцом за дело пролетариата", принявшим и сохранившим лучшие заветы бабувистов) может вызвать серьезные возражения.

Во введении (6 — 34) А. Вышинский весьма подробно останавливается на двух основных вопросах: 1) что такое социализм? и 2) что общего и отличного между социализмом, коммунизмом и анархизмом? Давая на эти вопросы обширные марксистски разработанные ответы, автор предпосылает своим очеркам интересную и чрезвычайно важную главу, написанную очень живо и легко. Последующие четыре главы этого отдела посвящены коммунизму древнего мира, античному, средневековому и еретическому коммунизму и ранним утопистам (Томас Мор, Кампанелла, Мелье, Мабли и Морелли). Материалы, используемые автором в этих главах, не новы и неоднократно уже приводились в русской литературе по истории социализма. Тем не менее в том освещении, какое им придает автор, они представляют несомненный интерес.

Из второго отдела заслуживает особого внимания глава о Бабефе и бабувизме. К сожалению, в современных работах по истории социализма, этому важному периоду, уделяется слишком мало внимания. А. Вышинский в своем очерке о Бабефе дает не только историческую характеристику созданного им движения, но и достаточно полный анализ програмы, изложенной в „Акте о восстании" и „Манифесте Равных".

Совершенно правильно подчеркивает автор (174, 178), что Бабеф был не теоретиком коммунизма, а, главным образом, практиком. Действительно, основная заслуга этого великого революционера и заключается в том, что он впервые поставил проблему коммунизма, как проблему прак-

тическую, как реальное движение, во имя интересов пролетарской и полупролетарской бедноты. Это же является и основным, положительным фактором революционного движения, известного в истории под названием „бабувизма". Реальное, однако, по своему построению, движение „равных" было заранее обречено на неудачу. Помимо тех причин, о которых говорит автор (измена Гризеля, слабость и неорганизованность пролетариата, отсутствие опыта и революционных традиций и т. д., стр. 183, 184), большое значение имело то, что подавляющая часть Франции конца XVIII и начала XIX века представляла собой мелко-собственническую массу, враждебную всяким попыткам коммунистического переустройства общества. Сопротивление этой массы, несомненно упорное, заранее предрешало судьбу бабувистского движения. Что касается сходства бабувистов с большевиками (182), то, в противоположность автору, мы склонны трактовать ее весьма ограничительно, признавая за бабувизмом, главным образом, значение звена, связующего XVIII и XIX в.в. и положившего начало боевому революционному социализму, прошедшему через революционный марксизм к современному коммунизму.

Интересна по богатству материалов, по широте критического анализа и следующая глава этого отдела — „Великие утописты". Цитируя Фурье, Сен-Симона и Оуэна в значительной части по первоисточникам, А. Вышинский дает возможность читателю очерков хорошо ориентироваться в довольно сложных социальных системах, выдвинутых великими утопистами и их последователями. Нужно, однако, сказать, что в очерке о Сен-Симоне и сен-симонистах автор недостаточно развил идею планового хозяйства и централизованной банковской системы, характернейшую для социалистической сущности сен-симонизма, хотя чуждую идейной сути самого Сен-Симона. Мало говорится в этой главе о развитии фурьеризма и сен-симонизма на русской почве, между тем, как оно было весьма значительным (Петрашевский, декабрист Лунин и др.). Широкий отклик русской интеллигенции на социальные доктрины утопистов даже вызывал большие надежды неутомимого и непоколебимого Роберта Оуэна.

Последний очерк — о Вейтлинге следует выделить потому, что в лице этого деятеля мы имеем первое историческое выступление подлинного пролетариата, первую попытку освобождения рабочего класса от духовного влияния буржуазии. Автор дал весьма ценный, в значительной степени оригинальный очерк „блестящего дебюта германских рабочих", которым Маркс предсказывал „фигуру атлета". Приходится лишь пожалеть о том, что А. Вышинский прошел мимо причин разрыва Маркса с Вейтлингом, что является весьма существенным для выявления разногласий между ними и вообще сути вейтлинговского коммунизма на фоне марксизма.

К мелким недостаткам следует отнести злоупотребление автора словами и фразами из современного газетно-журнального лексикона. Например, в период Пелопоннесской войны к Спарте присоединились те города, „где преобладали юнкерско-аристократические влияния" (42); Мюнстер и Мюльгаузен являлись коммунистическими островками „среди моря буржуазно-нэпмановской стихии" (181), или „нэпманы эпохи бабувизма" и т. п. В данном месте такие фразы не только не характерны, но вообще неуместны.

Цель, преследуемая автором рецензируемой книги, — „дать слушателям учебное пособие, применительно к прослушанному курсу"—может быть несомненно расширена. Мы не задумываясь рекомендуем ее всякому серьезному читателю, интересующемуся историей коммунизма и коммунистических учений. Для слушателей же Института Народного Хозяйства им. Маркса, проходящих этот предмет в общепрограммном, а не специальном порядке, усвоение данного автором тщательного анализа учений и систем является несколько громоздкой работой.

И. Браславский.

Вернер Зомбарт. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. Госиздат. 1924.

Рецензируемая книга В. Зомбарта, как и прочие его произведения, меньше всего может быть названа догматическим, академически построенным исследованием. Это— необычайно спорная, мастерски написанная книга, умышленно уснащенная парадоксами

и имеющая своей целью дать скорее художественную картину, нежели какую-либо теоретическую схему. Задачей ее является дать генезис и анализ психологии „буржуа", благодаря чему книга может быть названа большим этюдом по социальной психологии. Правда, автор умышленно называет последнюю всюду „капиталистическим духом", „духом управляющим хозяйственными субъектами" и т. п., так что получается впечатление о чисто идеалистической трактовке поставленной темы. Однако мы имеем здесь лишь ту погоню за вычурной фразеологией, ту любовь к новой терминологии, в которой повинно множество немецких ученых. „Капиталистический дух" Зомбарта—есть не что иное, как идеология и психология буржуазного класса, как бы он не открещивался от такого „тривиального" отождествления. Недаром он указывает, что для понимания этого „духа" надо привлечь „характерную для данного времени внешнюю структуру хозяйственной жизни"; при этом, как он констатирует, выясняется, что „дух, управляющий хозяйственными субъектами, может быть глубоко различен и был уже издавна глубоко различным": напр., ремесленник старого закала — и современный американский предприниматель воодушевляются различным „духом". Если мы отбросим здесь в сторону псевдо-научные термины „дух" и „воодушевлялись", мы найдем здесь совершенно правильную, хотя и вовсе не новую, мысль, что идеология общества изменяется в связи с хозяйственным укладом, т.-е. с изменениями способов производства.

Однако Зомбарт страшно боится, как бы его не заподозрили, horribile dictu, в „закоснелом" историческом материализме. Он торопится заявить, что „дух" и форма хозяйства находятся не в отношении закономерной зависимости, а в „отношении адэкватности". Впрочем, обращение к новому расплывчатому термину — не спасает положения, и Зомбарт в своем „заключении" принужден признаться: „противопоставить строго экономическому каузальному объяснению какое-либо иное единое истолкование я чувствую себя не в состоянии"... Далее, правда, вновь начинается чепуха об „иерархическом упорядочении многообразных отдельных причин" и т. п.

Поставив за скобки все эти методологические и терминологические фокусы, мы получаем яркую картину развития капиталистической идеологии и психологии. Зомбарт показывает, как в капиталистическом предпринимателе сливается: герой, торговец и мещанин, при чем с течением времени элемент „героический" все более и более исчезает под влиянием монополистических тенденций современного капитализма, того, что Ленин гениально назвал „загниванием" последнего. Ряд остроумных экскурсов обнаруживает связь с капиталистическим „духом" религии, философии, государства и т. п.

Любопытна струя пессимизма, окрашивающая последние страницы книги Зомбарта. Будет ли продолжаться вечно „безумство капитализма"?—задает он вопрос.—„Я думаю, что в природе самого капиталистического духа заложена тенденция, стремящаяся разлагать и убивать его изнутри". Если мы отбросим неизбежный зомбартовский „дух", мы найдем здесь опять-таки далеко не новую мысль, принадлежащую Марксу, о капиталистическом „могильщике".

В. Гурко-Кряжин.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 5-63-12.

ПЕЧАТАЕТСЯ И В АПРЕЛЕ ВЫХОДИТ

№ 3 „ПЕРЕВАЛ“ № 3

под редакцией Артема Веселого, А. Костерина и М. Светлова.

СОДЕРЖАНИЕ:

Б. Губер. Шарашкина контора. Рассказ.
В. Ветров. Лихоманка. Рассказ.
А. Дьяконов. Андрюшка-Сатана. Повесть.
Т. Игумнова. Ледоход. Рассказ.
М. Яхонтова. Декабристы. Драма.
Н. Чертова. Новые галоши. Рассказ.
Арт. Веселый. Вольница. Буй.

Стихи: **Р. Акульшина, Г. Бороздина, Н. Кауричева, Ковынева, В. Наседкина, Н. Полетаева, М. Светлова, М. Скуратова, И. Тришина, Евс. Эркина, А. Ясного.**

По большакам и проселкам.

А. Костерин. Очерки.
С. Гехт. Абрикосовый самогон.
Елизавета Сергеева. Бабье лето.
Ф. Малов. Наше время в народном песенном творчестве.

Перекличка.

Всем провинциальным литературным организациям.
Резолюция „Молодой Кузницы“.
М. Клювин. По литературной провинции.
А. Костерин. Н. Кузнецов. Некролог.
Л. Бариль. Критические заметки.

Адрес редакции: Москва, Покровка, Б. Успенский пер., д. 5, кв. 36, тел. 5-36-12.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

АЛЬМАНАХ

№ 5 „НАШИ ДНИ“ № 5

Под редакцией А. Воронского.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО:

В. Казин. „Я нет-нет и потемнею бровью...“.
Леонид Леонов. „Халиль“. Персидские касыды.
С. Решетов. „К новой жизни“. Повесть.
Г. Добржинский, В. Инбер, Н. Тихонов. Стихи.
Б. Пильняк. „Кукушки“. Из романа „Коломенские земли“.
Вяч. Шишков. „Пейпус-озеро“. Повесть.
Н. Кауричев, В. Ильина, М. Скуратов, В. Кириллов, В. Наседкин. Стихи.
Ел. Зарт. „Химат“. Рассказ.
А. Поспелов. „Плотина“. Рассказ.

II. КРИТИКА:

А. Воронский. „На разные темы“.
А. Лежнев. „Из истории марксистской критики“.
Г. Серрати. „Искусство в Италии“.

Цена номера — 2 р. 50 коп.

Адрес редакции: Москва, Покровка, Б. Успенский, д. 5, кв. 36, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Библиография

Объявления